КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
СЕДЬМАЯ

ИЮЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7

ИЮЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит 60327
Гиз 17122. Тираж 12.000

Растрата Глотова.

Вл. Лидин.

I.

Наверху, под крышей судейской будки, часто зазвонил колокол; стартер с красным флажком неспеша взошел на трибуну и ровным, скучающим голосом крикнул:

— На места-а!

Голубой весенний день лежал над ипподромом, над серыми трибунами, остро блистающими чешуйчатым стеклом, над ровной рыжеватой беговою дорожкой; над всеми этими горячими, нервными, капризными лошадьми; над праздничной, торопливой толпой, пришедшей поволноваться, помечтать о выигрыше и о прекрасной несбывающейся жизни, которую может принести на себе серая или вороная угаданная лошадка. И Глотова тоже кинуло с толпой к железной решетке, за которой близко проезжали лошади в легких никкелевых американках, с цветными наездниками, со всеми этими волнующими единственными запахами лошадиного пота, разогретой кожи и аммиака.

Восемь лошадей, восемь вороных, светлосерых и рыжих лошадей, разделились по четыре и стали неспеша заворачивать навстречу друг другу. Они завернули, сравнялись и разом вдруг сорвались вперед. Но одна заскакала с места, другая не поспела за всеми, опять часто зазвонил колокол, и стартер тем же скучающим голосом вернул их назад. Глотов давно приметил одну рыженькую горячую кобылку, ему понравилось также ее имя: Лисичка, и он ринулся было к кассе, чтобы поставить именно на эту Лисичку, но внезапно плотная горячая рука взяла его за руку, и сладкий, ненавидимый до ужаса и неотразимый голос сказал:

— На кого?

Это был Цыганков, тень, не покидавшая его здесь, человек, взявший его насильно, против его воли, и он не мог бороться с этим человеком. И сейчас же Цыганков сказал на ухо тем же неотразимым, въедчивым голосом:

— Ставьте тридцать в одинаре на Варвара.

Глотов хотел сказать, что он не верит в Варвара, что Варвар тяжел и туп, что он давно решил для себя, на кого ему ставить, но Цыганков

прикрикнул: — Да ставьте же скорее, пускают лошадей, — и Глотов купил три билета именно на этого враждебного ему Варвара. Лошади взяли разом, и наездник в красном картузе, ехавший на Лисичке, повел бег. Сначала все смешалось, пока удалялись лошади к повороту; затем на повороте виден стал тот же наездник в красном картузе, уходивший от всех других. Это была Лисичка, именно та горячая рыжеватая лошадка, она шла ровно, не торопясь, и лошади, догонявшие ее, начинали временами скакать; тогда их сносило назад, и задние выдвигались вперед. И вдруг к рыжей кобылке стал все настойчивее подтягиваться размашистый, вороной жеребец, преследовавший ее с самого начала; это был Варвар, Цыганков смотрел на него в огромный рыжий бинокль и говорил:

— На хвосте всех и приведет Варвар, и вашу Лисицу, или как ее там.

Некоторое время лошади шли вровень, как одна; потом вороной жеребец выдвинулся на полголовы, так шел он остаток противоположной прямой, но на последнем повороте рыжая кобылка снова отделилась и оторвалась вперед. Она отрывалась вперед все больше и ушла тем же ровным, неторопливым шагом, она легко и играючи уходила вперед, она выигрывала этот бег всем легким, горячим, очаровательным своим существом, — и внезапно что-то случилось с нею: испугал ли ее шум трибун, рев проигрывавшей этой толпы, или она оступилась, — только здесь, возле самого столба, бег ее стал неровен, и она заскакала. Она скакала две-три секунды, не более, но именно в эти последние секунды ее обогнал на полшеи тяжелый вороной жеребец, и короткий медный удар первенство оставил за ним. Рыжая кобылка проиграла, и Глотов, который только минуты назад ненавидел Цыганкова, почувствовал снова его неотразимую власть над собой.

Он получил выигрыш, и Цыганков велел в следующем заезде поставить на лошадь со странным и ничего не обещающим именем: Фармацея. — Были прекрасные лошадиные имена в заезде — Пракситель, Русалка-Купава, Загадка, — и Фармацея было самое непривлекательное имя маленькой и шершавой лошадки, с наездником в защитном пальто; лошадка вяло делала пробежку, она была коротка, и огромные прекрасные жеребцы с забинтованными ногами, с головами, надменно подтянутыми оберчеками, стремительно обгоняли ее. Но Цыганков угадал уже одну лошадь, у него было теперь право приказывать, и Глотов поставил на эту шершавую Фармацею, которая сейчас же от старта оторвалась на целых три корпуса и так шла весь круг впереди всех, вяло перебирая ногами, словно все сговорились дать нарочно ей выиграть. Она легко пришла первой, Глотов устремился получать за нее, ожидая огромной выдачи за темненькую и невзрачную эту лошадку, — и тут оказалось, что выдача была маленькой до нелепости, потому что все ставили именно на эту лошадку. И опять Цыганков торжествовал, хотя посоветовал только то, о чем знали все вокруг, и он потребовал, чтобы в десятом заезде Глотов поставил на лошадь, которая придет первой, потому что у нее

на 5 секунд меньше, чем у всех, и потому что у нее легкий сбой, и потому что на нее играет сам наездник, — словом, лошадь была бесспорной по всем статьям. Это была серая, длинная кобыла — Майский Букет, и Глотов поставил на нее весь свой выигрыш. Он смотрел на эту серую царицу, чуть тронутую пепельными яблоками, на свою красавицу, которая сейчас поведет весь этот бег и выиграет его — для него всецело, — и Майский Букет, именно она, единственная из всех лошадей, заскакала сейчас же с приема, она скакала половину пути и к правому уже повороту пропустила все места и вышла из бега...

И так, как бывало это всегда, хотя именно множество угадывалось лошадей, и за всех этих лошадей платили деньги, — Глотов шел в толпе воскресных неудачников к трамваю, в трамвай набивались такие же раздраженные, проигравшиеся и хмурые люди, дававшие слово себе никогда не возвращаться сюда и уже через день, обманывая самих себя, покупавшие в киосках свежие афишки.

II.

По вечерам, как обычно, в погребке на Большой Садовой поджидал Цыганков, который день за днем гнал его к этой погибели и которого носил он в себе, как страшную свою вторую и мучительную душу.

С Цыганковым встреча случилась три месяца назад, в пивной, на Галерной, где пили английские моряки с парохода, пришедшего в порт Ленинград за зерном. Моряки вломились грудой, они были как большие породистые лошади, и они хотели веселиться; хор народных певцов с бубенчиками грянул им встречу. У англичан были красные лица, обветренные весенним норд-остом, они грохотали, бросали на тарелку серебро, хорошо дымили табаком, и они были из Англии, где не бывал никто из охтенских этих чуек, цедивших мутноватое пиво. У моряков на плечах был лондонский туман, и они ушли скоро отсюда, оставив в дымной этой пивной, в нем, в Глотове, тоску по незнаемым странам и по великолепной жизни. Тогда стал нужен ему в этом городе человек, с которым мог бы он захмелеть за горькой пивною пеной, и человеком этим оказался Цыганков. Цыганков служил прежде в торговом флоте, он мог рассказать, как живут люди на свете, и Цыганков подсел к столику и рассказал, как живут люди в Лондоне и в Марселе, и в Гамбурге, какие женщины в Марселе, на которых нехватит мужской охоты, и какие сивые дураки все эти чуйки и бекеши, ничего не видавшие на свете и только и умеющие что заливать пивцом свою дерюгу-судьбу. Они пили пиво вместе и хмелели, и ночная Галерная затем была, как портовая улица незнакомого города.

И в этом городе, где проводил Глотов пустые вечера недельной командировки, встретил он снова в той же пивной через день Цыганкова, опять они пили пиво вместе, и Цыганков рассказал ему еще о том, как можно исправить человеку свою гнилую судьбу, нужно только немного денег и не-

много удачи, и тогда, например, верная темная лошадка может принести сразу кучу денег и жизнь, о которой даже нельзя мечтать. Так встретились они еще через день и опять пили пиво, и в этот раз уговорились они, что Глотов захватит на завтра, на воскресенье, немного денег, и они поедут на бега попытать судьбу. Заводские деньги, крутая пачка, полученная по счетам, лежала во внутреннем кармане, Глотов отложил на игру немного из командировочных денег, и в воскресенье днем они поехали на бега.

Здесь был простор, необыкновенное солнце осветило весь этот возвышенный день удачи, пахло мускусным конским пòтом, и невзрачная чалая кобылка Прана, в каком-то предпоследнем заезде, привалила им счастье. Они выиграли и уехали отсюда на извозчике в ресторан, где было много прекрасных женщин, музыка играла пронзительно, от нее страшно щемило душу, и на столиках стояли цветы. Тут пили они уже не пиво, а водку, они выпили еще по нескольку пенных бокалов из пузатой бутылки, которую прикатил лакей в ящике со льдом на колесиках, и потом пришли к ним прекрасные женщины. Женщины пахли теплым и вялым запахом духов, одна из них смотрела на Глотова черными притушенными глазами, и он видел покатое шелковое ее колено и ногу в словно светящемся чулке и в узенькой туфельке. И ему показалось все невозможным, когда очутился он с женщиной в высокой мягкой пролетке лихача. Он мог обнять эту женщину, и женщина не отталкивала его, она даже немного поерзала, прижимаясь к нему поудобнее, и небывалый восторг от этой приснившейся жизни, которую принесла ему чалая кобылка, закружил его в эту ночь.

В этой ночи было далее какое-то томительно-теплое женское белье, была женщина, крупная, отличная женщина, какой не знал он доселе, и поутру, отрываясь, наконец, от нее, он обещал непременно встретиться с ней еще раз накануне отъезда. Женщину звали Мария Николаевна, и она, прощаясь с ним, рассказала, что она жена бывшего офицера и чтобы он ничего только не думал о ней дурного, потому что просто она одинока очень, и он понравился ей. И она даже перекрестила его на прощанье, чем сделалась невозможно для него близкой. Они встретились через день под вечер и — плечо-о-плечо — поехали на бега. На бегах был Цыганков, они стали играть неспеша, осторожно, на верных лошадок. Но верных лошадок в этот день побивали другие, на которых никто не играл, и Глотов проиграл весь свой выигрыш и часть командировочных денег. Но опять плечо-о-плечо ехал он отсюда с этой невероятною женщиной, и они заехали еще в ночной магазин и купили вина и закусок на ужин. И снова протянулся вечер, такой, о котором не мог никогда в своей жизни даже мечтать Глотов, вечер, пронизанный суетой их любви, золотым вином и чудесным изнеможением, — как бывает все это, вероятно, в Марселе и в Лондоне.

Утром, прощаясь с ним, попросила его Мария Николаевна, как близкого, оставить ей немного денег, так как нужно было платить за

квартиру. Он был мужчина, она отдалась и доверилась ему, и кого же могла она просить, как не его. Он отошел в сторону, достал из внутреннего кармана заводскую тугую пачку, развязал ее и взял сверху две беленьких хрустких бумажки; внезапно ему показалось, что это ужасно мало, что женщина подумает о его скупости, и он прибавил еще одну бумажку, потертую, но с фигурой крестьянина, сеющего зерно. Он решил, что эти пятьдесят рублей он покроет из первой получки — и переможется как-нибудь до конца месяца. Но на другой день, когда женщина провожала его, как жена, на Октябрьском вокзале, и он подумал, что оставляет ее одну в этом городе, может быть, на голод даже, — он достал еще одну бумажку и сунул ей на прощанье.

Ночью в поезде он стоял у окна, смотрел на черные сорочьи поля, затканные золотом искр, и думал о женщине, которую встретил он так случайно в своей жизни, чтобы сейчас же оставить... Он приехал в Москву и здесь обнаружил вдруг, что ушло у него, кроме командировочных денег, еще сто пятьдесят рублей заводских — и получкой их не покроешь.

III.

В стеклянном заводском кабинете, стоя перед новым директором, Глотов дал отчет о своей командировке и о полученных суммах.

— На какую сумму открыты новые счета в ленинградских банках? — спросил Покотилов.

— На сорок три тысячи рублей.

— Сколько вы привезли наличными?

Глотов ответил: — Восемь тысяч четыреста, — он ответил так и подумал, что привез всего восемь тысяч двести пятьдесят и что полтораста ему нужно покрыть.

Покотилов записал суммы на листке, и Глотов вернулся в свою решетчатую клетку. В эту клетку мог заходить только он один, в клетке стоял его стол и огромный рыжий несгораемый шкаф. Отсюда не были видны люди, в окошечко просовывались одни лишь человеческие руки, получающие и сдающие деньги. В несгораемом шкафу все лежало в точном порядке, несокрушимо. Внизу — документы, торговые книги; в среднем ящике с внутренними дверцами — деньги: этот меняющийся, непрерывный поток — расчетов, взносов, выплат, вычетов, оплата дней труда, угольной копоти, нестерпимого пламени печей и грохота глухаревых заклепок. Все знакомо десятилетием — потоки денег, этих неряшливых, потертых и хрустких бумажек, бесследно несущих на себе человеческое горе и радости, звенящих, когда они новы, и тряпично-шершавых, когда прошли уже они свой путь. Деньги для него давно стали не более, чем цифры в бухгалтерской книге — принять, сосчитать, занести в книгу. Та часть из них, которая приходится на его долю, ничтожна: две-три бумажки в месяц из тысяч; и к этим грудам денег давно уже один только интерес, чтобы сходились они в счете. Рабочие, приходившие за получкой,

смотрели суженными глазами, как сосчитывал он эти бумажки, отщелкивая одним большим пальцем с быстротой, на которую трудно было смотреть.

Но именно теперь, когда впервые деньги у него не сходились в счете, Глотов почувствовал к ним тот же интерес, какой был у людей по ту сторону окошечка. В этих кипах недоставало двух-трех бумажек, которые ушли у него неизвестно как: в сущности, он дал их женщине, которую никогда не забудет, или он проиграл их тогда на бегах, — но теперь ему нужно было покрывать их всем месячным жалованием, т.-е. месяц не знать, как свести концы с концами, задолжаться, бегать в ломбард, — а разве он не заслужил за все годы, чтобы такой пустяк, такую первую недостачу не простили ему, чтобы не загоняли его в невозможный угол?

И он в день получки не покрыл ею тотчас же недостающего — и оставил деньги у себя. Он вспомнил, о чем говорил ему Цыганков в великолепные дни их удачи, и в первое же воскресенье решил испытать еще раз судьбу и постараться отыграть недостачу. Он купил накануне афишку и долго размечал лошадей по именам, которые ему нравились. Так, одного жеребца звали Прасол, а «прасолом» называли его товарища по четырехклассной гимназии, и теперь словно давний друг подавал ему весть. Он пометил еще другого жеребца по имени Чудодей, потому что имя это заключал некий намек на то, что от лошади этой можно было ожидать неожиданной удачи, и он пометил кобылок Настю и Красоту, потому что Настей звали его сестру в Пензе, а Красотой могла быть Мария Николаевна, эта прекрасная красота, с которой так кратковременно был он счастлив.

И в первое воскресенье поехал он на бега. День был сырой, туманный, весна шла туго, лошади проносились с плеском по мокрой дорожке, забрызгивая клеенчатые плащи наездников.

Глотов стал было спускаться по лестнице и вдруг у самой кассы — увидел Цыганкова. Это был тот же самый Цыганков, что и тогда, на Галерной, и Цыганков сказал ему развязно, как старый знакомец:

— Здоров, кум. На кого ставите? А в Питере погода собачья, снег валит, я только вчера оттуда.

И он отвел его за рукав в сторону и горячо сказал на ухо:

— Ставьте на Раскидая, шутя придет. Ему в этой компании и делать нечего.

И сейчас же Настя, на которую только минуту назад он, Глотов, смотрел влюбленными глазами, на ее горячие, просвечивающие красным ноздри, Настя вдруг померкла, обаяние ее исчезло, и он глядел теперь на забинтованного вороного жеребца с муфтой на носу и понимал, как ошибался насчет Насти...

В это воскресенье полностью проиграл он свою получку. Как случилось, что он проиграл, несмотря на то, что Цыганков указал ему несколько верных лошадок, пришедших первыми? Это было непонятно.

Он несколько раз выиграл — и все же ушел отсюда без денег. И он решил, что никогда больше не вернется сюда, что с этим все кончено и что этот месяц обернется он как-нибудь, заложив часы и беличью шубу, — но, прощаясь с ним, Цыганков успел ему шепнуть, что, кажется, в следующее воскресенье пускают в параллельном гандикапе лошадку, относительно которой говорил ему Рябцев. Рябцев — был наездник, его любила публика за частые победы, за ловкую езду и за страсть, с которой вопил он, выбрасывая лошадь к столбу, и Глотов тоже чувствовал к наезднику этому симпатию: прежде всего, он носил синий камзол с малиновыми рукавами и был заметнее всех на бегу. И то именно, что сказал об этой лошадке Рябцев, мучило его всю неделю. Он решил, что не будет даже читать этого отдела в газетах, но, возвращаясь домой, проходя по двору завода, на службе, он не мог забыть об этой лошадке, и лошадка вырастала в прекрасное, нежное, нервное существо, с которым через весь этот летний, громыхающий город была у него таинственная связь. Как ее звали? Какой чудесной утешительницей могла бы она быть! Ему нужно только вернуть проигрыш, чтобы так не нуждаться весь этот месяц. Он даже не хочет выигрыша. В сущности, сколько негодных плутов, мошенников, проходимцев живет отлично. Счастье валит к ним, деньги пристают к деньгам. Преступные растратчики, ловцы чужого добра, — а он всегда был честен, бережлив, осторожен; он оберегал чужие деньги больше, чем собственные, — почему же для него не может быть немного удачи, немного внимания судьбы? Это было все, как туман, навождение, и он тщетно пытался это прогнать.

Но раз вечером, после службы, дожидаясь трамвая, он пропустил один ненужный ему трамвай № 3. Следующим за ним — снова шел № 3. Это было странно, потому что именно трамвай № 3 проходил через большие промежутки. И вдруг еще минуту спустя снова пришел трамвай № 3. Вагон был почти пуст, пассажиры уехали с первыми. Глотов ждал дальше; теперь долго не было трамвая. Он ходил по асфальтовой площадке; наконец, вдалеке опять показался трамвай. Это должен был быть его №, но трамвай подошел — и снова был это № 3. И тогда Глотова ударило, осенило, бросило в легкий, тревожный, благословенный холод: это был — знак ему. № 3! Если у этой лошадки будет № 3, значит — это судьба, его лошадь, его милый, тайный, обещающий друг... И в субботу, перед тем как закрыть на весь воскресный день несгораемый шкаф, он сделал то, чего никогда не делал в своей жизни: он разломил одну из пачек, лежавших слева, т.-е. пачку зеленых бумажек, он взял из нее меньше четверти несвежих держанных бумажек, и он хотел уже закрыть шкаф, но вдруг сунул в карман весь остаток пачки. Его судьба, случай, подсказанный ему, день, который больше никогда не повторится, удача, равной которой никогда больше не будет... а он упустит ее между пальцев, как трус, как глупец, именно как глупый кассиришко из артели, который по пять раз мусолит рублевки, чтобы не ошибиться. И Глотов потянул из пачки справа одну бумажку с фигурой крестьянина, затем другую —

и еще три сверху... Он ужаснулся на минуту, что сделал это, но решил, что эти бумажки положит во внутренний карман и ни за что их не тронет в случае неудачи; а если будет удача — не все ли равно, сколько у него денег, главное, не знать этого позорного чувства, что мало денег с собой и что нельзя рисковать или отыграться. Нет, отыграться можно только с деньгами, только когда есть эта уверенность, что можешь побороть неудачу — и он весело и бездумно, волнуемый лихорадкой завтрашнего дня, закрыл эту железную пятивершковую дверь, со свистом вытесняющую воздух, — и вышел в заводский двор, и дальше на пустынную, покрытую шлаком, почти провинциальную улицу.

IV.

Цыганков привел его в буфет и заказал закуску и водку.

— Сначала закусить, а потом и за дело. К сытому счастье вернее идет. А играть зря нечего, какое у вас об этом деле понятие. А ведь денег здесь просадить до чорта можно, и никто спасибо не скажет. Дураки пускай суетятся, а мы посидим здесь, выпьем, до нашего заезда далеко...

— В каком играть-то будем? — спросил Глотов небрежно, словно совсем не думал об этом прежде.

— Играть мы будем в восьмом заезде, — сказал Цыганков неспеша и достал афишку, — и играть мы будем в восьмом заезде вот эту кобылку... третий номер.

И Глотов едва не вскрикнул. Третий номер... третий номер, который еще день назад означился ему в веренице трамваев — третий номер, — и имя кобылки «Утешительница» от Ласки и Ментика. «Утешительница»... да, именно так называл он ее все эти дни — какое невероятное совпадение номера и имени лошади!.. И он вдруг уверился в ней, он уверился в ней с такой силой, что вся лихорадка предчувствия, все сомнения и раскаяния, одолевавшие его, — все обратилось сразу в несокрушимую уверенность, он стал сразу спокоен и весел, и слушал теперь, чему учил его, между рюмками водки, Цыганков. Они выпивали, отличная теплая легкость чуть туманила глаза, и с этой легкостью весело побеждать и смеяться над неудачниками. Цыганков говорил:

— Лошадь надо знать, это еще не штука — понимать секунды и резвость, например. Нет, ты скажи мне, пожалуйста, сначала, в каком порядке лошадь, как она ела, как была на пробежке. Эта вот лошадь, к примеру, и класснее прочих, и резвость у нее лучше, а она уже месяц как в беспорядке. То у нее желудочные колики были три дня, а то лошадь в порядке, а наездник на ней никуда, и с этим наездником она никак не придет. Эта лошадь сырой дорожки не любит, а эта по мягкому лучше идет, потому что за ноги боится. Все это знать нужно, друг. Вот она афишка, видите? — Афишка была исчерчена знаками, секундами, цифрами, — все здесь, как на ладони, вся работа лошади. А ведь не верите

вы иногда, дорогой человек, Цыганкову, сомневаетесь, а я вас же жалею, ваши же денежки мне жалко. Ну, зачем такое упорство, кобыле под хвост совать, когда играть можно наверняка, неспеша, на верных лошадок. Тоже вот, наездникам накланяешься, пока узнаешь, как лошадь на работе была, или к конюху сбегаешь, целковый сунешь — только узнать чтобы, ела ли лошадь свою порцию или отказывалась. Если отказывалась, какого бы ни была она класса, лучше на нее не ставить, потому что значит — лошадь не в порядке. Сколько Цыганков людям добра принес, сколько он проигрышей отыгрывал, скольким растратчикам помогал растраты покрывать...

Цыганков махнул рукой, и Глотов спросил вдруг жадно:

— А были и такие?

— А как же! Вы думаете, мало из-за этих бегов беды, здесь люди состояния оставляли, здесь как засосет человека — и пошлó крутить, пока не высосет вовсе.

Глотов смотрел на гладкий лоб Цыганкова, на беловатые его рябины на щеках, — и он почувствовал, что этот грузный чужой человек в вытертом френчике — захватил его целиком, против его воли, и у него нет сил противостоять ему, и что теперь без Цыганкова он здесь вовсе запутается и погибнет.

— А теперь будем говорить о деле, — сказал Цыганков деловито, он придвинул стул, и они сблизили головы над афишкой.

— Значит, так: заезд номер восемь. Параллельный гандикап, дистанция 2.400. Это значит, что будут пущены лошади на разных расстояниях, и бежа̀ть им полтора круга. Ладно. Почему же мы будем играть на третий номер? А вот почему. — Первый «Голубь», так? Голубя на полкруга хватит, а там он станет, — это мы знаем. Номер второй — «Анфиса», ну, Анфиса покласснее Голубя, но Анфиса сбоиста, и сбой у нее тяжелый, и на один круг она хороша, а там выдохлась. Форы у них — 35 метров, это на первом же повороте наша их и захватит.

«Наша» — была № 3, «Утешительница», и в афишке у Цыганкова была она в синем кружке.

— Хорошо. Номер четыре — «Гладиатор». Гладиатор — не в порядке, он две недели болел, и думали, что поколеет: его Елистратов и гнать не станет, это ясно. Ну, пятый номер «Любимая» — это классная лошадь, сказать нечего. Но бежать позади ей на пятьдесят метров, а пятидесяти метров на полтора круга она ни за что не вытянет. Ну, второй придет, может быть, и то скорей всего захватит ее «Клондайк», у него и дыхание лучше, и сбой легкий. Остается, значит, «Недотрог», номер седьмой, ну, сто десять метров сзади куда ему покрыть. Да и на заводе истерся, он на заводе два месяца был. Понял, дорогой человек? Ну, вот. А то не верите Цыганкову, сомневаетесь, а он к вам со всей душой. Ставить будем так — под конец, чтобы набрали на другие номера. Играть будут на Клондайка и на Анфису. А мы — перед самым заездом, чтобы внимания не обращать... Выдача будет никак не меньше пятнадцати за три: это

за беленькую — пятьдесят. Ну, десять беленьких загоним — пятьсот рублей снимем. Ничего?

— Это хорошо бы, — ответил Глотов, и он представил себе сейчас же, как покроет все, что забрал вперед, и как беспечно и не отказывая себе ни в чем проживет до конца весь месяц...

— Ну, и мне за хороший совет четвертую часть выигрыша. Заметали?

— Заметали, — сказал Глотов весело, и они хлопнули по рукам.

Глотов достал сто рублей и дал пятьдесят Цыганкову. Они условились, что он, Глотов, будет покупать перед самым заездом в нижней кассе, а Цыганков наверху, в кассе, у которой меньше толпится народу. Так они порешили, и Глотов стал спускаться по лестнице вниз. Был перерыв меж заездов, солнечный июльский день тепло рыжел на песочном кругу. Мягко, нежно, картаво играл оркестр. Тяжелый серый жеребец сумрачно и угрюмо пронесся мимо: это был седьмой номер — Недотрог. Он сокрушал землю, и наездник в лиловом камзоле с палевыми рукавами сдерживал его, ложась почти на спину. Направо, за решеткой, куда приводили в длинных попонах лошадей и запрягали их в легкие американки, грудились наездники. Конюха вводили в оглобли лошадей, возились над сложными их одеяниями — оберчеками, подпругами, бинтами, муфтами, кожаными ногавками и башмаками для ног. Глотов искал ее — сокровище, душу сегодняшнего дня: в афишке значилась она темно-серой кобылой, и ехал на ней наездник со странной фамилией Стужа. У Стужи должны были быть камзол табачного цвета и зеленый картуз. Но проехал мимо наездник в красном камзоле, рыжая высокая кобыла отличных статей шла плавно, едва касаясь земли, — это была соперница Анфиса. Проскочил еще наездник в зеленом с синим, белого туповатого жеребца разгонял скакавший рядом поддужный: белый жеребец — был первый номер, Голубь. Прошла мимо легкая вороная кобылка Любимая с розовыми ноздрями, и едва перебирая ногами, страшно задрав голову, храпя и косясь, весь в бинтах и ремнях, прошел шажком Клондайк — в огромных черно-бронзовых яблоках, с белой прекрасной гривой, трепавшейся на ходу.

И вдруг — вдалеке — увидел Глотов табачный камзол, сердце его дрогнуло: ровно, победоносно, чудесно, словно улыбаясь ему, шла матово-серая замшевая кобыла, она была — вся внимание, послушание, готовность, и Глотов сразу почувствовал, что обожает ее... Это была она, Утешительница, милый, ласковый, чудесный зверь, даже не животное, а человеческая, близкая, внимательная душа. Зазвонил колокол, лошади стали удаляться на противоположную сторону круга, к серой судейской будке, откуда давался старт. Там они делали еще пробежку, — Глотов все время, с бьющимся торопливым сердцем, старался не терять из вида табачный камзол и зеленый картуз наездника. Защелкали сзади машинки касс. Люди устремлялись к окошечкам, заглядывали, на каких лошадей играют, проверяли себя, отменяли решения, колебались. Играли на Клон-

дайка и на Анфису — больше всего; кое-кто играл еще на Голубя. В остальных окошечках цифр — значились нули.

Глотов стал возле кассы; он держал деньги в кулаке, и деньги становились горячими. На той стороне круга расставляли лошадей по номерам. Чаще защелкали машинки. Никто не играл на Утешительницу, никто не знал этой чудесной, непостигаемой тайны. Сейчас должны были пустить лошадей, Глотов быстро подвинулся к кассе и сказал: — Пять третьих. — Досадно-громко защелкала машинка, потому что всем всегда хотелось играть тайно, чтобы не видели другие, а машинка развязно и улично разоблачала сокровенные замыслы. Люди бросились смотреть, на какую лошадь покупают сразу столько билетов, но в этот миг длинный звонок запер кассы. Лошади пошли.

Глотов взял билеты и с несуществующим, чужим сердцем встал на площадке каменной лестницы. Отсюда, поверх голов, виден был весь круг. Первыми пошли белый Голубь с зеленым с синим наездником, и второю Анфиса. В середине цепи ровно шла она, Утешительница, и далеко позади последние номера. Лошади быстро прошли прямую и стали подходить к повороту. Вдруг толпа зашумела: — «Анфиса соскочила», — Глотов увидел на повороте, как скачет рыжая кобыла и красный наездник сдерживает ее из всех сил; но сейчас же увидал он и то, как серая Утешительница обогнала ее и стала настигать на повороте Голубя, и как огромный размашистый Недотрог, шедший последним, обходит средние номера; один из них с белым наездником скакал и оставался позади всех: это был Гладиатор. Лошади вышли из-за поворота, и теперь стало видно, что бег ведет Утешительница. Толпа принялась отыскивать ее по афишкам. Лошади, между тем, подходили к трибунам, и Глотов увидел, как далеко, легко впереди всех, уходит она, с этой вытянутой вперед милой покорной мордой, с табачным наездником, который отдал ей все поводья и перегнулся к самому хвосту. И следом сейчас же прошли белый Голубь, Анфиса и Клондайк, а за Клондайком всей сокрушительной силой шел последний — Недотрог, настигавший Клондайка. Опять зашумела толпа, и Глотов услышал, что Недотрог хорошо подходит.

Лошади стали подходить к повороту, и по-прежнему далеко впереди выдвинулась та же серая кобыла, на которую никто не играл. Глухим прибоем шумели трибуны, прибой нарастал. Ах, если бы там, на той стороне, у серой будочки, похожей на голубятню, был финиш, тогда все сразу бы определилось, — а еще этот последний, самый загадочный, волнующий круг... Внезапно прибой взмыл, на дешевых местах трибун прокатился рев: скакал белый Голубь, и его легко обошли выправившаяся за поворотом Анфиса, и за нею тот же все железный, размашистый Недотрог. Опять зашумели трибуны:— «Недотрог обходит!» Вдруг Анфиса стала сдавать, и он выдвинулся вперед на голову. Он выдвинулся на голову и стал сокращать расстояние между собой и серой кобылкой, уходившей впереди. Защелкали крышки часов, игроки смотрели на секунды. К по-

вороту серая кобылка опять ушла от него, и вот — он стал настигать ее снова; секунда — шел он позади, еще секунда — он настиг мордой колеса,— опять глухим ревом стали греметь трибуны. Глотов выдвинулся вперед, губы его пересохли, какая-то предобморочная слабость облила всего его липким, едким потом; он ничего не понимал: лошади — две лошади рядом — шли, они приближались секунда за секундой, и он услышал, как страшным нечеловеческим голосом ревет наездник в лиловом камзоле на жеребца. Он настиг уже серую кобылку, он обогнал ее возле самого столба, но вот последний один бросок, и серая кобыла выдвинулась на полголовы вперед. Короткий удар колокола сорвался вверху. Весь липкий от пота, счастливый, зажав в кулаке билеты, Глотов спустился вниз. Утешительница — не обманула, умная, чудесная, неповторимая... Сейчас на белой доске вывесят, сколько она принесла ему, его отыгрыш, его победу, он любил людей, этих неудачливых игроков, лошадей, пестрых загадочных наездников, весь этот теплый, летний, благословенный день, — и он ходил мимо решетки и ждал Цыганкова, человека, который его спас, помог ему в самой крайности, — Цыганкова, которому он не верил сначала и сомневался в нем.

Человек у белой доски стал выставлять цифры. Это секунды, резвость, сейчас будет выдача, и человек стал ставить новые цифры — 33.50. Глотов задохнулся — это было чудовищно, невероятно: 33.50. Это значит, 110 за 10... у него с Цыганковым десять билетов, десять билетов по 110, это значит тысяча сто рублей!..

Он стал вытирать лоб, — такую удачу не предвидел даже Цыганков. Мальчишка принес листок с выдачей в кассу. Никто не подходил к ней — все были неудачники, он, один только он, был удачник сегодня. Он подошел к кассе и протянул все пять лиловых билетиков. Толстая кассирша недоуменно посмотрела на него.

— Третий номер, — сказал он, нагибаясь к окошку.

— Третий не пришел, — ответила она. — Первым пришел седьмой.

— Как седьмой?

Она показала ему листок.

— Третий пришел, Утешительница, вот пять билетов! — крикнул Глотов.

Кассирша ответила:

— А вам говорят, что пришел седьмой. Глядите на доску.

Глотов оглянулся. На белой доске первым стоял седьмой, вторым — третий.

— Я ничего не понимаю, — сказал он, — это ошибка, нелепость...

И, не видя никого, он бросился искать Цыганкова. Если это мошенничество, ошибка, — Цыганков знает здесь все порядки... Он обежал стеклянную трибуну, буфет, Цыганкова не было. Тогда побежал он обратно и внезапно увидел его на лестнице: Цыганков поднимался наверх. Глотов крикнул ему, он подбежал, мокрый от пота, он держал билеты в руке.

— Здесь — мошенничество, — сказал он, задыхаясь, — почему не выдают на эти билеты?

Но лицо Цыганкова не выразило интереса или участия, и Цыганков сказал и махнул рукой:

— Полноса только и проиграла... И как этот дьявол на повороте вывернулся. Мишка, наездник, сам чуть не плачет, тридцать рублей на себя ставил...

И сейчас же невидимый оркестр упоительно, нежно, беспечно заиграл вальс.

V.

Сначала Глотов вел счет, сколько взял он из кассы, но потом как-то случилось, что он запутался в этом счете, — и дальше все уже пошло без счета, а когда пошло без счета — стало вдруг безразлично, больше ли или меньше... Все равно, он не мог бы покрыть растраченного, лошади, на которых играл он, приходили иногда, а чаще не приходили, и наигранное вначале — неизменно проигрывал он к концу. Но самое страшное было то, что несгораемый шкаф становился тайным, единственным сообщником. Также несокрушимо, словно ничего и не произошло, лежали в нем деньги, новые пачки приносились из банков, Глотов раздирал их и выдавал жалованье рабочим, оплачивал счета, ездил за новыми деньгами, — и никто не мог знать, что именно здесь, в железном заводском недре, где все должно было быть в таком несокрушимом порядке, что именно здесь все совсем не в порядке, и что он, Глотов, десять лет отсчитывавший чужие деньги, угрюмый их сторож, запиравшийся ото всех в свою клетку, что он — растратчик... Он назвал себя этим словом в один из летних, бескрайних вечеров, теплом и беспокойством любви лежавших на улицах и бульварах, и ужаснулся. Еще две недели назад, еще месяц назад все могло бы быть поправимо. Лишениями и трудом он мог бы покрыть растраченное и начать сызнова свою справедливую жизнь, но был Цыганков, страшная тень, встававшая неизменно позади, и Цыганков говорил о том, что все поправимо, что неудачи всегда бывают в начале, и что однажды одним ударом покроется все. Он был всегда тут же, рядом, когда угаданная лошадь приходила первой, и колючая рыжая щетинка его усов топорщилась от улыбки, но его никогда не бывало вблизи, когда лошадь проигрывала... он исчезал в ту же минуту, почти на глазах, и Глотов находил его только перед другим заездом, когда возникали уже новые заботы и старые неудачи должны были быть забыты...

И в этот же летний вечер Глотов ощутил звериную, ледяную тоску, он был теперь запутан, без прав на жизнь, на уважение, на доверие, и впереди — гибель, конечно. Он возненавидел Цыганкова, его редкие желтые зубы с одним обломанным клыком слева, жесткую щетинку его усов, весь сырой и как бы неопрятный запах, исходивший от этого человека. Он вспомнил прямые, великолепные улицы города, в котором началась его погибель, женщину — Марию Николаевну, которая полюбила его,

блаженную эту и неповторимую круговерть. И он оглядел со стороны всего себя, измученного и ненужного никому, в жалком, истертом костюмишке. Нет, чтобы нравиться женщинам, нужно быть отлично одетым, нужно быть ловким, развязным, беспечным в деньгах, беспечным в жизни,— иначе вот это запселая, ужаснувшая его никомуненужность... И на деньги, которые теперь не переводились, он купил на другой день новый серый костюм, шляпу с шелковой лентой и желтые ботинки, и вечером, не зная куда себя девать, неспеша пошел в летний сад.

Огромная мельница неторопливо махала крыльями в красных и зеленых огнях, и в летнем саду был шорох от ног толпы, свежий запах политых клумб и неверная гортанная музыка. Женщины, женщины, молодые, старые, стайками, по-двое, поодиночке гуляли, сидели на скамейках, и ели за столиками мороженое. В открытом театре пять велосипедистов выехали на сцену; они вальсировали на велосипедах, садились друг другу на плечи, снимали передние колеса, катались на одном колесе. Глотов ходил по дорожкам, смотрел номера на открытой сцене, курил, новый костюм был ловок, отлично отутюжен. Наконец, в конце вечера, на скамейке, возле болтливого фонтанчика, он заговорил с женщиной. Они сидели вдвоем в стороне, и он понял, что женщина ждет, чтобы он заговорил.

— Необыкновенно приятный вечер, — сказал Глотов и приподнял шляпу.

Женщина ответила коротко: — «Да».

Это значило, что она была не против знакомства, и он положил руку на спинку скамьи. Он узнал от нее, что она ждала знакомого, но что знакомый не пришел. У нее был узкий рот, сведенные злые брови, и вся она была заострена, как костяной нож, но накрашенные тонкие ее губы чуть открывали великолепные, мелкие, звериные зубы, и от нее пахло теплым и пряным запахом, напоминавшим духи Марии Николаевны.

— Все мужчины одинаковы, — говорила женщина, — ни одному не верю.

Она уже чуть кокетничала с ним и забыла о знакомом, которого ждала; впрочем, может быть, она никого и не ждала.

— Может быть, позволите мороженого? — сказал Глотов. — Вечер душный.

Она не отказывалась, но почему-то не хотела сесть на террасе, где сидели все, и Глотов решил, что она боится того знакомого, с которым уговорилась о встрече. Они сели в саду, в уголку за деревьями. Много мужчин с женщинами сидело здесь; Глотову было приятно, что эта, видимо, приличная, красивая женщина сидит с ним за одним столиком, и он будет платить за нее, чем сделается она ему ближе, потому что не каждому позволяет женщина платить за себя... Они сидели друг против друга и ели с блюдечек мороженое. Ее рука с отточенными розовыми ногтями лежала на столе; Глотов тоже положил свою руку на стол. Они говорили о пустяках, женщина улыбалась, показывала мелкие свои зубы,

иногда она вскидывала на него прекрасные, недобрые подведенные глаза, и тогда сердце его заходило; неспешно пальцы его руки коснулись на столе ее пальцев, женщина не отняла руки, но не поднимала глаз и доедала ложечкой мороженое. Тогда постепенно забрал он ее пальцы в свои, он пожал их слегка, и пальцы чуть дрогнули, словно ответили. Он сжал их сильнее, легкая морщинка боли легла между сдвинутых ее бровей, и он почувствовал вдруг, что сухие худые пальцы ответили. Внезапно подведенные глаза поднялись и поглядели прямо в его глаза — долго, притушено, порочно... Глотов расплатился минуту спустя, и они пошли прочь отсюда, он держал ее под руку так тесно, что они мешали друг другу итти, и на извозчике, вверх по пустынному Цветному бульвару, он видел, как блестят при свете фонарей глаза женщины, она смотрела на него, и он смотрел на нее, — и они потянулись друг к другу долгим, городским, мучительным, бесстыдным поцелуем.

Женщину звали Зося. И тут же на извозчике они уговорились обо всем. На углу, в магазине, они успели еще купить вина и закусок, и поехали на квартиру к Зосе. Глотов не запомнил всех улиц, по которым вез их извозчик, — так проплывало ночное это путешествие в туманах и поцелуях, и он не приметил дома, к которому извозчик их привез. Он помнил только потом, что дом был огромный, с огромными глухими воротами, под сводами которых долго пришлось итти, и на темной бесконечной лестнице зажигать одну о другую спички. Комната женщины была глухая, малиновая, и окно выходило в стену. Женщина сняла шляпку, и Глотов увидел, что в шляпке она казалась моложе. Кроме того, у нее были жесткие, грубые волосы, курчавые по-звериному и колбасками на ушах, и он подумал, что она — совсем уж не такая порядочная женщина, если везет к себе первого встречного человека... Но думал об этом он недолго, потому что женщина сейчас же накрыла на стол, и он налил ей и себе по прозрачной, зеленоватой рюмке. Вдруг женщина сказала — словно ответила на его мысль:

— Наверное, думаете обо мне бог знает что... с первым встречным поехала и водку пью. Просто тоска такая, и у вас тоска, сразу видно, отчего же вместе не провести вечер?

— У меня — тоска, — сказал Глотов, — это вы верно сказали...

И он подумал о своей прожорливой тоске.

— Ну, а если тоска, выпить надо, и больше ничего, — и теперь женщина сама налила ему рюмку.

Так они пили и чокались, и малиновая комната с окном, открытым в стену и не доносившим снаружи никакой прохлады, — эта малиновая комната медленно качнулась, как лодка, она поплыла, и вся сегодняшняя тоска тоже, вся невозможная запутавшаяся жизнь, весь этот город, завод, упиравшийся трубами в небо, железная его, Глотова, клетка и страшный, несокрушимый, рыжий шкаф — его сообщник, — все плыло мимо, легко, бездумно, не мучая и прощая...

Из всей этой ночи, в которую провалился он целиком, Глотов запомнил только огромную душную постель, где задыхался он от сердцебиения, и женщину в сорочке с бретелькой, спустившейся с правого плеча... Он видел ее мельком дважды в течение ночи, она возилась над чем-то невдалеке, — и затем вдруг, под утро, словно его толкнули в самое сердце, частый резкий стук в наружную дверь. Он сел на постели, не понимая, и женщина сейчас же заметалась, не зажигая огня. Глотов плохо запомнил, о чем она бормотала ему шопотом, она помогала ему одеваться, он все никак не мог найти вывернувшегося рукава пиджака, и так в незашнурованных ботинках она потащила его за руку по длинному черному коридору и выпустила на узкую лестницу, коленами уходившую вниз.

— Муж вернулся, — сказал она здесь страшным шопотом, — он бы и тебя, и меня убил, если бы застал, — такой сумасшедший... Приходи вечером в сад, на ту же скамейку.

И она обняла его за шею голою рукой; он задохнулся и наощупь, хватаясь за перила, стал спускаться вниз. Лестница была бесконечна, он дважды едва не покатился на поворотах. Наконец, толкнул он дверь, и в лицо сразу ударило сладковатым и гнусным запахом помойки. Он пробрался мимо этих отбросов, отыскал ворота, за воротами был еще двор и снова ворота — и он вышел, наконец, на большую и незнакомую улицу. Утренний зеленый рассвет пахнул свежестью; улица была пустынна. Заря занималась за домами. Он долго шел по улице, не зная, где он и куда идет. Наконец, он дошел до бульвара и пошел по аллейке, но земля кружилась, выпитая вечером водка и ночь, проведенная с женщиной, ломили глаза, к горлу подступала мучительная судорога, он добрел до скамейки и здесь его трудно и больно стошнило. Он отдышался и побрел дальше. Город начинал жизнь. Дворники мели улицы, пахло пылью и теплым хлебом из булочных. На углу он нашел голубого извозчика, и извозчик повез его домой. В высокой пролетке было покойно, он засыпал. Но на ухабе качнуло, голубая спина извозчика, пыльная скобка его волос под цилиндром — близко и слишком отчетливо вошли в глаза. Он раскрыл их шире, чтобы согнать дрему, он вспомнил внезапно всю эту зыбкую, грешную ночь, и правая рука знакомым движением провела по левой стороне груди. Здесь всегда была легкая опухоль бумажника, и вдруг ужас — от воспаленных глаз до слабых коленок — сокрушительно пролился в нем. Бумажника не было. Бумажника, в котором лежали деньги — четыреста пятьдесят рублей для уплаты завтра утром по счету за электрическую энергию для завода — не было. Он обронил его в комнате у женщины. Но где жила эта женщина? Он не запомнил ни улицы, ни дома. Он бы не мог даже узнать этого дома, в который он вошел с одной стороны, а вышел с другой...

Холодными пальцами обшарил он карманы и расстегивал тугие пуговицы, не пролезавшие в новые петли костюма, — и он вспомнил еще: ведь женщина назначила ему встречу сегодня вечером в саду... И это не

девка с улицы, а замужняя женщина, которая тоскует и которая встретила его, тоже тоскующего человека, — и так все случилось... Она найдет бумажник и принесет его с собой вечером, она придет, как близкая ему женщина,— и он успокоил себя. Для уплаты по счету есть еще срок — целая неделя. Он умылся дома холодной водой, переоделся и, все еще не отойдя от пережитого ужаса, поехал на завод.

Вечером, к восьми часам, он был в саду и ждал женщину на той же скамейке, на которой они познакомились. Он прождал ее целый вечер, принимая за нее других женщин, он побежал даже за одной и чуть не схватил ее за руку, но чужое, красивое лицо поглядело на него холодно и враждебно. Опять вальсировали велосипедисты, опять пряно, беспечно наигрывал оркестр, и раздражающе медленно махала цветными крыльями — красным и зеленым — огромная мельница. Тогда он понял, что его обманули, он вспомнил, как дважды ночью видел мельком он женщину, она копошилась над чем-то именно возле стула, на котором лежало его платье, он вспомнил стук в дверь, хотя женщина ничего не говорила ему о том, что она замужем, и он вспомнил еще, как помогала она ему одеваться и тащила его коридором на черную лестницу. Все это — была ложь, женщина завлекла его, обманула, ограбила, и ему не на кого было теперь жаловаться, потому что он сам во всем виноват, и потому что — это было лишь следующее звено в цепи его преступлений, неправд и обмана.

Он шел по аллейке, не видя людей, пыля, сразу перегорев до конца; стремительная золотая ракета пронзила ночное небо и лопнула там, обвисая золотыми прядьми, жемчугом и рубиновыми и изумрудными каменьями, скользящими в небытие.

VI.

Глотов приходил в сад шесть дней кряду. Дважды он ошибался, другие женщины походили на нее, и он понял, что здесь она не появится. Теперь он давно уже представил себе, как это будет с ним: однажды придут люди, деловые, очень озабоченные. Они предложат показать книги и проверят наличность. Тогда, в один день, вся его, Глотова, жизнь станет ничем. Теперь уже можно оглянуться, был ли он счастлив хоть раз, дали ли счастье ему все эти деньги? Нет, они дали ему одни несчастья и ни одной радости. Роковая сила рвала их из его рук. Он хотел немного удачи, и судьба бесстыдно смеялась над ним. Лошади смеялись над ним, он слышал ночами их нестерпимый конский смех над ним, неудачником и растратчиком. Он искал тени любви, своей затерявшейся мечты в женщинах, — и женщины бесстыдно лгали ему и обкрадывали его. А если бы сейчас вошел он туда, в директорский кабинет: — Проворовался кассир. Кассир завода проворовался. — Сколько он растратил? — Он видел, как поднимает рука с рычага телефонную трубку.

Нет, так лучше же погибать с грохотом, так, чтобы выли скрипки, чтобы женщины цеплялись за него голыми руками, заказать при жизни по себе панихиду... Как прошла его жизнь, было ли что-нибудь единственное, неповторимое в ней? — нет, все повторимо, как повторим он сам в тысячах других: повторима эта его примятая переносица, запавшие человеческие больные глаза, повторимо его имя, тоже серое обыкновенное имя. Повторима невыразительная служилая жизнь, детство — какая-то линия Васильевского Острова, огромный, многочеловечный дом с шарманками во дворе, повторима дешевенькая первая любовь, как запах японских духов — приторноватый и скучный, лодочка на Неве и незабвенный обед на Стрелке с женщиной, настоящей, не продающейся женщиной, у которой туфелька лаковой лодочкой и которая здесь только ради него одного, и ни с кем больше она бы сюда не пошла.

Эта вся жизнь, как разметки в трудовой книжке, где годы проставлены с неумолимою точностью, и дети чередуются с браками и с графами о пособиях. Но был ли он счастлив хоть раз — по-человечески, просто? Нет, счастлив он не был ни разу. Цыганков обещал, что счастье принесет на хвосте вороная кобылка. А вдруг он лгал ему во всем, издевался над ним все время — если бежало шесть лошадей, он находил шесть дураков, и каждому советовал по лошади. Какая-нибудь да приходила, и кто-нибудь с ним да делился. Он — просто жучок, беговой жучок, который его погубил. И Глотов задохнулся — так было это возможно и просто, и ни разу об этом не подумал он прежде!

И он решил сегодня же, именно сегодня, найти Цыганкова, чтобы сказать ему все это, чтобы плюнуть в его рябое лицо, чтобы покончить навсегда с этой ложью, которая привела его к концу... Он решил, что завтра же утром откроется во всем, что бы его ни ждало. И вечером, в пивной на Садовой, он нашел Цыганкова. Обложные дожди неслись над Москвой; она давно уже стала осенней, да и ломалось лето, шла осень. В пивной гремел хор с бубенчиками, даже на улице воняло табачищем и солодовым перегаром. Глотов решил: он сотрет, он погубит Цыганкова, если все было так, как сегодня ему представилось, и он шел, задевая за столики, вглубь, к его излюбленному столу. Он издали еще увидел Цыганкова, и вдруг он, Цыганков, который должен был бы бежать от него или закрыть голову руками, — он замахал ему и улыбался, он широко и дружески улыбался ему, и Глотов увидел еще, что он сидит не один, а в компании. И он узнал двух наездников: одного плотного и с нафабренными усами — старика Новоселкова, и другого худого, поджарого, с рыжими бачками, похожего на англичанина, — Капитонова I-го.

— Вот и подоспели во-время, — сказал Цыганков дружественно, — только о вас говорили. Гражданин, еще парочку!

Он познакомил Глотова с наездниками, и Глотов сел за один с ними столик.

— Ну, Глотов, если не сплоховать, можно сделать удар, — сказал Цыганков, когда принесли пиво.

Это могла быть такая же ложь, Глотов не поверил, но старик Новоселков сказал серьезно:

— Горячиться тоже надо погодить... До бега еще три недели. Три недели для лошади — большой срок.

— Это я понимаю, я не к тому, — может, лошадь к бегам и не в порядке будет. Я сейчас про шансы, про секунды.

И он рассказал Глотову: через три недели, в воскресенье разыгрывается большой приз. Народу, если не помешает погода, будет до чорта. За призом пойдут четыре лошади. Пойдет «Карусель» — кобыла, первый фаворит, «Адмирал» — тоже в первых шансах, на них и будут играть. А еще две, на которых играть будут мало, — это жеребец «Пасс-Роз 2-й» и, вероятно, «Ловчий». Ну, Ловчий для комплекта, конечно, шансов у него никаких, хотя лошадь хороших статей, но тяжелосбоистая и не любит мягкой дорожки, а сейчас обложные дожди. Играть на него не будут. Плохо будут играть и на Пасс-Роз, хотя именно по резвости он и есть первый фаворит. Но, во-первых, он всю зиму и вёсну был не в порядке; во-вторых, ему 14 лет; и, в-третьих, наконец, весной он болел воспалением кишечника и думали, что он падет. Но с весны взял его в работу Новоселков, и сейчас лошадь в таком порядке, о котором никто и не знает. Последний рекорд при тяжелой дорожке 2.12, — а это кто понимает, что значит 2.12 — тому и все ясно. У Карусели 2.14, а у Адмирала 2.19,3, а годовой и того ниже. Единственный конкурент по резвости — это Ловчий, но в этой компании Ловчему никогда не притти, да и едет на нем шляпа — Хрущов, который за два сезона не взял и восьми призов. Так вот, говорится все это не зря, а говорится вроде как родному человеку. На Пасс-Роз можно не только вернуть, но и остаться с изрядным наварцем. Но — условие одно: и Новоселков и Капитонов I — в доле. 25% за вычетом ставки — им, 25% — ему, Цыганкову, и остальные Глотову. Дело серьезное, и если он на это дело пойдет — значит, у них с сегодняшнего дня союз. А если он не пойдет, придется искать еще кого другого. Из других наездников никто ничего про лошадь не знает, потому что интереса к ее работе нет. Сейчас интерес к Карусели и к Адмиралу — кто возьмет. Но, конечно, ручаться нельзя: лошадь может к моменту бегов оказаться не в порядке, и тогда все дело срывается.

Вот это было главное: его, Глотова, не заманивали; с ним не договаривались даже окончательно, потому что тут дело могло сорваться, его никто не соблазнял, не обманывал, — а ему давали единственную возможность вернуть все, возвратить погубленную жизнь, и, может быть, Цыганков, который был его погубителем, будет его — спасителем. Глотов сказал:

— А сколько же ставить надо?

И Цыганков засмеялся, наливая ему в стакан.

— А это уже по сути, по времени видно будет, — сказал он покровительственно, как всегда. — Для малой игры и сговариваться не стоило. Что сейчас толковать, может и игры-то никакой не будет.

И Глотов почувствовал вдруг, что жадно хочет, чтобы игра была, что сейчас — не будь Цыганкова — он бы не знал, что делать с собою и, может быть, завтра же навсегда погубил себя, открывшись во всем — и тогда не было бы никаких надежд, а сейчас были надежды, сейчас были еще впереди эти три бесконечных недели надежд, и сердце его томилось будущей тревогой и благодарностью. У старика Новоселкова был большой перстень с изумрудом на руке, и сухой, похожий на англичанина, Капитонов I, был молчалив и серьезен, и это были настоящие люди, знатоки, а не жучки, как ему померещилось насчет Цыганкова, — и если эти серьезные люди принялись за дело, в которое принимают его,— может ли быть у него что-нибудь к ним, кроме благодарности?

Он вдруг повеселел, все муки его прошедших дней стали легки, и рядом был близкий, дружественный Цыганков, который искренно хотел ему и себе удачи, — и Глотов подозвал прислуживающего человека и заказал всем по порции ветчины и еще полдюжину пива. Они много выпили, отяжелели, разгорячились, они столковали обо всем, — и когда они выходили из пивной, старик Новоселков налег на него всем своим не грузным наездническим телом и сказал в ухо:

— Не бойся, Котов, Новоселков еще никого не выдавал. Лошадь у меня в руках, как сын, тридцать семь лет с лошадьми путаюсь. Мы остальных на две секунды покроем, и не вывернутся. А ведь кровь-то, кровь-то какая! Пасс-Роз — дед, да отец — Пасс-Роз I, да мать Соломка от Бригадира и Лэди Грей! Вот ты и прикинь, Котов, милый друг, сколько здесь на кровь положить надо. Вон Память-Варяга не докормили за революцию, веса нехватает, а кровь-то, кровь-то какая. И берет кровью, Карусель ею бита, вот она кровь.

И хотя старик путал его имя, Глотов слушал с восторгом его слабый голос, который становился нечеловеческим ревом, когда выбрасывал он лошадь на финише, — и он поддерживал бережно его стариковское, драгоценное тело.

VII.

Тучи быстро неслись над городом, они разрывались в лохмотья, и в лохмотьях, как нежное тело, голубело временами небо. Его стирало сейчас же, и в небе была осенняя дождевая кутерьма. Лошади в беговой конюшне знали эти утренние часы. В эти часы к ним приходили конюха и наездники, они чувствовали издалека их чудесный человеческий, знакомый запах и волновались горячей, породистой, передаваемой от поколения к поколению, кровью. Конюха и наездники приходили к ним, они осматривали их, щупали, совещались; потом их выводили из станков, надевали длинные теплые попоны с круглыми глазницами и вели по мокрым аллеям парка к безлюдному, пустынному, мокрому ипподрому. Здесь их запрягали в легкие никкелевые американки, и начиналась утренняя пробежка. В сущности, эти утренние пробежки были важнее бегов. На бегах играли роль ревность, соревнование, шум осевшей толпы,

заезды перед стартом, — здесь была чистая, ровная, бесперебойная работа: здесь укреплялись мускулы, ставилось дыхание и завязывался между лошадью и наездником таинственный и понятный им одним разговор.

Лошадей, кроме Пасс Роз 2-го, в конюшне было семь. Две трехлетки, еще горячие, неуверенные сбоистые кобылки Зоя и Шутница, и четыре классных лошади, из которых одна длительно болела ногами и была вне работы. Весной сюда поставили седьмую — золотисто-рыжего, строптивого и горячего жеребца Ловчего. Его привел хозяин — наездник, Хрущов, маленький темнолицый, жилистый человек. Все знали его короткую, согнутую фигуру неудачника, в камзоле песочного цвета, на легкой американке; ему не везло жестоко. Две других его лошади не взяли за зиму и вёсну ни одного приза, публика давно перестала ему доверять, и лучшие лошади в его руках как бы заранее обрекались неудаче. Весной, с трудом, учитывая все недостатки, Ловчего, третью его лошадь, перевели в высший класс. Лошадь была, в общем, хороших статей и резвости, но у нее нехватало дыхания, выдержки, и тяжелые сбои лишали ее призов, даже если и приходила она первой. Были игроки, влюбленные в эту золотую, очаровательную, с беловатой гривой, стелющейся по ветру, с пламенными живыми ноздрями, лошадку; но она закидывалась еще в начале бега, или — что хуже — в конце, она не выносила близости других лошадей, и постепенно от нее отмахнулись все.

Хрущов еще с весны начал с ней работу. После трех месяцев работы лошадь выравнялась слегка, стала увереннней, но по-прежнему не переносила лошадей, шума или даже удара возжей; она сейчас же давала сбой, и перевести ее обратно с галопа было трудно. Хрущов купил эту лошадь в голодные годы — полуторком. Лошадь считалась не полных кровей: отсутствовали сведения о матери; отец был «Старый Спортсмен», знаменитый победитель «Партизана Орлова»; мать могла быть — полукровкой или просто безродною лошадью: неизвестно кого — случайно и по охоте — под старость покрыл отец. Бывали такие случайные и недосмотренные любви, когда знаменитые, семя которых расценивалось, как золотой песок, пленялись и безнадежно растрачивали его на простых и случайных крестьянских кобыл, чем-либо пленивших высокомерное сердце. Жеребчик, которого купил Хрущов случайно, был в беспорядке: его не докормили за революцию, он был худ, мал и в чесотке. Еще тогда поразили Хрущова, старого бывшего кавалериста, отличные стати лошади, прекрасные формы, размеры суставов и нежное золото шерсти; он выхолил ее, чесоточные проплешины заросли, — и вот теперь вышла эта отличная золотая, норовистая лошадка, стоившая ему, Хрущову, множества страданий. Он работал с ней больше, чем работали с другими лошадьми все остальные наездники. И лошадь, знавшая, какими звуками и запахами приходит утро, ждала его.

Дождь прошел ночью; из-под округлых широких дверей конюшни несло осеннею свежестью и землей. Лошади просыпались понемногу.

Давно крепким желтым зубом чесала, балуясь, о стенку одна из трехлеток. И Ловчий первым учуял людей. Поставив острые уши, повернув в сторону голову с умным блестящим глазом, он раздувал коротким сильным дыханием мучную пыль с кормушки и слушал. Люди шли вдалеке. Иногда лужи расплескивались под их шагами; это могли быть чужие или конюха. Легкая дрожь передернула его золотистую кожу. Внезапно он учуял знакомый, ни на что не похожий, единственный запах хозяина. Запах кожи его перчаток и табака. Это было так сильно, что он фыркнул, словно запахи защекотали ему ноздри. И сейчас же сдержанно заржал в своем станке Пасс-Роз 2-й, — но он ошибся: шли не за ним.

Загремели засовы; лошади повернули головы, проснулся больной жеребец, ему показалось, что уже день и принесли свежий корм, и он тяжело приподнял свое тело сначала на передние больные ноги, потом на задние. Двери открылись, и сразу широко пахнуло запахами мокрой травы и утра. Теперь знал Ловчий: сейчас рука в перчатке крепко возьмет его за нос и потрет несколько раз, пока он не чихнет; потом ладонью хлопнут его по брюху, от чего никогда он не может удержать щекотного и нервного подергивания кожи; затем его долго и нежно будут скрести скребком, выскребая перхоть, стукать скребком о стенку и заглаживать его шерсть круглой плотной щеткой, когда невольно переступаешь с ноги на ногу, так это щекотно и приятно. Утром еще невыразимо вкусно, хотя и не особенно хочется, напиться холодной мягкой воды, от которой захолодеет внутри; и вместе с водой — проходят ночные беспокойные сны, шорохи и неприятные запахи, которые, может быть, в конце концов, только снятся. Дальше в попоне и нехотя идет он у конюха в поводу по сырой дорожке. Бежать не хочется, да и лень, сейчас лучше всего потереться бы шеей о кормушку, погрохотать о настил ногами, так чтоб с притворной лютостью прикрикнул дежурный конюх, унюхать в углу кормушки мелкий вчерашний сор и постараться прихватить его губами. Но конюх и хозяин идут впереди, и нужно шагать в огромной этой теплой попоне, о которую задевают ноги.

Еще рано, и ипподром пуст. Кое-где светлеют облака, сейчас же набегают новые стремительные тучи. Небо несется. Вот сырая знакомая дорожка; нельзя оглянуться назад — посмотреть на легкую американку, которую, впрягшись в короткие оглобли, легко катит позади человек. Наконец, попону снимают; надо становиться в оглобли — это значит: надо бежать, выслушивать упреки и замечания, позволять раздирать рот удилами, не скакать, стараться не сбиться — тысячи неприятностей, и в оглобли становиться нет охоты. Может быть, если немножко потанцовать, попятиться задом, задрать голову — его оставят в покое. Это повторяется каждый раз, но в покое его не оставляют. Как-то успевают вставить его в оглобли, при чем это нужно сделать, не пугая и не одергивая его, а не то — в этих оглоблях он может стать, и никакая сила не сдвинет его с места. Правда, его может сдвинуть с места хлыст, но тогда он начнет скакать, а этого больше всего не любит Хрущов. Он хорошо знает руки

Хрущова; руки эти сильны и немного жестоки, но когда следишь за собой и не скачешь, — руки эти поразительно спокойны; даже немного приятно чувствовать их. И он начинает понемногу привыкать к их спокойствию; гораздо неприятнее, когда руки эти принимаются грубо одергивать его рот или раздражены: тогда он сам теряет спокойствие, и начинается скачка, т.-е. самое нелепое и унизительное дело, потому что он скачет, а его удерживают изо всех сил, его лишают размаха, и ему приходится переходить на жалкую какую-то и неуверенную рысь... В общем, бежать не хочется. Но вот твердые руки говорят: — Вперед! — Люди, державшие под уздцы его задранную голову, отбегают, и его выносит вперед. Он идет вперед не спеша, обвялым и неуверенным шагом, и Хрущов не торопит и не беспокоит его. Это не бег, когда сразу надо выбрасываться первым, когда надо захватить ленточку, когда со всех сторон несутся другие лошади, и нужно сразу налечь, нужно сразу войти во внимание, наладить дыхание, развертываться все сильней и сильней, забыть всякую лень, нерасчетливость и строптивость... Нет, сейчас руки покойны. Беги, беги, милый, как можешь, как хочешь. Дай разойтись крови.

И они проходят круг. Вдруг становится очень приятен этот утренний неторопливый бег. Ноги разминаются с удовольствием после ночи стоянки, раздувшийся живот опадает понемногу, подбирается и освобождается от лишней тяжести. Свежий утренний воздух хорошо холодит и щекочет ноздри. И кровь начинает теплеть. — Они заканчивают круг, и теперь приятно отфыркаться, потрясти головой, скинуть пену, набежавшую у губ. И теперь приятно еще пройти второй круг, или даже полтора круга. И опять руки покойны, добры, благодарны ему за его охоту. — Беги, беги, милый. Но чуточку быстрей. Много лошадей бежит хорошо, но надо бежать еще лучше. Надо очень хорошо бежать. Ты молод, и у тебя впереди вся жизнь. Но нужно учиться. — Хорошо, он сам не прочь прибавить. Кровь у него разгорелась, и бежать ему отлично. И он делает этот круг от всей охоты, как может.

Теперь сердце его бьется, ему становится очень тепло, и он хочет бежать еще. Но у Хрущова вдруг какие-то свои планы, и он не позволяет бежать дальше. Но именно теперь хочется побегать еще немного, передние ноги вскидываются кверху и голова с беловатой гривой начинает мотаться из стороны в сторону, стараясь выплюнуть раздражающие ненужные удила. Но руки спокойно и безжалостно прижимают железо к языку, и им приходится подчиниться. И в первый раз возникает ненависть к этим рукам и раздражение. Надо возвращаться назад, и тут он видит то, что приводит его неизменно в бешенство. Это чалая кобыла Марфа с конюхом. Сейчас, нелепо и раздражая, она начнет маячить возле него и скакать. И это так, потому что Марфа обгоняет его и скачет. Она тяжело и нелепо скачет и пытается обогнать его. Это приводит его в полнейшее раздражение, ударом головы пытается он выбросить изо рта удила и тоже начинает скакать. Но спокойная рука становится железной и требует, чтобы он перешел на рысь. Это тем более обидно и несправедливо, что Марфе, которая старше

его, позволяется скакать, а он моложе, он совсем молод, ему хочется поскакать — и ему запрещают это.

— Вот именно — ты глуп, милый мой, потому что ты молод. Скакать не штука, пусть Марфа скачет, а ты попробуй-ка обогнать ее рысью. На то Марфа и двенадцатилетняя дуреха.

И постепенно Хрущов приучает его к тому, что Марфа скачет рядом, а он должен обгонять ее рысью. Но если он привыкает к Марфе, может ли привыкнуть он к другим лошадям. Он спокоен, совершенно спокоен, он идет размеренно, но им овладевает неистовство, когда вдруг позади, рядом, возле хвоста, он слышит храп и дыхание другой лошади. Это сразу сводит его с ума, и он начинает скакать. Он скачет, не чувствуя рук, он дико косится и скачет, он не хочет ничего слышать и скачет, — и тогда короткий, оскорбительный и ожигающий настигает его удар хлыста. Удар сразу, без памяти выносит его вперед, он хочет разнести человека, самого себя, бессмысленную колясочку, путающуюся позади, — но холодная, спокойная рука неумолима, она отрезвляет. — Стыдись, милый. Ничего не выйдет. Слушайся только меня. — И вот горячка проходит, опять эта бешеная скачка переходит в размеренный бег, и Хрущов говорит сзади: — Браво, парнишка, ты начинаешь делать успехи. Смотри, сколько тебе дано: превосходные легкие, молодое сердце, крепкие ноги, которым не нужны бинты, — но выдержка, выдержка. Побеждает тот, у кого выдержка. Только тот!

От молодых кобыл волнующе, чудесно пахнет пóтом и разгоряченною кровью; они возбуждающе близко проносятся мимо, перебирают ногами, они приманивают иногда коротким играющим ржанием, — и вот, когда вспыхивает сердце и можно забыть заветы, наставления, упреки, — тогда опять неумолимо говорит позади Хрущов: — В работе — нет игры. Игра на досуге. Сейчас — работа. Только труд, мой друг, труд и пот, — и добыча наша.

Скоро много выезжает наездников, началась утренняя работа, длинная костистая Карусель идет, как машина, она не знает сбоев и страстей, в ней пересохло все в мускулы, в сухожилья, ее длинная некрасивая морда вытянута вперед — она трудолюбива, усердна, добросовестна, и Хрущов говорит: — Не завидуй, дружок. Она работает чудесно, но у нее нет твоей резвости, не хватает крови. Твоя мать — была гениальная лошадь, не хуже отца, и никто не знает, кто была твоя мать, но я вижу по тебе, по твоей крови, по твоей резвости, кем она была... Ты еще молод, дружок, ты не перебродил, не закалился. Скоро ты сам это поймешь и узнаешь себе цену. Если не будешь горячиться, будешь слушаться меня, только меня — мы возьмем. По резвости нам страшен только один: Пасс-Роз 2-й. Это — чудовищная сила, чýдовищная кровь, чудовищная выдержка. Пять лет назад — это была первая, единственная лошадь. Ей не было и не могло быть равных. Я преклонялся перед ней. Но пять лет прошло, и ей 14 лет. Четырнадцать лет — это много лет для лошади. Это целая жизнь. Не то уже сердце, не те легкие, не те ноги. Он

и сейчас страшен, он очень страшен, дураки не верят в него. Но погляди-ка, как он идет! Старик Новоселков зря не сядет на лошадь. Это — самый опасный наш враг.

И длинный, темно-серый, выверенный, уходил впереди Пасс-Роз. Он был в порядке: в отличном, железном, несокрушимом порядке. Страшная сила крови и мышц. Почти на самом его крупе сидел старик Новоселков. Они уходили, слитно, не споря, как одно существо.

— Еще немного вперед. Теперь конец.

И вот Хрущов не сзади, а рядом. Он быстро и нежно хлопает несколько раз по вспотевшей шее. Легкие оглобли отстегнуты, и опять тяжелая попона ложится на вспотевшее тело. Сейчас хорошо бы выпить студеной, пахучей воды, как утром, — но две руки ведут под уздцы прочь, под попоной тяжело ходят горячие, возбужденные бока, но надо итти неспеша, остывая, сокращая дыхание. Утро, трудовой день окончены.

VIII.

И завтра, которого ожидал так Глотов, пришло. В дождевом тумане шли человеческие толпы. Они тучно расползались по трибунам, и трибуны гулко и тысячеголово гудели голосами. Трамваи, извозчики, автомобили привозили людей. Накануне вечером Глотов взял из кассы полторы тысячи рублей. Эти полторы тысячи должны были спасти его или погубить совсем. Но еще с утра звонил по телефону Цыганков и сообщил, что все в порядке и что он будет ждать его на Страстной площади, чтобы вместе поехать на бега. И воскресенье пришло дождевым туманом. Сыро дымилась земля, и мокрые крыши были осенними.

Еще неделю назад стало известно, что будет ревизия завода. В пятницу утром Покотилов собрал в своем кабинете начальников отделов и главного бухгалтера. Общая ревизия назначена в связи со сведениями о неправильном использовании продукции, попавшей в руки перепродавцов. Все ли в порядке? Вся отчетность должна быть ясна. На каждый вопрос должен быть дан немедленный, совершенно точный ответ. Через неделю он, Глотов, погибнет. Одна надежда, — это то завтра, о котором он думал все эти недели и которое в это туманное утро стало — сегодня, Сегодня или никогда. А если никогда... он обдумал за эти недели и это. Тогда нужно покончить со всем, не ожидая позора, — все равно, не для чего и невероятно было бы жить.

Он пересчитал деньги, взятые накануне. Он нарочно взял эту тоненькую белую пачечку — всего пятнадцать листков: это были новенькие банковские деньги, присланные накануне. Бумажки были скромны на вид и таили в себе несокрушимую силу. Сегодня жизнь его, вся его жизнь, со всеми ошибками, падениями, обидами и неправдами, со всею ее запутанностью, грошовыми радостями и надеждами — стоила именно этих пятнадцать белых бумажек. Какая дешевая цена всему, что он пережил! Они условились встретиться с Цыганковым без четверти час на Страст-

ной. Но уже в 12 не мог остаться он дома: ему казалось, что он опоздает, и Цыганков уйдет, не дождавшись его. Тогда все пойдет прахом, найдутся другие люди, которые не откажутся от удачи.

Страстная площадь была сыра, люди шлепали через лужи. Скучно и медленно огибали круг праздничные трамваи. Проехал автомобиль в пестрых плакатах, на плакатах ковбой убивал женщину. Какие-то люди пойдут сегодня в кинематограф смотреть ковбоя, убивающего женщину. Стрелка на круглых часах вздрагивала медленно, перескакивая с минуты на минуту. Молодые люди наняли автомобиль с желтой полосой, ввалились все шесть человек и весело покатили — наверное, на бега. Стрелка перепрыгнула еще: стало без четверти. Цыганкова не было. А если они пропустят этот заезд, и Пасс-Роз придет первым, он придет первым, пока он, Глотов, бессмысленно стоит здесь на площади. Ему стало жарко, он снял было шляпу и сейчас же надел. Цыганкова не было. Цыганков обманул, он нашел лучшую возможность, он не придет. А вдруг Пасс-Роз заболел, именно в эту ночь он заболел — и теперь не в порядке. Тогда вернуться назад, положить завтра в кассу эти пятнадцать бумажек и самому пойти к Покотилову и рассказать все? И он понял, что — не вернется. Не вернется даже, если Пасс-Роз заболел; все равно, он поедет на бега, так уже сошлась вся его жизнь, что сегодня в последний раз он поедет на бега и будет играть на других лошадей, даже наудачу, вслепую, но играть, играть!

И сейчас же из-за фонарного столба на него спокойно надвинулся Цыганков. Цыганков доедал большую желтую грушу и минуту еще давился соком.

— Ну-с, — сказал он весело, — как же мы переправимся?

Он был так спокоен и весел, что Глотов вдруг задохнулся от благодарности к этому человеку.

— Времени у нас часа два, — сказал Цыганков еще — а играть на других лошадок не позволю. Правда, идет тут кобылка «Раймонд», кажется, в третьем заезде, дело верное, ну да чорт с ней. А не зайти ли нам лучше на полчасика в погребок к грузину? И двигаться будет легче.

И он повел его с собой в погребок, на Тверскую. В низком подвальчике было сыровато и пахло луком; испитой грузин в коричневом бешмете, с чернильным карандашом в одном из пустующих газырей, провел их в кабинет с пыльными коврами. Скоро подали водку и шашлык с кругло наструганным луком. Они выпили по стаканчику, и вдруг, минуту спустя, весь этот угрюмый, недоверчивый мир, полный дождевого тумана, стал добр необычайно. Глотов смотрел на Цыганкова, на оспины, и ему захотелось крепко поцеловать его в сухие широкие губы.

— Давай, выпьем на ты, — сказал он с восторгом, — ведь брат ты мне сегодня или нет?!.

— Лучшего брата не сыщешь. Сам меня будешь после благодарить.

Они поднялись, перекинули руку за руку, чокнулись стаканчиками, и Глотов трижды с восторгом и нежностью поцеловал широкие губы.

Они вышли отсюда братьями, и по Тверской итти было весело. В стеклянном чадку веселые и милые люди шли навстречу.

— Вот теперь и охота другая, — сказал Цыганков, — теперь и поедем в самую разь.

Они наняли на Страстной машину, сыроватый приятный ветер забил в лицо и выветрил хмелек; широко открылись Тверские-Ямские, Триумфальная арка и белый виадук с путями внизу. В Петровском парке было сыро, мокрая листва тяжелела, и хрупко шуршал песок. Знакомые бронзовые юноши сдерживали вздыбленных коней у ворот, и от вида этих коней сердце Глотова смутно зашло. Они подъехали к членскому подъезду и спустились на площадку прямо против старта.

До заезда, в котором шел Пасс-Роз 2-й, осталось еще два заезда. Но уже задолго старик Новоселков делал пробежку с ним, чтобы разогреть как следует и поставить дыхание. Дорожка была тяжелая, сырая; кое-где стояли лужи. В клеенчатом плаще, закиданном сырым песком, в белом своем картузе и в очках, Новоселков ставил жеребца на нужные секунды, как заводят часы. Сегодня шансы его увеличились: «Карусель» не любила сырой дорожки, и один из опаснейших конкурентов, таким образом, сдавал. Оставался «Адмирал», — конечно, у Адмирала были шансы, но за Пасс-Роз было пять секунд. И по тому, как настойчиво и серьезно объезжал Новоселков лошадь, было видно, что он не шутит. Да он и не шутил: Пасс-Роз, действительно, был в отличном порядке. И в него верил и Новоселков, и Цыганков. Да и прежде никогда не лгал и не выдумывал Цыганков: у него были свои сложнейшие таблицы секунд, резвости, испытаний всех лошадей, и не он бывал виноват, когда железную логику его построений опрокидывал лошадиный нрав, каприз, неврастения, которым лошади были подвержены больше людей.

Пасс-Роз шел, как часы. Все было выверено, и старик Новоселков своими маленькими железными руками чувствовал эту лошадиную волю к победе. Об этом знал он один, и он знал еще то, чего не знал никто из наездников, ни из судей, ни из этой многотысячной толпы. Он знал, что опаснейшим конкурентом, лютым соперником могут быть не эти заласканные фавориты Карусель или Адмирал, — а маленький рыжеватый жеребчик Ловчий. Он давно знал, что его хорошо подготовил Хрущов, что это — первоклассная, еще не оформившаяся лошадь, что его секунды хотя и не совсем подходят к секундам Пасс-Роз, но у него есть страшное, несокрушимое преимущество — молодость. Ему — пять лет, а Пасс-Роз — четырнадцать. И этот ровный молодой бег крови не побить иногда никакой тренировкой и опытом. Знал и сам Пасс-Роз этого молодого, золотистого жеребчика. Он запомнил его еще с той поры, когда оба они изнывали от страсти к маленькой невзрачной кобыленке Лапушке. Они гневно перекликались тогда встревоженными голосами и смертно ненавидели друг друга. И сейчас, в бегу с ним, Пасс-Роз должен был больше, чем с какой-либо другой лошадью, чувствовать горячность и нервность, мешавшие выдержке. Но и у Ловчего были свои страшные недостатки:

он был сбоист, капризен, у него было плохо поставлено дыхание, а бежать нужно было полтора круга, и здесь он терял много.

Музыка заиграла после заезда, и Капитонов I, пройдя мимо решетки наездничьей площадки, сказал словно себе самому:

— Адмирал не в порядке, с утра жижей валит.

Это была — важная весть. Сдавал второй фаворит, и Пасс-Роз сразу выходил на первое место. Если до сих пор Цыганков и подумывал страховать его частью в двойном, то теперь двойной терял смысл, и нужно было ставить все в одинаре. И от того, как прищурился вдруг Цыганков, сердце Глотова радостно и выжидательно припало.

Во время следующего бега, в сторонке, они разделили деньги, и немедля же в перерыве Цыганков устремился к кассам, закупая всюду понемногу, чтобы не обратить внимания. Главную закупку они должны были сделать у двух крупных касс сейчас же перед заездом. Так они условились, и Глотов встал у назначенной кассы, держа деньги в кармане рукой. Время от времени подходили люди, заглядывали в окошечко и покупали билеты: покупали на №№ 1 и 2, т.-е. на Адмирала и на Карусель. Всего шло за призом четыре лошади. Кто-то купил еще билет на Пасс-Роз, и Глотов уверился совсем. Человек, купивший на Пасс-Роз, был старый игрок; у него было умное, благородное и несчастное лицо, Глотов видел его здесь каждый раз и, кажется, он никогда не выигрывал. И Глотову захотелось сказать ему с торжеством: «Возьми еще, четыре — пять, сколько можешь, это — наша лошадь, она придет первой».

Цыганков быстро прошел мимо, заглянул в окошечко одной-другой кассы — и исчез. Неспеша, натягивая перчатки, выехал Демин 3-й на Адмирале. Огромный караковый жеребец, красавец, тряс головой и закидывал грудь лепестками пены. Он шел лениво, уверенно, едва перебирая ногами. Чаще застукали машинки касс: все покупали на Адмирала. Вдруг из-за поворота, ёкая селезенкой, разнося сырой песок, стремительно вынеслась длинная серая кобыла; ее серебряная грива дымилась на ветру, пламенные ноздри были раздуты, послушная, прекрасная морда вытянута вперед — это была фаворитка, гордость, первая лошадь — Карусель. Опять застукали машинки: все ставили на Карусель. На рыжего Ловчего с несчастливым Хрущовым не ставил никто: он прошел шажком, вскидывая головой, у Хрущова был не картуз, а какая-то нелепая обывательская кэпка с наушниками, заложенными кверху. Все это не располагало. Пасс-Роз знали хорошо, кое-кто поставил еще на него, как на шалую возможность, но все знали, что он не в порядке, хотя и видели также — старик Новоселков решил бороться всерьез.

Стартер с флажком прошел на свое место, и вот услыхал Глотов этот протяжный, знакомый, не меняющийся никогда окрик: «На места-а!». Лошади, ушедшие в сторону, стали подтягиваться к старту. Глотов и Цыганков купили разом в двух кассах, застучали машинки, игроки в замешательстве кинулись к окошечкам узнать, на кого играют. Глотов собрал свою пачечку билетов, игроки заглядывали в афишки, лица у них

сразу стали озабоченными, но вдруг сзади снова торопливо застучала машинка, и теперь уже Глотов бросился к окошечку, чтобы взглянуть, на кого покупает столько билетов молодая красивая женщина. Он увидел, что женщина купила двадцать билетов на четвертый номер, т.-е. на лошадь, на которую не ставил никто — на Ловчего... Но сейчас же дрогнул колокол, он не успел продумать все это и бросился к решотке.

Лошади, лучшие лошади, какие были только на этих бегах, взяли разом, точно одно существо. Они сорвались вперед одною стеною, но тут же стало ясно, что рыжая лошадка попала в коробку. Путь к ленточке был ей прегражден другими двумя лошадьми, именно Адмиралом и Каруселью, шедшими вровне. Немного в стороне, чуть позади шел Пасс-Роз 2-й. Нагнувшись вперед, Хрущов неистово вопил наездникам впереди: он был заперт. И лошади унеслись. Легкий прах еще колыхался за ними. Опять зашумели трибуны: на повороте стало видно, что Пасс-Роз обходит стороной. Но на противоположной прямой лошади сравнялись снова, и опять позади в коробке, не отставая, шел рыжий жеребчик. Вдруг из-за ровной стены выдвинулась одна голова, так шла она немного впереди, и еще секунды спустя лошадь выдвинулась на всю грудь, на полкорпуса, на целый корпус. Пасс-Роз уходил вперед. Тогда наездник, ехавший на Карусели, чтобы не упустить прямой, наверное, кинул лошадь чуть вбок, и сейчас же в пространство, ставшее свободным, выдвинулся рыжий жеребчик.

— Выдохся Пасс-Роз, — сказал кто-то рядом, — Карусель и придет, — но на последнем повороте Пасс-Роз опять ушел вперед на целый корпус, и вдруг ему вслед меж двух других лошадей вынырнула голова рыжего жеребчика. Секунда еще — и он ушел вперед совсем, трибуны охнули, лошади свернули на выигрышную прямую, глухой рев покатился по трибунам, сразу все стало непонятным. Но сейчас же все уяснилось: именно, что две лошади только бьются друг с другом — Пасс-Роз 2-й и Ловчий. Две лошади, о которых никто не думал, и бушующие трибуны перекипали через край. «Не выдавай, Новоселков!» — вопили оттуда, Глотов видел сквозь туман, застлавший глаза, железную грудь темно-серой лошади, и вдруг оттуда же с трибун донеслось: «Браво, Хрущов!» — Еще секунда, лошади — одна наравне с другой — пронеслись мимо, наверху брякнул медный удар, Глотов не понял ничего, он оглянулся растерянно и вдруг увидал Цыганкова с искаженным лицом:

— Сволочь, дьявол, — кричал он и тряс кулаком, — полноса захватил!..

И он бросил о земь картуз.

Ловчий не сбоил, и молодость победила старость: какой-то секунды, полусекунды дыхания, бега крови, работы сердца не хватило ей. Глотов посмотрел еще на мир, на желтый, сырой круг ипподрома и равнодушно подумал, что видит все это в последний раз.

IX.

В шестом часу, в вечернем отделении банка, Глотов выкупил два крупных векселя, направленных к протесту. Он должен был внести двумя чеками всю сумму. Пока проводили по книгам, сырой, тяжелый старик, в рыжем драповом пальто, подошел к окошечку кассы и занял очередь. Он положил на прилавок пузатый портфель и сыро, уныло, стариковски ждал. Глотов стал за ним в очередь у кассы, и сейчас же старика вызвал кассир.

— Сколько получаете? — спросил он из окошечка клетки.

— Тридцать пять тысяч.

Старик лег обеими руками на прилавок и приготовился считать. Затем Глотов видел ясно, как кассир открыл тяжелую дверь шкафа, достал несколько плотных пачек и кинул их на прилавок. Подагрическими руками с желтыми большими ногтями, похожими на мозоли, старик развязал пачку, оборвал бандероль и, поломав ее несколько раз на середине, чтобы разошлись бумажки, начал считать. Золотое пенснэ едва висело на кончике мясистого носа. Он считал и считал. Десятки, сотни этих белых новеньких бумажек отлистывались, он откладывал одни пачки и разрывал новые. И Глотов подумал вдруг, как не боится этот сырой и беззащитный старик набирать под вечер с собой столько денег; любой человек мог свалить его ударом кулака, выхватить этот рыжий портфель — и тогда... тогда он, Глотов, мог бы покрыть все и начать жизнь сызнова. Он ужаснулся тотчас, что смотрит так на пачки этих денег и на руки старика в узлах, он ужаснулся, главным образом, от того, что такая мысль могла притти ему в голову, — но он не мог уже развязать петли, жарко стянувшей его горло, — и страшная, неодолимая злоба к этому старику, который уйдет отсюда и унесет в рыжем портфеле всю его жизнь, цену всей его жизни — эта злоба была сокрушительнее всего.

Старик получает деньги для учреждения, в котором он служит; если у него эти деньги отнимут — их просто спишут со счета, и никто не потеряет. А он, Глотов, выигрывает жизнь — какая все-таки недорогая цена человеческой жизни! Только выбрать момент, удачно толкнуть человека и скрыться — как просто, даже не преступление.

Старик кончил считать, сронил с носа пенснэ на шнурочке, засунул деньги в портфель. Он подозрительно оглядел всех и пошел к двери слабыми, шаркающими ногами. У двери он еще повозился, придерживая локтем портфель, он застегивал пальто. Глотов сдал чеки и получил векселя. Он быстро вышел и нагнал старика на улице. Шел дождь, мокрые камни блестели; дул сырой ветер. Старик шел теми же слабыми шаркающими шагами, нагнувшись от ветра; он тщательно обходил лужи. Магазины уже закрыли, только что сошли толпы служащего люда, и улицы были пустынноваты. Глотов шел за стариком, он повторял почти каждое его движение, каждый обход лужи. Дорога шла в гору, и старик запыхался;

ясно было слышно хриплое его, запаленное дыхание. Впереди была яркая улица с трамваями. С такими деньгами он не сядет в трамвай, но, может быть, наймет извозчика? Тогда все погибло. Можно нанять другого извозчика и велеть ехать следом. Где-нибудь в темном дворе, на темной лестнице он нагонит его. Лучше всего была бы темная лестница, площадка такой темной лестницы, где люди идут наощупь...

Но старик не сел в трамвай и не нанял извозчика: он пошел по освещенной яркой улице. У кинематографов уже толпились подростки. Старик шел тем же размеренным, словно шепелявым шагом; у одной витрины магазина готового платья он остановился и долго разглядывал восковых мужчин с черными лаковыми проборами и плоскими ступнями, похожими на утюги. Глотов стоял у другой витрины и рассматривал восковых женщин: одна сидела, две другие стояли подле, вытянув руки с розовыми ногтями. Вдруг в зеркале он увидел лицо, похожее на свое: лицо было страшно, и он отвернулся.

Старик отдохнул и опять тяжело засучил дальше. Так они шли. Все становилось безнадежней: сейчас он свернет в стеклянный подъезд одного из освещенных домов, и лифт поднимет его наверх. Но старик шел и шел. Вдруг он свернул в переулок. Сердце Глотова точно сорвалось вниз. Он дошел до переулка и увидел, что старик неспеша переходит по камням. Он почти неосторожно пошел за ним следом. Горло, губы его были сухи. Все, что он передумал дорогой, — все было здесь, вместе с этим стариком, его последней надеждой, его мечтой и жестокостью. Самое страшное было, что это — последняя надежда. Завтра все откроется, с завтрашнего дня, с полудня завтрашнего дня, он перестанет существовать. Останется опозоренное имя — и дальше конец. Ужас, ожидавший его, гнал его за стариком.

И старик вошел в подъезд кирпичного дома. Подъезд был освещен тускло. Глотов увидел сквозь стекло двери, как старательно вытирает старик ноги о половичек. Он помедлил, пока стал тот подниматься по лестнице, и зашел следом в подъезд. Сейчас он не думали ни о чем и не помнил ничего. Сейчас ему нужно было собрать себя в одну короткую стремительную волю, — и он медленно пошел по ступенькам наверх, громко сморкаясь, чтобы не вызвать подозрений. Он быстро оглядел лестницу и сразу определил все. Он нагонит его на глухих ступеньках, подальше от дверей квартир, и толкнет с размаху о стенку. Старик выронит портфель, может быть он упадет. Нужно три прыжка, чтобы добежать до входной двери — и он на улице. Даже если старик закричит, пока откроют двери квартир и поймут, в чем дело, — он будет уже на улице. Огромная, многолюдная улица, на которой он затеряется тотчас же... забежит в кинематограф, пока все уляжется. Он побежал кверху, через ступеньки, видя один этот ненавистный затылок под рыжей шляпой, в который сейчас он ударит, — в это время на площадке открылась дверь: кто-то провожал гостя. Старик быстро и подозрительно оглянулся на него, женский голос прощался с мужским на площадке, — Глотов, зады-

хаясь, через ступеньку обогнал старика, миновал площадку и взбежал на верхний этаж. Он был липок от пота и ужаса, и он взбежал еще этажем выше. Здесь кончалась лестница; он взялся руками за перила и едва не потерял чувств. На площадку выходили три двери трех квартир; за дверью одной из квартир играли на рояле марш. Старик, медленными, шаркающими шагами, останавливаясь от одышки, поднимался сюда, наверх. Теперь можно было так же стремительно понестись ему навстречу, ударить его на бегу, выхватить портфель, хотя огромная лестница лежала впереди, и человек, которого провожали внизу, может быть, не вышел еще из подъезда. Он все это обдумал в какие-то малые доли секунд, но в ту же минуту заерзала вдруг цепочка на одной из боковых дверей, кто-то выходил, и Глотов бросился к двери средней квартиры. Он сделал вид, что нажал звонок и ждет, чтобы дверь открыли. Нянька с ребенком долго выволакивала из дверей коляску; старик дошел до последней ступеньки и остановился передохнуть. Затем медленно он поднялся последний пролет и направился к дверям, возле которых стоял Глотов. Тогда Глотов бессмысленно и отчаянно нажал звонок. Старик оглядел его маленькими слоновьими глазками из-под подушечек век.

— Вам, собственно, кого? — спросил он необыкновенно пустым и отсыревшим голосом.

— Мне нужен зубной врач, — сказал Глотов.

И старик вдруг озлобленно, словно все понял, ответил:

— Ошиблись, батюшка, на два этажа.

Дверь открыли и закрыли. Глотов спускался вниз. Нянька с ребенком громыхала впереди на ступеньках колясочкой. Ни ужаса, ни раскаяния, ни сожаления в нем не было. Только страшная усталость и боль в крестце. Какие могли быть надежды, на что? Все это — только продолжение одного бреда последних месяцев его жизни.

Шел тихий дождь. Мальчишки стояли у входа в кинематограф. Ожерелье стеклянных светящихся шаров. Огромный ковбой склонился над женщиной на пестром плакате у входа. Где он видел еще его? Да, тогда, когда у Страстного он ждал Цыганкова, чтобы поехать на бега. Так вот где показывают этого ковбоя! А сейчас вернуться домой, поужинать и спокойно лечь спать, чтобы подготовиться к завтрашней казни. Так, не простившись ни с кем, не найдя ни одного близкого человека в этой жизни? Но ведь были же у него люди в жизни, которым чем-нибудь, как-нибудь был он дорог... Была мать, — но матери нет давно. Есть сестра, но она давно живет своей жизнью где-то в провинции. Неужели он так одинок — без друзей, без женщин?.. Были же женщины, близкие ему... — Он долго пропускал двойной унылый трамвай — и вдруг женщина, которая сказала, что любит его, самая яркая, незабываемая — со страшною силой она всколыхнулась в нем. Мария Николаевна — та петербургская встреча, откуда пошло все это его падение, вся эта гибельная потеря себя самого! Три ночи был он счастлив в своей жизни, тогда жизнь позвала его — и он поверил ей. Увидеть эту женщину

перед концом, еще раз увидеть, потому что единственно она за всю жизнь согрела его, положить лицо в ее руки, покаяться ей во всем... Потом — петля, веревочная петля на шее, как он давно и до подробности обдумал все... Но как ее увидеть? Уехать из этого города к ней? Всего одну ночь пути. Сейчас седьмой час. Поезд уходит в девять.

И вдруг страшная радость последнего освобождения, словно все прояснялось напоследок, — залила его жарко. Главное — можно не возвращаться домой, не видеть этих страшних стен, меж которых он столько передумал... Есть ли у него деньги? Да, денег — ненадолго, — на несколько дней хватит. Ведь только несколько дней еще... Ехать, ехать — к ней, к утешительнице, к мечте, которую он сегодня придумал, — и жадно, не торгуясь, словно боясь, что сам же сейчас разуверится во всем этом, он нанял извозчика на вокзал и велел ему ехать, как можно скорее.

X.

Ветер над рекой, сумасшедший ветер. Ветер хлещет осенней судьбою мир, и город Петра в эти дни сер, дождлив, склизок и полон финских лихорадок. Медные ноздри коня открыты всем ветрам, и конь, сквозь балтийские штормы, чувствует запахи тысячелетних камней, на которых стоит Европа. Но осень идет на мир лихорадкой и тысячью гриппов, насморки ее заволакивают великолепные просторы бывшего Петербурга, и мертвый дождь сечет острова. В такие недели пахнут просторы серой и угрозами наводнений, и вместо легчайших петербургских перспектив, фонтанов и дворцов Петергофа, и золотой адмиралтейской иглы, — возникает трудовой, серый, российский город: уткнув носы в мокрые воротники, под зонтами, по разбитым торцам, развороченным годами запустения, спешит невеселый служилый люд. В приморскую осень холодно в портовых городах, штормы застилают дали туманами, и дожди заливают мир. И в такие осени много людей кончают расчеты с жизнью, они сами спешат довести ее до невозможного предела. Много их во всем мире, слепых неудачников, слабых душ, неспособных творить самое большое дело — жизнь, и черный стальной кружок, веревочная петля или бесцветная влага в неболтанной склянке приковывают их к себе магнетически. Приковывает их к себе и черная осенняя вода, сулящая блаженное бездумие, и тогда ночная холодная стыль Фонтанки и Мойки, Невы и уснувших каналов этой северной, пронзительной Венеции — влекут к себе, в неотразимое свое сладострастие.

Так, в шестом этом предвечернем часу трижды передумал Глотов и перерешил свою судьбу. Он приехал пустынным северным утром и, вместе с деловою толпой с чемоданами, сумками и портфелями, вышел с Октябрьского вокзала. Площадь блестела дождем, страшное мокрое бесхвостое чудовище угрюмо надвигалось из сыри. Он нанял извозчика, и в Европейской гостинице снял громадный, двухкомнатный номер. Из окон его виден был мокрый сад и огромное здание музея. Глотов стоял

у окна в пальто и смотрел на музей и на сад. Итак, он приехал сюда кончать свою жизнь. Где-то на Васильевском острове, забыв его, наверное, жила женщина, которую хотел он видеть теперь всей своей душевною страстью. Может быть, он придумал все это для себя напоследок, но сейчас это было — главное, огромное, заслонившее все. И, полный нежности, восторга и тоски, он не мог дожидаться более.

Невский — Проспект 25 октября — был осенне-широк и пустынен. Золотой адмиралтейский кораблик плыл в осенних облаках, выскальзывая и пропадая в них. Глотов хотел сесть в первый трамвай, он прочел дощечку его направления и вдруг ужаснулся: трамвай шел — Смоленское кладбище — Волково кладбище, — это был страшный могильный трамвай, который проходит сквозь этот чужой, огромный город, чтобы от одного кладбища привезти к другому. Он сел в другой полупустой вагон. Охтинская унылая чуйка; господин в пальто с бархатным вытертым воротником, в золотом пенсне, читавший «Красную Газету». Временами он усмехался и поднимал плечи. На остановке влез инвалид, и Глотов увидел возле своих колен человеческую бородатую голову, словно вылез человек из-под пола. Внезапно за окнами широко посветлело: трамвай переходил Неву по мосту. Глотов обернулся к окну и понял вдруг, что не о чем тосковать и грустить, когда впереди — такой безмерный покой. Нева была полноводна, темна, он глядел на нее сквозь утреннее, потное, желто-заклеенное объявлениями окно, и то, что было до сей поры для него неясно, именно — как же он сделает все это, — это стало отчетливым и проверенным до конца. Именно так. С ней вдвоем. Верная сообщница многих. И его сообщница отныне. Холодная, пустынная, ни о чем не рассказывающая, ничего не вспоминающая Нева. И все заботы, страдания последних недель, Цыганков со своими афишками, эти неверные, смеявшиеся над ним — рыжие, серые, вороные лошади, — что все это могло значить в сравнении с тем, что открылось сейчас перед ним!

Трамвай медленно переполз на Васильевский остров. Мария Николаевна жила на 13-й линии, в огромном доме-ковчеге. Он хорошо запомнил этот дом (вдруг вспомнил он такой же дом-ковчег, в Москве, где женщина так подло обманула, ограбила его, как он искал его и не мог найти), он поднялся на третий этаж и увидел дверь, которую тоже узнал. Женщина в седых букляшках открыла дверь и сейчас же стянула рукой капот на груди.

— Мне нужна Мария Николаевна, — сказал Глотов.

И женщина закричала сейчас же:

— Мария Николаевна, к вам пришли!

Но она не ушла, а притаилась в коридоре, как крыса. Глотов ждал долго; страшно, в мучительной нежности, колотилось его сердце. Вдруг дверь открылась, женщина вышла в переднюю, и он узнал ее. Он узнал ее, хотя она покрасила теперь свои пепельные волосы, они торчали рыжими пламенами, и лицо ее было не прибрано со сна.

— Кто это еще? — сказала она недовольно.

— Это я, Глотов, — Глотов старался, чтобы свет из дверей падал ему на лицо. — Узнаете меня? Глотов, помните?

Вдруг он увидел, что она смотрит на него скучающе, словно не стараясь припомнить.

— Нас Цыганков тогда познакомил, вместе на бега ездили. Неужели не помните?

Вдруг она вспомнила:

— А, вспоминаю...

Это было оскорбительно, но он не мог уже уйти, он не мог оторваться от этого обожаемого пламени волос. Она села на какую-то корзинку. Халатик ее чуть распахнулся, и Глотов в легкой щели увидел ее колено и телесный спустившийся чулок, охваченный подвязкой. Он мог бы упасть сейчас перед ней и поцеловать это нежное перламутровое колено, как целуют распятие на причастии, но вдруг деловито она сказала:

— Что же вам нужно?

— Я о вас думаю все эти месяцы, — он сказал и прижал к груди руки, потому что он говорил ей из самого сердца. — Я вот об этой встрече думал, как о святом часе. Я вам все рассказать решил, что передумал, ужасная была моя жизнь, низкая, Мария Николаевна...

— Вот еще какие исповеди, — сказала она и закрыла коленку халатиком. — Глупости какие выдумывают люди. Что я вам жена, что ли, или священник? Да и некогда мне говорить сейчас.

— Я за вами пройду, в вашу комнату, — Глотов хотел заглянуть ей в глаза, потому что не могли эти глаза, которые он так запомнил, — они не могли быть ему чужими, но именно чужие, холодноватые, порочные, чуточку воспаленные глаза холодно и словно слегка брезгливо сказали ему:

— Позвоните вечером, если хотите. Не могу я сейчас с вами говорить.

Она встала с корзинки и пошла назад, к своей комнате. Тогда он догнал ее и схватил эту узкую, теплую руку, которая когда-то обнимала его.

— Знаю я, почему мне в комнату нельзя, — сказал он с бешенством, которого уже минуту спустя никак не мог себе объяснить, — любовник у тебя там...

И вдруг холодные зеленые глаза поглядели как-то мимо его лица, и женщина сказала ему, словно брезгала даже, чтобы слова ее коснулись его ушей:

— Убирайтесь отсюда вон! Кто вы такой, что смеете врываться, — я вас не знаю.

— Вы меня не знаете? — сказал он совсем тихо; он отступил и смотрел на нее. И зеленые глаза, также не глядя ему в лицо, сказали: — Я в первый раз вас вижу... какие-то бега, Цыганков, ничего не понимаю.

Мужской голос позвал ее из-за дверей. Глотов видел еще мгновение рыжие ее волосы, и она ушла. И сейчас же старуха, притаившаяся в коридоре, выползла, налезла на него, он отступал перед ней, — хлопнула дверь, загремела цепочка — он стоял на лестнице тысяче-

людного дома-ковчега, в котором он не был никому нужен, как не был никому нужен во всем свете.

Он спустился вниз — и решил: нынче. То, что готовился отложить он на несколько дней, — это будет нынче ночью. Вот, когда дошла жизнь до последнего, начертанного предела. Он долго шел пешком через город, опять перешел по мосту черную многоводную Неву, с которой был он теперь в тайном и верном сообщничестве. Он добрался до гостиницы, свалился в своем номере на постели и заснул до сумерок деревянным сном.

В осеннюю сдвижку сумерок, когда улицы еще сини и полны тумана и марев спешащего люда, чтобы через минуту-другую перепоясаться гнойными цепями фонарей, — в этот час спешит служилый васильеостровский, голодаевский, охтинский, лахтинский люд со служб, заползает в трамваи, втискиваясь мокрыми пальто, перебегает улицы, и под длинными мостами Восстания, Лейтенанта Шмидта, по которым долго переползают трамваи, мрачно уходит вечерняя, пахнущая морем Нева. В этот час спустился Глотов по лестнице, все пять этажей, он долго и старательно застегивал до горла пальто и неспеша погрузился в вечернюю невскую толпу. Была мутная дождевая сизь. Огненная стрела, пока еще единственная на всей синеве, звала на крышу Европейской, ветер гнал гнилой дождь — и сразу все, что он старался проспать в своем дневном сне, стало понятно до очевидности. Теперь — конец. В сущности, именно так и представлял он себе последние эти часы одиночества. И он шел. Широкий сырой ветер дул над Невой, мокрая гранитная набережная была пустынна, дворцы угрюмы. Над Дворцовым мостом горели зеленые луны фонарей. Он шел вдоль Невы, навстречу ветру. Думал ли он, вспоминал ли о чем в эти последние свои часы? Нет, все словно было в нем заперто. Тяжелый кислый вкус во рту, и хотелось пить. Вот выпить бы еще пива перед смертью — и потом умереть. И он не устыдился этого своего земного желания: пока еще он ведь жил.

Угрюмые якоря лежали перед старым Адмиралтейством, и деревья в Александровском саду шумели мокрым осенним шумом. Тысячевеково дыбилась громада Сената, и там, позади, огромный, не блистающий, мертвый Исаакий... Все было страшно, тысячепудово, спяще. Далеко вдоль Невы уходили огни огромного, невероятного города. Вдруг ободранная, изглоданная луна скользнула на минуту из туч, на минуту вспыхнул ребром Исаакий, и опять черное небо сомкнулось над ним. Последний Николаевский мост впереди, но на мосту сейчас люди, и люди помешают. Может быть, лучше уйти, именно на Мойку, туда, к Демидову саду. Там нет никого, и там не помешает никто. Какая страшная тяжесть жизни — как мало радовала она его всегда, и все же как трудно с ней расставаться! Завтра в Москве пошлют к нему на квартиру с завода. Хозяйка скажет, что он ушел третий день. У него ключи от шкафа, пройдет еще неделя — тогда вскроют шкаф, тогда будут считать, но Мойка не выдаст, Мойка унесет в море, а море редко выбрасывает на берег. А если

и выбросит через месяц — он уничтожит все документы, опустошит все карманы, кто узнает его!

Он дошел до Исаакия. Мокрые листья начинали уже падать на Конногвардейском бульваре. Осень шла. И черная, одинокая открылась Мойка. Набережная была пустынна. С отупелым сердцем шел он вдоль. Каменные берега были отвесны, и за них не ухватишься. Черная вода идет неслышно. Здесь никто не увидит, никто не услышит. Он достал из карманов все, что в них было, и побросал в воду. Вода поглотила неслышно. Он шел дальше. В одном месте, против огромного недостроенного дома, он остановился. Все было тихо, никого не было. Он поглядел вдоль, под деревья: никто не шел. Со стеклянными невидящими глазами, без мыслей, без раскаяния, без сожаления, Глотов расстегнул пальто, чтобы легче было перелезть через гранитную баллюстраду. В последний раз оглядел он дома, весь ночной этот, оставляемый, чужой ему мир, в котором теперь он был только пасынком, — и стал перелезать через баллюстраду. Сейчас тугим мешком он опрокинется вниз, — и в тот же миг дикий, женский крик хлестнул его сбоку, он отшатнулся, и женские цепкие руки вцепились вдруг в его рукав. Он рвался из этих рук вниз, но руки тянули его к себе, и женщина пронзительным собачьим визгом кричала: — Не смейте! Не смейте! — Минуту еще продолжалась эта борьба, он вдруг обессилел, сполз в сторону с баллюстрады и тяжело свергся, на каменную набережную.

XI.

— Вы не ушиблись? Наденьте шляпу. Встаньте. Это ужасно, что вы придумали. Неужели все так сошлось, что нельзя было придумать иначе?

Женщина говорила возле, она надела на него шляпу, она дрожала вся, но хотела быть мужественной.

— Господи, какая нелепость! Ну, стойте же, или я сейчас заплачу...

Он встал. Он смотрел на эту женщину, которую не знал и которая захотела его спасти.

— Напрасно это, — сказал он, наконец. — Все равно, сделаю. Не здесь, так на Фонтанке, воды много...

Он считал себя уже погибшим, и говорить ему было трудно, потому что говорил живой. Кто была она, эта крохотная женщина или девушка? Звонкий, испуганный, дрожащий, даже всхлипывающий голос.

— Но ведь это ужасно, что вы говорите. Послушайте, дайте мне слово, что вы не посмеете. Вы вот не знаете... может быть, мне нужно было бы двести раз броситься в воду, такая моя поганая жизнь. Но я этого не сделала, потому что надо жить. И знаете еще почему? Потому что мы поганые, а не жизнь, — жизнь прекрасная, а мы сами все портим в ней, мы сами создаем себе невозможность жить... Вот что ужасно. А потом — разве может быть в жизни так, чтобы совсем, совсем не было выхода? Вот у меня

часто бывало так, что как будто совсем нет выхода, и стоит только потерять надежду на выход, тогда, действительно, окажется, что выхода нет совсем. А вот если уверить себя, что не может быть так, чтобы совсем не было выхода, — тогда и выход найдется...

Она увлекала его прочь. Она говорила быстро, чтобы он не заметил, что она уводит его, и он шел за ней, потому что сильнее всего сейчас была эта женская рука, державшая его руку.

— Да, ведь я вот и не сказала вам, кто я... Я — Женя Баскакова, а учусь я в консерватории петь... вы Глазунова знаете?

— Не знаю я Глазунова, — сказал Глотов.

— Глазунов — самый лучший человек... но не в этом дело, и совсем не в том, что я учусь пению... А вот — почему вы это? Любовь у вас была, или несчастье?.. Вы мне все можете говорить. Ведь я тоже не сытая жизнью...

— Я растратчик, — сказал Глотов так, как говорил самому себе.

— Деньги растратили... чужие деньги? Много?

— Пять тысяч.

— Ух, сколько, я даже не понимаю, сколько это... У меня никогда больше пяти рублей и на руках-то не было. Так, значит, из-за денег? Но ерунда ведь это — деньги, думать не стоит, а вы вот что...

— Куда вы меня привели? — спросил Глотов вдруг с ужасом.

— На Вознесенский проспект... а вы где живете?

— Я? Я нигде не живу... т.-е., как вы спрашиваете меня, где я живу, когда я нигде уже не живу, я уже со всем простился,— сказал Глотов с таким трудом, словно продирался сквозь чащу.

— Ну, вот вы опять о том... Об этом мы еще говорить будем, много говорить будем, но позже, не сейчас. Ну, что же мне с вами сейчас-то делать?

— Отпустите меня, — сказал Глотов, — все равно, нельзя жить, когда ни в себя больше, ни в человека не веришь.

— Никуда я вас от себя не пущу, все равно что бы вы ни говорили.

Ее маленькая рука держала его крепко под локоть, и при свете зеленого фонаря он увидел ее милое, озабоченное, угловатое лицо, с детскими бровями и озябшее от ветра.

— Вот что... мы ко мне пойдем, если так. Я с подругой вас познакомлю... Она немного суровая на вид, но это от жизни, а так она добрее всех... И она все поймет, вот увидите.

И вдруг почувствовал Глотов, что словно какая-то непонятная сила есть над ним, и он терял свою волю и с радостью и отчаянием отдавался этому существу, неизвестно откуда взявшемуся на страшном его пути. Зачем она вела за собой? — но это был живой человек, живая душа, и ее детский голос звучал почти повелительно. Шел дождь, пыль дождя блестела на прядках ее волос. Бок-о-бок шла она с ним, и он ужаснулся внезапно той страшной бездны и последнего одиночества, которые открылись ему на черной безлюдной Мойке всего минуты назад.

Еще минуты назад он мог бы уйти на углу, он мог бы вернуться назад, в этот мрак, завороживший его, — но сейчас он шел рядом с этим неведомым ему существом, существо это словно повелевало его жизнью, которая ровно никому не была нужна, — и это чувство, что кому-то он нужен, так — изнесчастившийся, голый, мертвый — испытал он впервые в жизни. Они быстро шли улицей, и он не смел спросить, куда и зачем ведет она его с собой...

— Теперь скоро, сейчас придем, — сказала она и попала в лужу. — Вот неприятно, когда башмаки худые... — Она очень озябла. — Ничего, дома высушу. Аничка наверное уже дома... она серьезная, через год будет доктором. Живем мы, как две бобылки. — Она засмеялась вдруг. — Ну, да увидите... Вот здесь мы и живем, на Офицерской.

Они пришли, наконец, к большому, угрюмому дому, и так же, как шел за ней улицами, стал подниматься Глотов по кошачьей черной лестнице наверх. Маленькая холодная рука вела его за собой, и он шел, позади незряче. Собачонка залаяла за дверью, и спокойная сероглазая девушка открыла дверь.

— Это я, Аничка... человека привела одного... Да что же вы стоите? входите сюда. Вот наша комната, комната большая, а мебели мало. Бросайте пальто прямо на стул.

Женя говорила быстро, она сняла шляпку, сбросила мокрое пальтишко, и теперь увидел Глотов умный высокий лоб, милые каштановые волосы, некрасивое совсем, но прелестное лицо, от прелести и чистоты которого сердце его зашло болью за себя, за всю свою запутавшуюся жизнь и за то человеческое одиночество, которое сегодня предельно он испытал.

— Вот и ты поругай его... можно ведь все рассказать, где я вас подхватила?.. Да если бы нам из-за денег топиться! Знаете, как мы с ней живем? Аня стипендию на медицинском получает, двенадцать рублей, а я днем в консерваторию бегаю, а ночью дрова на барках разгружаю. И ничего — живем, учимся и не топимся.

Она говорила быстро, и он понял, что говорит она для того, чтобы легче было ему освоиться. Девушка с серыми глазами подошла к нему; глаза ее, чуть близорукие, с синеватыми крапинками, смотрели очень близко, дружественно.

— Это правда все? — спросила она ровным голосом. — И не стыдно вам, мужчине?

— Я много растратил, — сказал Глотов тихо, он глядел на пол и увидел вдруг, как страшно разбиты башмаки у Жени. — Я не хотел растрачивать, и радости никакой не получил, так случилось. А теперь ничем не поможешь, и какой у меня выход? Тюрьма?

— Ну, и что же, ну, и пусть тюрьма. — Женя говорила так же быстро и заправляла каштановую свою, все выпадавшую прядку. — А в тюрьме люди не живы? Ведь вы растрачивать не хотели? Значит, вы не преступник, а просто слабый человек.

— Я не тюрьмы страшусь, а позора...

— Позора у вас нет, а несчастье есть... настоящие люди всегда поймут несчастье, а о других и думать не нужно, — Женя сказала решительно. — Вот ведь про нас тоже никто не верит, что мы так живем... что никого у нас нет... А у нас никогошеньки, мы — двое...

Глотов поглядел на нее, и от грусти и страшной этой, недетской, неженской жизни, которая лежала в карих глазах, сердце его занялось такой восхитительной тоской, такая звериная боль оттого, что два этих чужих, удивительных существа, непохожих на всех тех женщин, которых пришлось ему встретить на своей дороге, — что два этих существа живут в такой одинокой, бесчеловеческой доле, — боль эта колыхнула его, и он сказал, как мог, как умел, сжав обе руки в грудь и глядя сквозь туман восторга и горечи:

— Нет, есть еще человек на свете... вы вот — люди, обе вы, в первый раз вас вижу и знаю — люди вы...

— Ну, вот и отлично, и легче так, и проще... — Серые теплые глаза близко посмотрели в его глаза. — А сейчас чай будем пить, Женя согреет. Хлеб есть, только без масла...

— Постойте... у меня есть, — закричал Глотов, он полез в карман и вспомнил вдруг, что бросил в Мойку все, что было у него с собой... И опять поправила Женя свою прядку.

— Ничего и без масла... а чай я сейчас вскипячу. Да снимите вы пальто ваше мокрое.

Глотов снял пальто. Пустынная желтая лампочка золотела чудесным светом. И за синим окном — лежал город, огромный, в вечерних огнях, и полный живых, страдающих, близких и друг друга ненашедших людей.

Так он остался на этой земле, найденной в пустыне.

XII.

И осень прояснела напоследок. Она прояснела золотыми днями, прекрасной синей Невой, сусальным корабликом адмиралтейства, уплывающим в нежные и беспокойные дали, и приснившимся, незабываемым, осенним, багровеющим и оливковым Петергофом, куда три дня спустя, после страшной и последней своей ночи, приехали Глотов с Женей в праздничный день. За три этих дня вся его жизнь проявилась для него, как пластинка; и то, что было немыслимо и страшно, стало просто и человечно, как день. Вся его прошлая жизнь, Цыганков со своими афишками, все эти Пасс-Роз, Ловчие, Праны, немыслимая, вообразившаяся Мария Николаевна, — все провалилось, как видение страшной ночи. Были два простых, доверчивых, не обласканных жизнью существа, и одно из них было с высоким чистым лбом, с коричневыми каштановыми волосами, с коротким именем, наполнявшим его небывалым, стремительным счастьем. Оно было возле него — покойное, дружеское, полное этой заразительной силы жизни, несмотря ни на что, неизвестно откуда взявшееся

в его жизни и засиявшее в ночи над ним золотою ракетой. И вместе — за три этих дня — они обдумали для него все и решили его жизнь. Завтра он вернется назад и откроется во всем. Он скажет все — честно, просто, ясно, как все это с ним случилось. А дальше — кончается его жизнь или начинается вновь? Вот это было то самое, что не дорешил он для себя и что еще — в последний этот день — предстояло решить.

Они сели у моста лейтенанта Шмидта на маленький веселый пароход. Осеннее солнце нагрело его по-летнему, и хорошо пахло смолой и мокрым канатом. И прекрасный, расчерченный город поплыл, как старинный чертеж, он прошел перспективами и окраинами, гаванью и хранилищами товаров,— и Финский залив широко заголубел, засинел, зазеленел простором. Две парусных яхты тугомолочною лебяжьею грудью склонялись к воде, и пели, именно пели в этот день, а не кричали, чайки. На Жене была летняя соломенная шляпка, золотистая тень лежала от нее на худеньком, некрасивом и прекрасном лице. Глотов сидел на скамейке рядом, он видел чистую девическую руку с розовыми ногтями, эти стоптанные бедные туфельки, и он представил себе, как мог бы он невероятно трудиться в жизни, чтобы этому существу не приходилось только в осенние ночи выгружать с барок дрова... За эти три дня совместно продумали они до конца его жизнь — и все было решено, или, вернее, ничего еще не было решено, потому что не сказалось самое главное.

Они вышли на старенькой пристани Петергофа и вошли в сыроватую, оливковую аллею. Мертвые листья плыли в узеньком канальце, ведшем к дворцу. И за аллеей — в вьющихся, стеклянных кустах фонтанов, в серебре, возносимом в осенние небеса, в ракетных дождевых струях открылся осенний Петергоф. Они медленно шли, рука-об-руку, завороженные, захмелевшие этой осенью и сыроватой свежестью выбрасываемой воды. Неистовый Самсон, раздирающий льву исполинскую пасть, откуда уносилась вверх стремительная струя, заливавшая его, стоял посреди. Глотов нес в своей руке эту маленькую руку, и сердце его дрожало от нежности и страха, что вот кончится это видение — и снова не станет ничего. Но живая, теплая рука лежала в его руке...

Они поднялись наверх по террасам, обошли фонтаны, оглядели с площадки дворца весь этот раскинувшийся, золотеющий осенью, редеющий купами Петергоф, и дальше пошли вдвоем, в вековую глубину, к лиственной прекрасной Александрии. Спокойное маленькое озеро, как бассейн, легко отражавшее небо и берега, открылось справа. В оранжереях выпавшим снегом цвели непроходимые кусты флоксов, пахнущих медом и осенью. И они вошли в парк Александрии, в сумрак, в грибную тишину и в одиночество, которое было сейчас нужнее всего, чтобы все решить до конца. Здесь, на каменных, разрушенных и замшелых перильцах моста они сели. Овражек внизу доносил сырь и земной холодок. И коричневатые глаза поднялись вдруг просто и проясненно до конца. Женя поглядела на него очень спокойно и ответила ему со спокойной

уверенностью на то, что спросил он ее накануне: — «Ну, а дальше-то что же?».

— А дальше — тюрьма, наверное, Глотов, — ну, так что же из этого?.. нужно крепко продумать для себя, как жить заново... а ведь жить заново никогда не поздно.

Она сказала это так, словно была в ней давняя мудрость, и он ответил сейчас же мучительно, сжимая свои холодные руки:

— Знаю я это, и не об этом я... заново начинать жизнь всегда можно, когда знаешь зачем. Тогда и годы эти проскочут, и все для себя оправдаешь... Но ведь для вас-то завтра я кончусь? Вот вы спасли меня и отогрели, и научили... и завтра я во всем откроюсь и кончусь для всех, и для вас завтра я кончусь. А вот тогда, значит, нет и никакой мечты, чтобы начинать эту жизнь с начала... старая шарманка, и заводить ее снова не стоит.

Она молчала и смотрела в овражек, на мокрый и густой его чертополох.

— А какая же мечта может быть, чтобы начинать было не страшно? — спросила она как бы мельком.

И Глотов сказал, как мог сказать только себе самому:

— О человеке мечта. Такая мечта, чтобы знать, что есть живой человек, для которого страдаешь сейчас и для которого всю эту жизнь заново начнешь мастерить. Знать вот так, что есть на всем свете один человек, который тебя не забудет и о твоей судьбе вздохнет. Тогда и каторга легка, тогда и на каторгу можно пойти, словно на прогулку вышел. Человека люди потеряли, а без человека нельзя жить, — лучше Мойка вот эта проклятая, от которой вы меня увели...

— Я вас часто вспомню и не забуду, — сказала Женя просто и поглядела ему в глаза. — Я ведь тоже... оба мы человека ищем...

Глотов смотрел в эти детские, коричневатые глаза, он смотрел в них, некая сладкая тоска разрывала его, и лицо его покривилось мучительно. Она быстро и ближе подвинулась к нему. Опять ее рука взяла доверчиво его руку, и милые, близкие глаза робко заглянули в его лицо.

— Я тоже одинокая, как собачонка, — сказала она, и рот ее покривился. — Я от этой одинокой жизни измучилась, сил иногда не хватает, а надо жить... Вы думаете, я этих двух или трех лет не пережду, не дождусь?.. я... вернее меня никогда не найдете... только тепла мне нужно, человеческого тепла, поймите вы меня! Вот тогда ночью, когда я вас на Мойке настигла, подумала я, что от одиночества вашего все это случилось, от того, что не было около вас человека...

— Знаю я... все знаю, — сказал Глотов, он глядел на нее сквозь слезы, и дивное, нечеловеческое лицо прояснялось в ее чертах, в ее кривящихся губах и быстро, страдальчески мигающих веках. — Знаю я это все... и если бы так, как вы вот сказали, если бы пережидали вы эти годы, которые я за всю свою тоску понесу... некрасив я только...

— И неправда, и не говорите об этом, — ответила она тотчас сурово.

Она сидела плечом к нему, отвернувшись, — и он знал теперь, глядя на худенькое это плечо и на бедную летнюю шляпку, что нашел для себя свою жизнь и что все оправдал в себе, и что, может быть, нужно было лететь так вниз, как летел он все эти месяцы, чтобы подняться теперь на такую страшную высоту, откуда и вниз посмотреть боязно. И он знал еще, что ни одно его мучение и ни одна горечь пережитого не пропали даром для него и не иссушили его жизни: все это сложилось теперь для благословления всего пережитого, без которого не было бы и осеннего этого Петергофа, и худенького этого трижды любимого и благословенного плеча, и его самого, понявшего и принявшего все.

Вечерело, когда плечо-о-плечо вернулись они к пристани. Широкая осенняя заря в крови и умирании ложилась за море. Синел далекий Кронштадт. И маленький пароход повез их назад — в великолепную, трудную и неповторимую жизнь.

XIII.

По утрам был хрусткий морозец, но предмартовской тишиной крепко пахло уже в полях. Большие снега лежали еще на них, но к полдню сильно уже пригревало солнце, и тогда голубою весной, широким, еще холодным простором синело небо. На конском заводе подрос уже за зиму молодняк, и кобылы, слученные в прошлую вёсну, уже жеребились. К весне пригоняли на заводы из больших городов классных производителей, которым либо увечья, либо предельный беговой возраст мешали уже продолжать их беговую работу.

В эту зиму привезли на завод из Москвы знаменитого Пасс-Роз 2-го. Ему шел пятнадцатый год, и беговая его звезда закатывалась навсегда в эту зиму. Другие победители, молодежь — пришли ему на смену, новые любимцы толпы, и теперь все буйство крови, весь последний свой кровный пыл надлежало отдать ему для великого дела продолжения жизни. Для улучшения лошадиной породы, для покрытия сотни корявых, репейных крестьянских кобыл предназначались другие жеребцы, тоже имевшие долю благородной крови, но только долю, не чистое вино поколений. Классных же двух кобыл — трехлеток, взрощенных на заводе и имевших в своем роду благородных «Геркуланума» и «Седого» по линии отцовской и «Фрину» и «Мадам-Рекамье» — по материнской, обоих их предстояло покрыть Пасс-Роз 2-му.

Конюх Семен Панков, работавший на заводе сорок три года и взрастивший их, прощался с ними в эту вёсну, как с невестами-дочерьми. Кобылки были веселые, со смешливыми, теплыми мордами, еще не узнавшими забот, и недавняя их товарка полукровка «Ласточка» перешла уже в маточную с первенцом. Но иногда, когда спускали их вместе, обе молодые кобылки подолго обнюхивали бывшую свою товарку и задумчиво стояли все трое, перекинув друг через друга головы, словно у всех у них была одна общая кобылья судьба. Пасс-Роз 2-го поставили в денник, где стояли

еще два других производителя, и первые дни он отлеживался от пути, от тяжелой зимней работы и от всех неудач и побед. Его поставили отдыхать неделю. Он ел, спал, грыз крепким желтым зубом края кормушки, иногда ржал, чувствуя кобыл, но без страсти. Соседние же два жеребца были буйны, яровиты, воспалены этим близким, постоянным присутствием кобыл, к которым время от времени их выводили. Кобылы в большинстве были крестьянские, шершавые, как репейники, и вид этих покорных, готовых на все кобыл возбуждал больше, чем нарядные, норовистые и недоступные заводские кобылки.

На вторую неделю, однажды, когда выгнал Семен Панков снова всех трех товарок-кобыл и муругого ногастого жеребенка с длинною мордой, одна из кобылок, именно «Дорогая», вся вороная, без пятнышка, блестящая, как крыло грача, потянула воздух живыми теплыми ноздрями и протяжно, заливчато и задорно заржала. И сейчас же низкое, глухое, сдержанное ржанье прозвучало в ответ ей издалека. Голос этот был незнаком и внове, не похож на голоса жеребчиков, и кобылы насторожились, а Дорогая отошла от них, поставила уши и снова позвала незнакомца, раздувая ноздри, но уже не насмешливо и задорно, как смеялась она над жеребчиками, а протяжно, грустно и страстно. Кого-то звала ее молодость, все ее гладкое тело прекрасных статей, в нежной вороной, шелковистой шерсти, любовно расчесанной Панковым, и словно в этот день впервые пробудилась она от своей девической спячки. Эту таинственную новую близость чувствовала она и ночью, в закрытой конюшне, и грудной заливчатый ее голос, как девичья песня мужчину, вызывала из темноты далекий и тревожный ответ.

Так для Пасс-Роз 2-го, на пятнадцатом году его жизни, началась эта пленительная волнующая игра, потрясшая его, как трехлетка. И Семен Панков, и начальник завода — грузный седой старик, с глазами на выкате, и заводский врач, которого не любили лошади, потому что бесцеременно раздирал он им рот руками, — все трое, осмотрев раз поутру вороную кобылку, решили, что пора ее наступила. В этот день долго чистил ее Панков и смотрел как бы с грустью в милые, блестящие ее глаза, с синеватым белком; он ее взрастил, до нее не касался никто, кроме него, и теперь в один день надлежало надломить весь ее норов, пустить ее в лошадиную вековую работу, когда кончается невозвратимая пора детства и начинается взрослая, деловая и горькая жизнь. Трехлеток давно пустили с завода в большие города, они были в работе, и многие из них с успехом уже бежали на бегах.

И день спустя Пасс-Роз 2-й увидел ту, что беспокоила его всю неделю. Они увидели друг друга, его провели мимо нее издалека, он долго еще оглядывался и призывал ее, ноздри его были раздуты, как после бега, и его увели. Это было первое их свидание, решившее ее судьбу. Нежные предвесенние дни стояли над глухими полями. Зима ломалась, готовясь к весне. Желтая ярь наливала дни, и в овражках уже голубели подснежники.

Утром принес Панков, как обычно, ведро холодной воды и поставил его на край кормушки; пока принюхивалась кобылка к воде и осторожно сперва омочила губы, а потом принялась пить нехотя и больше от привычки, чем от желанья, Панков сказал ей:

— Ну, пришла и твоя череда... Нынче тебе пòкрыткой быть.

Лошадь оторвалась от воды, поглядела на него и потянулась к нему мокрой усатой мордой.

— Тянись, не тянись, а сама жеребца накликала... И пестуна своего забудешь, на мужика променяешь. Все вы, девки, такие, и один со всеми разговор.

Лошадь вздохнула и снова принялась пить. Пить ей не хотелось больше совсем, и она баловалась скорее, чем пила. — И он ушел. Кобылка была в хорошем расположении, и ей хотелось с кем-нибудь пошалить. Она потопала ногами по полу, потерлась боком о стенку и стала чесать желтым зубом о кормушку. Ни о чем она не думала и была довольна от того, что скоро Панков принесет охапку пахучего сена, от которого хорошо пахнет лугом и болотом, и его можно растрепать, выискивая самые вкусные и пахучие травинки. Но сена ей не принесли, а пришел Панков вместе с тем же неприятным человеком, заводским доктором, который всегда бывал только груб с лошадьми и делал им больно. На нее накинули оброть и повели во двор. Она шла нехотя, задирая голову, и сейчас же во дворе поняла, что все совсем необычно. Во дворе стояли люди, вывели ее одну без товарок, и все люди смотрели на нее. Она сразу запотела от волнения, стала задирать голову и дрожала мелкой нервической дрожью. Что могло все это значить? Рядом стоял знакомый, близкий Панков, который не даст ее никогда в обиду, но сейчас она не верила и Панкову. Сейчас лгал и Панков и успокаивал ее притворным и неискренним голосом. И вдруг она услыхала частый, неровный стук о настил; она поставила острые уши, потянула воздух и вдруг, не помня себя и забыв обо всех этих тревогах, позвала того, кого выводили в эту минуту. И над всеми этими людьми — он ответил ей — близко, призывно и обещающе. Она задирала голову и дрожала на тонких своих ногах, пока вели его к ней, и он тоже вздрагивал кожей, словно от укусов, и ржал, и ревел — низко, чувствуя ее запах, взволнованный ее близостью, великолепный в своей сокрушающей яри... Его трижды провели мимо нее, они обезумели теперь оба и рвались из рук людей, — и тогда люди дали им сблизиться.

Кобылку поводили по двору и увели ее обратно, в денник. Вел ее Панков, она видела его шею в седых завитках, — все было, как обычно, в кормушке лежала вкусная мешка — резаная трава, пересыпанная мукой, но лошадь нехотя порастрясла ее, полизала муку и легла на солому, тяжело подломив под себя ноги. Так она задремала. На утро она забыла про все, что было вчера, холодный голубой день хорошо золотел, и хотелось наружу. Панков принес ей воды, и она долго и жадно, не отрываясь, пила. Он быстро и ласково потер несколько раз ей переносицу, так чтобы

она чихнула, сказал: — Ну, теперь, молодуха, себя оказывай, если приняла... — , и он снова сходил за водой и пошел поить вторую свою дочь, кроткую золотистую «Долю», которую в эту вёсну тоже надлежало свести и с тем же Пасс-Роз 2-м. Он поил золотую лошадку и думал, пока она осторожно пила, что через одиннадцать месяцев перейдут кобылки в маточную, и сюда поставят новых кобылок, которые уже подрастают в буйном молодняке, чтобы не было перерыва в приплоде... Так было годами, все сорок три года, которые он здесь служил, множество было у него любимых дочек, и множество этих вчерашних дочек жеребилось у него на руках. Он принимал у них голенастых, головастых коньков, из которых многие впоследствии становились знаменитыми, и каждый раз он грустил, когда расставался с ними, — а на смену им шли уже новые, и он снова привязывался к новым и начинал их любить взамен.

Золотая оторвалась от ведра, поставила уши, повернула голову к двери, с мокрой морды ее еще стекала вода; она слушала минуту, и вдруг, играя, дразня, негромко — позвала тех, кого выпускали на волю... И два жеребчика, из молодняка, звонко, весело и играючи, еще не понимая ничего, но от веселости этой, и от зова, и от голубого легкого дня — призывно и обещающе ответили ей.

Родион Жуков.

(Рассказ).

Валентин Катаев.

I.

Вольный картузик обязательно не налазит на обширную, ежом стриженую голову, и козырек, обязательно, съезжает со лба на сторону, куда-нибудь поближе к уху; штаны, хотя бы и закатанные по-рыбацки выше колен, топорщатся добрым флотским сукном, и запылившиеся тесемки исподних болтаются вдоль крутых как булыжник икр; ситцевая рубаха с васильковыми стеклянными пуговичками, аккуратно заправленная в брюки, облегает широкую грудь и надувается на спине пузырем...

Одним словом, какое бы барахло ни напялил на себя матрос черноморской эскадры, как бы ни прикидывался вольным, куда бы ни отводил свои карие глаза с опаленными топкой ресницами, — ничего не поможет. Все равно, каждый встречный-поперечный увидит, что это не простой батрак из немецкой экономии, не рыбалка, шатающийся ради праздника из своего камышевого куреня на баштан к девкам, не бродячий цыган, охотник до чужих лошадей и дынь...

И рябой урядник, прыгающий в клубах белой, как мука, пыли на кожаных подушках рессорной немецкой брички, поровнявшись на проселке с таким человеком, обязательно высунет из холщевого капюшона свое страшно глупое лицо с кукурузными усами, поправит под пылевиком шашку и, чихая на солнце, тревожно подумает: «А не нравится мне этот человек! Не забрать ли мне милого друга с собой, да не поворотить ли обратно в волость?».

Но лошади, отбиваясь свистящими хвостами от слепней, бегут шибкой полевой рысью — только что разбежались как следует! — Перепелки шныряют по жнивью, воздух лениво обтекает горизонт, и в его горячем течении плывут, колеблясь стеклянной зыбью, стебли трав, обкошенные могилы, копны и полынь, растущая на межах. А там, смотришь, впереди уже завиднелись над зеленью испаряющиеся коллодием черепичные крыши экономий, мачта кордона, беседка над обрывом и яркое, как синька, отрадное море. Куда уж тут останавливаться и с полдороги возвращаться

обратно! Самое время теперь купаться и к помещику сегодня зван на праздник. Досадно не быть.

Да и подозрительный человек остался далеко позади. Может, его уже и вовсе нет на дороге. Может, он свернул по своей нужде в кукурузу, присел над серой, туго полопавшейся землей среди толстых, узловатых палок и смотрит, вытянув шею на качанчики, плотно обвернутые в жесткие вострые листья, из которых пробивается нежные, русые волоса, а зеленые металлические мухи стоят над ним звенящим роем. Поди, ищи его. «А да ну его! — думает урядник, пряча лицо поглубже в капюшон.—Мало ли их тут шатается по-над границей, всяких флотских, беглых, которые... Авось, бог милует... Нехай гуляет, пока не повесят».

И катится пыль колесами по проселку; слабый, слабый ветерок относит ее вместе с дилинькапьем колокольчика в сторону, как кисею и, словно сквозь шелковое сито — сквозь воздух, она оседает тончайшим порошком на морщинах флотских штанов (от пыли они делаются бархатные), на ячменных бровях и на чуть курчавых, опаленных знаменитым огнем, ресницах, вышедшего из кукурузы с ремешком на шее, человека.

II.

В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков. — Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда послышались первые ружейные залпы, и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда Матюшенко, коренастый и ладный, словно отлитый из бронзы, с треском отодрал дверь адмиральской каюты, с той самой минуты — Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов — в легком тумане, в восторге, в жару — до тех пор, пока не пришлось сдаваться.

Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля — широка и горька.

Непривычно красив и бел показался Родиону Жукову город Констанца. Множество всякого интересного народу вышло на пристань — встречать как героев — русских моряков. Тут были и лодочники в полосатых тельниках под пиджаками, и офицеры в красных штанах с черными лампасами, и таможенные чиновники в пелеринах, застегнутых на груди пряжками в виде львиных голов, и хозяева турецких бригантин в фесках, и господа с биноклями, и дамы в узких жакетах с буфами на рукавах, и множество прочего городского люда. Нарядные зонтики и соломенные шляпы двигались по зеленой синеве глубокого неспокойного моря. Шлюпки подскакивали на крутых волнах, терлись скрипучими уключинами о дикий камень набережной и с плеском ухали вниз, в пахнущий бычками мрак.

Полицейские оттесняли от матросов напиравшую толпу. Офицеры то-и-дело прикладывали пальцы в лимонных перчатках к расшитым золотыми ветками околышкам кепи и извинялись перед дамами. Дамы махали платочками. Толпа кричала ура.

Среди сочувствия, шума и общего любопытства, стесняясь и разминая широкие плечи под тяжестью своих угловатых, ладных сундучков, прошли матросы через пристань и вступили на мостовую города. И потом, на казарменном дворе фотограф с ужасно черными бакенбардами раздвинул длинную гармонику своего аппарата и, сунув напомаженную, завитую голову под темное сукно, как одноглазое чудовище о пять ногах (две свои — три деревянные), гремя и блистая медными винтами, полез, скрипя на матросов...

А Родион Жуков в это время стоял за конюшней и, упершись спиной в дикий камень стены, смотрел в море. «Потемкин» стоял совсем близко от пристани. Среди фелюг и грузовых пароходов, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером «Елизаветой» — он был бесполезно велик, трехтрубен и сер. Белый андреевский флаг, косо перекрещенный голубым крестом, все еще висел, как конверт, высоко над орудийными башнями, шлюпками и реями. Пусто было на палубах и мостиках броненосца — лишь кое-где торчала прикладом вверх винтовка румынского часового. Но вот флаг дрогнул, опал и коротенькими скачками стал опускаться. Обеими руками снял тогда Родион фуражку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко упали в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы.

— Что, моряк, каешься? — раздался вдруг у самого Родионова плеча веселый голос.

Родион поднял голову и увидел знакомого минного машиниста. Он стоял, широко расставив короткие ноги, ухватившись горячими руками за тесемку ворота. Его рябое некрасивое лицо с медвежьими глазами было сведено курносой судорогой. Кадык двигался по горлу так трудно и туго, словно он подавился железным яблоком и задыхается от того железного яблока — не может проглотить.

— Что, землячек дорогой, с тюрьмой своей прощаешься? Слезы горькие проливаешь? Драгоценному царскому флагу кланяешься?

— Жалко все-таки, Степан Андреич, линейного корабля, — тихо ответил Родион Жуков.

Тут минный машинист ударил изо всей мочи фуражкой об землю и закричал:

— Зря, товарищи, на берег высаживались, зря сдавались!

А уж вокруг него собралось несколько матросов.

— Просто срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов — как тех дынь несчетных в погребе, наводчики один в одного! Зря Кошубу не послушались! Кошуба правильно говорил. Кондукторов, — паршивых шкур, — за борт, потопить «Георгия Победоносца», итти на Одессу высаживать десант! Весь бы гарнизон подняли! Все бы Черное море!

Эх, Кошуба, Кошуба, было б тебя послушаться... А такая ерунда получилась!

И увидели матросы то, чего никогда до сих пор не видели: минный машинист заплакал.

— Прощай, товарищ Дорофей Кошуба,—проговорил он, — прощай, линейный корабль «Князь Потемкин-Таврический», прощай, пропащая воля... — Поклонился в пояс, и будто в ответ на его поклон над кораблем развернулся цветистый румынский флаг.

Тогда матрос надел измятую покрытую пылью фуражку и вдруг слезы мгновенно высохли на его рябых щеках. — Словно вспыхнули — лоб побледнел.

— Ладно,— сказал он сквозь зубы, — ладно, не один Кошуба на свете. За нами не пропадет. Всю Россию подымем. Всех помещиков пожжем. Верно говорю, Жуков?

Он страшно заругался в Христа-бога-мать, поворотился спиной и пошел, пошатываясь, через бурьян в казарму, расставив широкие рукава, тесно застегнутые пуговичками у самых стиснутых кулаков.

В последний раз поклонился Родион Жуков своему кораблю и вместе с другими матросами печально возвратился в двор.

III.

Только два прапорщика, все кондуктора, да еще с ними человек тридцать команды, продали товарищей — остались в Констанце, дожидаясь прибытия русской эскадры, чтобы сдаться на милость адмирала. О них нечего и говорить.

Остальные матросы поделили между собой по-братски судовую казну, — каждому вышло рублей по двадцать, — распродали румынским франтам на галстуки георгиевские ленты с фуражек, получили у префекта документы, купили на базаре вольное платье и разошлись навсегда по белу свету кто куда. Многие попали в такие страны, о которых раньше никогда и не слыхивали.— В Канаду, в Америку, в Швейцарию... Те же, которые остались в Румынии, поступили на заводы, на рудники, пошли на полевые работы.

Вместе с двумя своими земляками, тоже Нерубайскими, Тарасом Попиенко и Ваней Ковалевым — Родион Жуков нанялся в батраки к русскому поселенцу-сектанту в большое скучное и богатое село неподалеку от города Тульчи. За два года службы во флоте матросские спины и руки порядочно отвыкли от полевой работы. Однако время подошло как раз самое горячее, а чужой хлеб даром есть не приходится.

Поскидали земляки башмаки, завернули рукава выше локтей, поплевали на ладони, и такая пошла работа, что только золотая полова пыльным столбом встала от земли до самого выгоревшего степного неба. Целый месяц вставали они задолго до зари и выезжали в поле. Весь день возили хлеб и молотили, а ко двору возвращались после захода солнца,

когда уже за погребом, в потемках, под навесом, ярко пылала печь, стреляла в пламени сухая маисовая ботва, и стряпуха, окруженная огненным паром, помешивала палкой варево, отворачиваясь от горького дыма и утирая подолом глаза.

Тотчас после ужина матросы укладывались рядком по середине двора и крепко, без снов и дум, засыпали под теплым, молочным от звезд небом.

Так прошел самый горячий мужицкий месяц июль, а в начале августа, когда обмолотили хлеб и уже начали возить с баштанов арбузы и дыни, однажды ночью Родион Жуков без причины проснулся и, сквозь сон, еще не сошедший с ресниц, увидел Ковалева. Он стоял неподвижно посреди двора, Родион приподнялся на локте. Ковалев не шевелился.

— Ваня, ты что? — спросил Жуков сонно.

Нежно и неслышно переступая босыми ногами по холодеющей земле, Ковалев подошел к Родиону, присел у его плеча на корточки и заглянул в лицо. Милая, продолговатая голова Ковалева сразу заслонила собой полнеба великолепных звезд.

— Лягай, Ваня, спи, — прошептал Жуков, — не думай.

Но Ковалев загадочно манил его и легонько тащил за рукав. Родион встал и пошел. Они остановились посреди двора.

— Бачь, — сказал Ковалев, — погреб, бачь — веялка.

— Ну, бачу.

— А звезды, те три звезды, что так низко стоят над самым степом, бачишь?

— Бачу, — еле слышно вымолвил Родион.

— Так они же те самые звезды и есть! — воскликнул Ковалев в восторге, хлопая себя по штанам, — те самые звезды, что из наших окошек видать каждое лето!

И, обнаружив под темными усиками свои белые как известь зубы, он залился беззвучным, счастливым, детским смехом.

И точно: между погребом и веялкой, очень далеко, горели три звезды, словно валялись в степи уголья гаснущего цыганского костра.

— Покурим, чтоб дома не журылись.

Родион крякнул, достал из-за пазухи мешочек с крупным сухим румынским тютюном, скрутил папиросу, брызнул из кресала красными искрами и стал курить.

Была самая середина ночи. Собаки уже перестали брехать, а петухи еще не начинали петь. По всему большому селу, сквозь акации, шел со степи, от этих звезд, ровный, теплый, серебристый воздух. На крышах плетенных клунь, на погребе, на длинной заваленке под решетчатыми окнами хаты — всюду где повыше — тяжело и прочно, как глиняные, лежали круглые большие тыквы.

— Слушай, Родион, — снова зашептал Ковалев,— а вот так, чуешь, правей веялки, идет наша улица, а далее стоит церковь. А в церкви на Спаса пахнет чернобривцами и мятой, стоят в церкви люди, а наикраше всех среди людей — дивчата; рукава у них вышиты розочками, в косах

богато разноцветных лент, на шейках бусы и мониста, а в ручках своих белых держат они невозможно красивые букеты. Родя, чуешь? Аж пить захотелось.

Ковалев вдруг воровато и весело оглянулся, точно желая сказать нечто важное, но не сказал, а вместо этого затанцовал с ноги на ногу. Громадными, бесшумными шагами он бросился к погребу и через минуту вернулся, тяжело дыша.

— Сейчас напьемся, Родион. Принимай снаряд!

Родион протянул руки, и холодная с погреба дыня хлопнулась в его ладони с налету всей своей зрелой тяжестью, как продолговатый звонкий орудийный снаряд. Товарищи присели на заваленке, и пока Ковалев отколупывал ногтем тугой ножик на цепочке, Родион Жуков, положив дыню на колени и гладя ее, смотрел, не мигая, прямо перед собой во тьму. И уже не видел Родион ни знакомых звезд, ни своей хаты, ни веселого праздника Спаса, когда вокруг церкви так сильно и радостно пахнет дегтем, маком и медом; не видел ни расшитых рукавов, ни лент, ни карих глаз, ни свечей. Черным морем обступила Родиона черная чужая земля; звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими огнями портового города. Зашумел город, загорелись эстокады в порту, побежали люди, путаясь в бунтующем огне, длинными рельсами грянули железные ружейные залпы; качнулся двор корабельной палубой, зашипел над головой ослепительным рубчатым стеклом прожектор — медный литавр, — побежал светлый круг по волнистому берегу, вспыхивая, как мел побледневшими углами домов, стеклами окон, бегущими солдатами, красными лоскутьями, зарядными ящиками, лафетами...

И увидел себя Родион в орудийной башне. Наводчик припал глазом к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город насквозь пустое, сияющее внутри зеркальными нарезами, дуло. Стоп. Как раз точка в точку против купола театра, похожего на раковину. Там, среди невиданной роскоши, за зеленым сукном, осанистый генерал держит военный совет против мятежников. В башне канителится жидкий телефонный звонок. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается на цепях — прямо в руки Родиона. Снаряд тяжел и холоден, но сильны матросские руки. «Башенное, огонь!» В тот же миг зазвенело в ушах, точно ударило что снаружи в башенную броню как в бубен. Вспыхнул огонь и обварило запахом жженого гребня. Дрогнул рейд во всю свою ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом. Перелет. Разгорелись руки у Родиона. Опять телефон. А, второй снаряд, сам из подъемника в руки лезет. Доконаем генерала, погоди! «Башенное, огонь!» И вторая полоса легла поперек бухты. Снова перелет. Ничего, авось в третий не подкачаем. Снарядов небось хватит. Полны ими погреба. Легче дыни показался Родиону третий снаряд. — Только бы пустить его поскорее, только бы дым поскорей повалил из купола. А там пойдет писать губерния! Но что-то не звенит телефон... Поумирали там к чортовой матери все наверху

что ли?.. Башня словно сама собой поворачивается обратно. «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из Родионовых пальцев, опускается обратно в люк, медленно погромыхивая цепями подъемника. — «Да что же это такое? Эх, продали, продали волю, чортовы шкуры! Сдрейфили! Уж если бить, так бить до конца! Чтоб камня на камне не осталось!»

Очнулся Родион — точно сто лет прошло, а на самом деле прошла всего одна короткая минута. Ковалев успел отколупнуть свой ножик и, вытащив из оцепеневших пальцев Родиона дыню, ловко, одним кривым движением, взрезал ее вдоль, раскрыл как писанку и выхлестнул внутренности. В темноте сильно и душисто запахло спелой кандалупкой. Ковалев протянул Родиону скибку.

— Добрая дыня. У хозяина купляли, сами выбирали. Кушайте на здоровьечко.

Он слабо забелел зубами, вдруг выронил ножик и, как невеста, положил свою голову на плечо Родиона.

— Скучаю я, Родион. Аж душа болит. Хочу до дому.

— А ты не брешешь?

— Ей богу не брешу. Скучаю.

— До Дуная шаг, — сказал тогда, тихо усмехаясь, Жуков, — через Дунай — два, до дому — три. Пойдешь со мной, Ваня?

Ковалев закрыл лицо руками, зажмурился и быстро затряс головой.

— Ни... Не пойду...

Он погладил Родиона по плечу и застенчиво прошептал:

— Боюсь, Родя, под суд итти. На каторгу присудят.

— Тогда добре,— еще тише усмехнулся Жуков, — тогда добре. Тараса я знаю, Тарас не пойдет. У Тараса баба дома хуже ведьмы...

(Он прислушался. Тарас с присвистом храпел посреди двора лицом в землю.)

— Пойду один.

IV.

Бывает голова тяжелая, неподвижная: клонит ее ко сну, к темной земле, а какая это земля, своя ли, чужая ли — все равно... Такой не добудишься. Бывает милая, веселая, лукавая голова, — но услышит она песню про загубленную волю, увидит родные звезды над чужой степью — задумается, вдруг, упадет в бессильи на плечо товарища. Словом — не голова, а головушка. Бывает голова крепкая, шишковатая, ежом стриженая; лоб низок да широк; затылок крут; шея крепка — не согнется. Западет в такую голову мысль — колом не вышибешь. Вспыхнет огонь, опалит кончики ресниц несносным жаром корабельных топок, завоет осипший, разорванный морским ветром человеческий голос — и конец. Пиши пропало. Уж не голова это, а стальной снаряд, начиненный порохом. А порох такая вещь, что лежит, лежит, да уж когда-нибудь непременно выпалит — на то и выдуман. И нет ей больше покоя. Незаметно тлеет фитиль. И летит она, снедаемая огнем, напропалую.

Через несколько дней Родион Жуков переправился через гирло Дуная, возле Вилкова, на русскую сторону.

План у него был такой: добраться степью вдоль берега моря до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до села Нерубайского рукой подать, а там как выйдет... Одно только знал Родион наверняка, что к прошлому для него возврата нет, что прежняя его жизнь подневольная матросская жизнь на царском корабле и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками, среди жестких розовых и желтых мальв, — отрезана от него навсегда. Теперь — либо на каторгу, либо — скрываться, поднять среди своих восстание, жечь помещиков, итти в город в комитет.

По дороге Родион рассчитывал узнать от людей, что делается в России: скоро ли мир с японцами, есть ли где восстание, что слышно о «Потемкине», не дает ли царь воли?

Но села и экономии ему приходилось обходить степью, а в степи встречались люди, которые ничего не знали. Проходили в пыли отары черные, седые, глухие от старости чебаны. Проезжали подводы, полные желтых степных огурцов; прямо на них, вытянувшись во весь рост животом вниз, дрыхли, подпрыгивая, хлопцы. Переваливалась на высоких колесах, громыхая ведром, бочка. Веснушчатый мальчик в немецкой соломенной шляпе сидел на ней верхом и нахлестывал горячими кожаными вожжами потную кобылу; из туго забитого чоба все-таки просачивалась вода, крупные капли падали на дорогу, сворачивались и катились в пыли, как пилюли. Далеко от дороги, нагнувшись в ряд, стояли бабы в сборчатых юбках и копали картошку. Завидев Родиона, они бросали работу и, приложив ладони к глазам, долго и равнодушно смотрели ему вслед. Они ничего не знали.

Иногда дорога подходила к самому берегу и тянулась вдоль страшно высокого отвесного обрыва. Тогда Родиона обдавало ветром (а в степи между тем было совсем тихо и жарко), окатывало холодным шумом шторма, ослепляло снегом и содой бушующей пены, резало глаза синей зеленью горизонта. Родион подходил к самому краю обрыва и, чувствуя головокружение, заглядывал вниз. Там, на многие мили, ярко белел на солнце блестящий песок, поминутно заливаемый прибоем. Взбаломученные волны волокли и крутили вдоль берега по гравию блестящее черное тело дохлого дельфина. Там лежали килем вверх длинные просмоленные баркасы, сохли на шестах невода, и рыбалка, обливаясь, пил воду из плоского боченка, задрав голову и слегка согнув колени; он увидел Родиона, замахал руками и закричал что-то, может быть очень важное. Но тонкий водяной туман стоял во всю громадную высоту обрыва, пушечное эхо звенело бронзой в оглушенном воздухе, а ветер, захлебываясь, свистал в ушах, как в наскозь пустом орудийном дуле. «Гай-гай-гай!» — Только и долетело до Родиона снизу. И снова дорога поворачивала в безлюдную степь, отливавшую фиолетовой слюдой бессмертников, в тишину и зной. А ночью, когда начинались звезды и сверчки заводили свою хрустальную музыку, во тьме загорался

костер и Родион шел на него без дороги — пятками по колючкам — напрямик, через темную степь к людям. Люди молча сидели вокруг казанка и ужинали. Родион вырастал у костра такой громадной тенью, точно головою своею она упиралась в звезды. Люди, ничуть не удивляясь и не расспрашивая его ни о чем, протягивали ему ложку. Родион садился с ними и обжигаясь ел горький от дыма кулеш, а поев, вытирал ложку об траву. «Лягайте с нами» —говорили люди. Родион ложился, раскинув руки среди чужих молчаливых людей, среди чужой, молчаливой, древней степи. «А как слышно про волю?» — спрашивал вдруг среди ночи Родион. Кто его знает. Болтают люди, что около Балабановки опять Котовский пожег экономию... А может и не Котовский. А может и брешут. Кто его знает. Мы по степу ходим». На рассвете, разбуженный холодом, Родион осторожно, чтобы не потревожить людей, вставал и снова шел, неся на лице ночную сырость.

Еще меньше, чем в Румынии, знал Родион о том, что делается в России — и шел наугад, одиноко и тревожно, как слепой, без устали, лишь бы поскорее дойти до Днестровского лимана.

Однажды ранним утром дорога вновь свернула к обрывам, и Родион увидел вдалеке мачту кордона, черепичные крыши и беседку над морем. Солнце вероятно только что встало, но его не было видно за утренними облаками, холодно и нежно просвечивающими, как раковины. Море после шторма стало шелковым. Мертвая зыбь длинными морщинами лежала вдоль холодного берега, слабо отражая и катя на своем глянце зарю. Нанесенные вчерашним штормом мели отчетливо и кропотливо рябили, едва покрытые водой. На них, по колено в воде, ходили голые, голубые мальчишки. Они наклонялись, искали руками по дну, колотили по воде палками и кричали. Вдруг один из них вытащил широкую серебристо-розовую рыбу. Она отчаянно рванулась и забилась. Из разорванных цепкими пальцами жабр, пурпурных, как петушиный гребень, потекла кровь, распускаясь в воде мутными пионами. «Ло-ви-и-и!» — закричал мальчик и, размахнувшись, забросил рыбу на берег. Две белоголовые девочки стояли, наклоняясь над ивовой корзиной, с ужасом и восторгом разглядывая жирных окровавленных рыб, сгибавшихся в сильных судорогах и сбивавших с себя крупную прозрачную чешую.

Тогда Родион заметил, что по мелям двигаются целые стада этих рыб. Они натыкались на мальчишек, проходили меж ногами, неуклюже разворачивались и зарывались в песок. Сверху, очень увеличенные выпуклой водой, они походили на темные тени мин, медленно идущих по дну.

— Слепые рыбы! Слепые рыбы! — заорало несколько мальчиков в гимназических фуражках с гербами, пробегая мимо Родиона. Стаскивая через головы на бегу матросские рубашки, они бросились со всех ног вниз по вырезанному в глине спуску и, кинув одежду на песок, бухнулись в воду.

Слепые рыбы — Родион уже слышал о них. Иногда во время сильных штормов ветер загоняет из гирла Дуная в море громадные стада карпов.

Речные рыбы, попадая в соленую воду, слепнут и чумеют. Морское течение несет их, оглушенных штормом, вдоль чужого берега все дальше и дальше за много десятков миль от тихой родной воды. Шторм утихает, и они, умирающие, обессиленные и ничего не видящие в непонятной тяжелой среде, тупо и медленно раздувая жабры, передвигаются стаями, натыкаясь на берег, на мели и на ноги пришедших за ними людей. О них рассказал Родиону лодочник контрабандист, когда они сидели в сырых камышах Дуная, дожидаясь пока проедет дозорный катер. Теперь Родион увидел их.

V.

Он спустился на берег, разделся и вошел в море. По колено в ледяной, стеклянной воде, от которой ломило ноги, качаемый зыбью, Родион дошел до мели и заглянул в воду. Темная большая рыба толкнулась в его ногу. Родион схватил ее за туловище. Она выскользнула из пальцев, юркнула в бок и, брызнув плавниками, пропала в замутившемся песке. Родион оступился, приподнятый волной, и окунулся с головой в воду. Его ожгло холодом. Сквозь крепкую соль, стоящую на глазах, он увидел рыбу, которая, раздув жабры, плыла, высунув из воды рот ноликом. «Брешешь»— сказал Родион, задыхаясь, и схватил ее за голову. Рыба забилась, рванула хвостом и вновь ушла вниз. Родион ударил ладонью по воде. Мимо него, тяжело вырывая колени из воды, проскакал голый мальчик, нагнулся, вытащил рыбу и забросил ее на берег. Родиона разобрала досада, и он принялся бегать по мели и бегал до тех пор, пока не выбросил на берег двух карпов. Тогда он вышел на песок и стуча зубами стал одеваться.

Между тем берег наполнялся. Дачники и дачницы то-и-дело появлялись на спуске. Бородатые мужчины в чесучевых рубахах, подпоясанных шелковыми шнурами с кисточками, шлепали парусиновыми туфлями по мягкой, цвета сухого какао, пыли. Они прижимали к груди толстые книги. Дамы в пенснэ вели за руки голеньких, коричневых от загара, детей. Отличные девушки с шеями и руками гораздо более темными, чем их белые платья, размахивали на весу своими соломенными шляпами, похожими на цветочные корзины в лентах. Веселые восклицания и шум стояли над морем. Море поголубело. Небо прочистилось. Ярко заблестело солнце. Все великолепно сдвинулось.

Одевшийся, не обсохнув, весь мокрый под одеждой, Родион взял своих рыб и поспешил подняться наверх в степь.

— Матрос — в штаны натрес! — закричал озорной мальчишка в ситцевой рубахе с выбитыми передними зубами, кубарем скатываясь вниз мимо Родиона.

Родион прибавил шагу. Его губы полиловели, колени дрожали, пальцы были белы — он весь ежился от непривычной свежести ледяного долгого купанья. Ветер окатил его холодом в последний раз на верху подъема. Он пошел в степь, стараясь обойти дачи. В степи уже было жарко, но, не смотря на это, Родион продолжал дрожать. Глазам было неприятно

горячо, ресницам щекотно. «Чортовы рыбы» — проговорил он, едва попадая зубами на зубы. Перед ним показалась дача. Он обошел ее огородом и наткнулся на другую. За живой изгородью сирени и туий виднелся молодой сад. Родион разобрал руками терпкие ветки с шишечками и увидел ряды фруктовых деревьев, обмазанных известью. Между ними шла дорожка, усыпанная смоленкой крупой зеленоватых лиманных ракушек. На дорожке лежал клетчатый мяч. Дальше он увидел надутое как парус полосатое полотно террасы, ступени, клумбу бело-желтых лилий, похожих на узко нарезанные крутые яйца, среди них — лаковые детские игрушки и человека в черной косоворотке, лежащего в гамаке.

— Видите в чем тут штука,— говорил человек, размахивая газетой. — Отчасти я с вами согласен. С одной стороны, мы стоим перед несомненно отрадным фактом пробуждения от тысячелетнего сна народных масс, которые почувствовали, наконец, на своей шее гнет самодержавия и произвола; перед фактом, так сказать, освободительного движения наиболее передовой части пролетариата и крестьянства и так далее. С этим я вполне согласен и как революционер готов приветствовать с этой точки зрения наступившую, подчеркиваю — наступившую революцию, но... — Он быстро поворотился в гамаке всем своим дородным телом, отчего гамак заскрипел, показал кремовую щеку с большой шоколадной родинкой и, строго сняв пенснэ, посмотрел на своего собеседника. Его собеседник стоял на ступеньках террасы и, держа в руке стакан радужного молока, прищурившись, ел кусок калача с медом, мажа губы и близоруко роняя крошки на неопрятную бороду.

— Но, доктор, я, как марксист, с другой стороны, подчеркиваю — с другой стороны, я никак не могу согласиться...

Ветка хрустнула под ногой Родиона. Господин в гамаке прервал свою речь и увидел его. Родион стоял в кустах, не смея сдвинуться с места. Господин строго кашлянул, прерванный на самом важном месте посторонним звуком, увидел в руках у Родиона рыб и, кисло сморщившись, замахал руками.

— На кухню, голубчик! Неси их на кухню. Все утро нет от этих рыб отбою. Ступай, братец, на кухню. Кухарка купит. Ступай. Ну-с...

Родион вышел из кустов на огород и услышал за собой громкий голос господина:

— Ну-с, подчеркиваю — с другой стороны — я никак не могу согласиться, ни-ка-ак не могу согласиться...

Родион пошел по огороду. В глазах плыли ситцевые пятна. Озноб не проходил, хотя тело уже высохло. В голове надоедливо повторялся голос господина — «никак не могу согласиться, никак не могу согласиться, никак не могу согласиться». Пройдя в конец огорода, Родион уперся в кухню. Она стояла на отлете в бурьяне. Из трубы шел дым. На пороге сидела окровавленная кухарка и чистила рыбу. С трудом продираясь через бурьян, осыпающий его штаны желтой пылью цветения, Родион подошел к женщине.

Родион предложил рыб. Кухарка взяла заснувших карпов за жабры, попробовала на вес, подозрительно посмотрела на Родиона против солнца и спросила:

— А ты с какого куреня?

Родион махнул рукой.

— Не треба, — злобно сказала кухарка, возвращая рыб. — Гуляй откуда пришел. Нечистая сила. Каторжан.

Родион снова вышел на огород. Он бросил линких карпов в картофель, на горячую землю, и почувствовал головокружение. Он прошел за половником и попал на гарман. Длинные и высокие скирды соломы со всех сторон отсюда обкладывали дачу. На убитой молотьбой земле лежал гранитный рубчатый камень и стояла новенькая, лакированная красная косилка с золотой иностранной надписью. Отшлифованные обглоданные работой деревянные ее грабли блестели в воздухе как крылья ветряных мельниц. На гармане было пусто. Родион сел в железное седло покачнувшейся косилки и его стошнило. Он утерся рукавом, пошел и лег в тень, облокотясь головой о колючую стену плотной скирды. Где-то на даче плотно щелкали крокетные шары, отдаваясь в висках револьверными выстрелами. За половником показались белые платки любопытных баб. Преодолевая болезнь, Родион встал, пошел в степь и попал на дорогу. Ничего не видя вокруг, он пошел по ней и прошел версты полторы. Вдруг раздалось дилинькание колокольчика и мимо Родиона пронеслось облако белой как мука пыли. Он посторонился и увидел лишь потрескавшееся кожаное крыло брички, капюшон, кукурузные усы и красный нос. В тоске Родион свернул с проселка, залез в кукурузу и пошел без дороги в сторону. Дойдя до могилы, он лег в полынь и, дрожа, пролежал в беспамятстве до ночи.

VI.

Уже степь была в свежей росе и небо в звездах, когда Родион очнулся. Ему очень хотелось пить. Он сорвал ветку полыни и стал сосать полную росы седую кисть. Но роса была горька и горела во рту. Тогда Родион вспомнил Дунай — огромную темную массу пресной воды, отражавшую мутные пресные звезды. Он вспомнил до тошноты острый зеленый запах тростника, щелкающий и скребущий ракушкой язык лягушек, болотную теплоту речного дна, и вдруг понял, что заболел от того, что пил дунайскую воду.

Голова по-прежнему была тяжела и слаба, живот ныл нежной сосущей болью. Охваченный тошнотой одиночества и жажды, не зная как выйти на дорогу и куда по ней итти, как выпутаться из полыни и жара, Родион встал, с трудом преодолевая трудный вес своего больного тела, и побрел наугад через степь. В тихом и совершенно чистом воздухе явственно слышалась струнная музыка. Звуки скрипки, флейты и контрабаса весело летели по степи. «Не иначе, как свадьба» — подумал Родион, покорно идя на музыку. Он спотыкался и почти ничего не видел вокруг от обморочной темноты, пятнавшей глаза. Музыка становилась все отчетливее. Родион

пробился сквозь кукурузу и внезапно очутился у задней стены хлева. Он услышал кислую свиную вонь, чавканье навозной жижи под копытцами и тяжелую давку трущихся боками животных. Где-то по бревнам переступали лошади и, сквозь сон, болтали индюки. Родион обошел скотный двор и увидел издали, с незнакомого бока знакомый сад. Он был теперь полон света, движения и музыки. Бумажные фонари, готовые легко и жарко воспламениться изнутри, висели между деревьями молодого сада. По дорожкам двигались высокие тени людей. Дикий виноград просвечивал прозрачной зеленью меж переплетов террас и беседок. Родион пробрался к цистерне и приподнял тяжелое, холодное ведро. Вода сильно качнулась, ведро вырвалось из ослабевших рук и, ноя, полетело в колодец, увлекая за собой гремящую цепь и наполняя бетон цистерны воющим гулом, бешено раскрутившегося ворота. Железная ручка наотмашь ударила Родиона в плечо и отбросила в сторону.

— Кто там балуется у цистерны! — закричал из темноты мужской голос: — а ну, нарву уши!..

Родион бросился за кухню на огород и, остановившись, перевел дух. Пятка наступила на нечто холодное и скользкое. Родион нагнулся и увидел дохлого карпа. «Чортовы рыбы»— сказал он с отвращением и обошел дачу справа. Перед ним открылся обрыв. Большая луна только что взошла над морем. Она еще была на четверть закрыта обрывом. Длинные травы совершенно отчетливо чернели на ее несветящемся, красном диске. Родион подошел к самому обрыву, сел в траву и свесил ноги вниз. Он услышал редкий шум ночного прибоя, качающий и пересыпающий ракушки. Плечо ныло как ушибленная ключица и в помраченных глазах ночи плавало багровое пятно.

Родион в отчаянии опустил голову и вдруг совсем близко услышал загородный, волнистый голос, который запел:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас мрачно гнетут...

Это была та самая песня, с которой «Потемкин» как призрак вырастал у охваченных огнем берегов и, как призрак, трижды проходил сквозь враждебную цепь кораблей, мимо наведенных на него пушек. Это была песня Матюшенки и Кошубы, песня судового совета, которая железом ложилась поперек рейдов; песня, пригибавшая к морю штормовые тучи и трепавшая над башней двенадцатидюймовых орудий флаг со словами славы: «Свобода, Равенство и Братство». Она вернула Родиону помраченное сознание. Сильный и приятный баритон продолжал петь:

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ...

Родион ухватился руками за траву. Совсем близко от него вдоль обрыва шли обнявшись двое: высокий студент в белом кителе с длинными волосами, закинутыми наверх и открывавшими прекрасный, костистый лоб, и девушка в светлом платье. Их плечи были прикрыты одним плащом.

Они поравнялись с Родионом. «На бой кровавый, святой и правый» — тихо и высоко повторил женский голос. Родион встал перед ними во весь рост. «Ах!»— слабо воскликнула девушка и подняла белые руки к вискам. Студент остановился и отступил. Луна, поднявшаяся довольно высоко и уже побледневшая, ярко осветила лицо матроса. Измученное тифом оно было ужасно. Девушка вырвалась из плаща и побежала, поспешно мелькая белым платьем, к даче. «Чорт знает что» — пробормотал студент и, волоча плащ, быстро пошел назад, нагоняя барышню широкими шагами. «Шляются по ночам подозрительные типы, нахальство!» — проговорил он издали уже грозно. Родион услыхал усердные шаги. Два удаляющихся светлых пятна соединились и пропали покрытые черным. Раздался легкий смех девушки и волнистый голос мужчины пропел негромко:

Вчера я видел вас во сне
И полным счастьем наслаждался...

Родион вырвал с корнем пучок полыни и бросил его под ноги. Он сильно глотнул свежего морского воздуха и пошел к даче.

Невероятно яркие кусты и деревья, насквозь озаренные мышьяковым дымом зеленого бенгальского огня, удушливо вспухали во всю ширину сада. В беседке ужинали. Родион увидел стеклянные колпаки свечей винные пробки, оловянные капсюли, груши, гусеницу на рукаве кителя, локоть и кремовую щеку. «Господа, земский начальник ничего не пьет, — сказал сквозь звон посуды громкий бас, — земский, выпей водки». Чья-то рука подхватила падающую бутылку.

Четыре ракеты выползли шипя из гущи бенгальского дыма и с трудом пошли в гору.

— Дети, дети, на крокетную площадку! — закричал грудной женский голос.

Мимо Родиона пробежала длинноногая девочка в розовых чулках. Задевая головой фонари, он пробрался наощупь сквозь сад и увидел крокетную площадку. Посредине стояла дама с высоким бюстом и хлопала в ладоши. «Дети, стройтесь в пары!» — «Шествие, шествие!» — закричали удивительно разодетые дети, прыгая в оранжевом дыму римских свечей. «Россия — вперед!» — сказала дама, выводя из толпы большую краснощекую девочку в сарафане и кокошнике. У девочки на руках лежал сноп ржи. «Верка, не загорись?!» — завизжал мальчик в желтой фуражке одетый японцем. «Молчи, макака, япошка несчастный».

Закачались бумажные перья и серебряный шлем рыцаря блеснул каленой лунной синевой и такой же синевой блеснула в кадке под яблоней темная вода, в которой плавало надгрызанное яблоко. Невидимый оркестр заиграл марш. Кто-то пробежал с фонарем, задев Родиона локтем.

— Господа, пожалуйте на площадку! — невероятно громко закричал знакомый бас. — Что же вы, господа! Земский, пойдем смотреть шествие!

Гости и слуги окружили детей. Родион вырвался из яркого чада и, очумелый, пошел шатаясь задами, под деревьями, как слепая рыба

среди подводных растений, то-и-дело попадая на песчаные мели лунного света.

На заднем дворе между конюшнями и кухней гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяина с хорошим урожаем. На сосновом столе вынесенном на воздух, стояли: боченок пива, два штофа зеленой водки, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка, в новой ситцевой кофточке с оборками, сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки. Захмелевший гармонист в расстегнутой рубахе, расставив ноги, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники. Два парня с равнодушными лицами и несгибающимися туловищами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек в новых платках, с грубыми щеками, блестящими от помидорного сока, вяло притоптывали неудобными козловыми башмаками. Сам помещик в дворянской фуражке с белым верхом и в чесучевом сюртуке, скрипящем мелкими морщинами вокруг его большого тела, стоял улыбаясь у стола. В крупной руке он держал на весу стакан водки. Совершенно нетрезвый мужик, спотыкаясь бегал вокруг него и, подмигивая кухарке, выговаривал сильно заплетающимся языком:

— Господину Андрею Андреевичу, слава! Хозяину нашему господину помещику, слава!

Родион садом обошел двор. В аллее мимо него, шелестя бумажными нарядами и обдав душистым ветром, с шумом пробежали дети. Цыганка била в бубен. Маленький казак в фуражке набекрень, хлестал кнутом кривляющегося, как обезьяна, японца. Рыцарь блистал голубым серебром лат. Девушка в кокошнике, хохоча, волокла сноп. Карлик с привязной бородой грозно размахивал бомбой.

За половником, по колено в бурьяне, шатался страшно пьяный батрак с диким белым лицом. Он лупил кулаком в мазаную стену и кричал:

— Три рубли пятьдесят копеек! Подавись, чтоб тебя от моих денег разнесло! Три рубли пятьдесят копеек!

Родион вышел на баштан и споткнулся о дыню. Он нагнулся и сорвал ее. Она была тепла и тяжела. Пить! Луна стояла высоко над скирдами, сухо обложившими с трех сторон экономию. Наискось через зеленое небо проползла ракета. В лунном свете Родион увидел вокруг себя на земле множество поздних, дозревающих дынь. Багровый дым бенгальских огней, блистательный и трескучий чад фейерверка, крутившегося и стрелявшего над дачей, шагающие как на ходулях тени людей, — все это мятежом встало перед глазами Родиона. Тяжелая дыня лежала у него на руках, как снаряд. «Башенное, огонь!» — загремело в ушах Родиона, и в этот же миг в небе вспыхнула и выстрелила ракета. Он стиснул в ладонях дыню. Ладони зажглись. Пить! Родион полез в карман за ножом и нашарил спички. «Башенное, огонь! Башенное, огонь!» — било в Родионовы уши, как в бубен. «Продали, продали волю, чортовы шкуры! Не послушались

Дорофея Кошубы!»— Родион вдребезги разбил дыню об землю и вытащил из кармана коробок.

Ровным ветром тянуло со степи, через гарман на дачу.

Перепрыгивая через дыни, Родион добежал до первой скирды и сунулся в солому. Легкий, сухой жар тронул его лицо, и в эту минуту он вспомнил непереносимый огонь корабельных топок, добела раскаленные колосники, обливающуюся вонючим кипятком машину и полосатые куски разрубленных шлюпок, корчащиеся в топке и обжигающие пламенем кончики ресниц.

И потом, идя без дороги через степь, спотыкаясь на межах, обдирая ноги о жнивье, плутая и задыхаясь от жажды, Родиону всю ночь мнилось, что он плывет без конца и краю, пересекая темное море, незримо проходит сквозь цепи враждебных эскадр, рубит шлюпки, стреляет — и розовое зарево за ним казалось ему заревом сожженного артиллерией города.

Он шел всю ночь, а на рассвете залез в виноградник и до вечера пролежал без сознания в сухом одуряющем зное пустого шалаша, среди пыльных гроздий и бирюзовых от купороса вычурных листьев. Вечером он встал и опять пошел, уже ничего не видя пред собой и ни о чем не думая, а в полночь пришел, увязая по колено в песке, в Аккерман. Он обошел пустынные улицы, наткнулся на казачий разъезд и поспешно свернул к лиману. Тут на темном берегу, над зеленой от лунного света водой, над баржами и дубками стояла древняя турецкая крепость. Лунный свет косо лежал в узких амбразурах. Над зубчатыми башнями беззвучно кружились ночные птицы. Родион перебрался через дикий, заросший будяками вал, на котором лежала, блестя тусклой медью, щербатая пушка, и вошел в крепость. Посреди крепостного двора стояла черная, древняя, полусгнившая виселица. Под ней густо росла полынь. Родион лег в ее роскошную, холодную росу и впал в беспамятство.

И не знал Родион, что где-то между Бухарестом и Одессой, над степью, низко пела и ныла телеграфная проволока; белая стружка, извиваясь, выползала из медного колеса, постукивающего Морзе; полковник, благоухая, говорил в телефон; кухарка стояла перед столом в канцелярии земского начальника и давала показания; и усатый человек в черном пиджаке и парусиновом картузе, приехавший из Одессы в Аккерман со вчерашним пароходом, храпел на лавке пароходной конторки, положив под голову летнее пальто.

Проснувшись утром, Родион сходил на базар и выпил кувшин молока. Его тут же стошнило. Он пошел на пристань и лег на горячую рогожу в тени тюков, забитых в доски молотилок и, аккуратно обшитых парусиной, круглых корзин с персиками и виноградом. Изнемогая от тошнотворного блеска желтой воды, горящей оловом на солнце во всю громадную ширину Днестровского лимана, оглушенный грохотом вагонеток, шелковым шелестом ссыпаемого по желобам зерна, визгом и стуком паровых лебедок грузящегося парохода, бранью ломовиков, очумелый от душной мучной пыли, неподвижно стоящей в горячем воздухе, от жажды

и болезни, — Родион не видел усатого человека, который дважды прошелся мимо него, равнодушно засунув руки в карманы.

Около трех часов дня Родион на последний полтинник купил билет третьего класса до Одессы и взошел на пароход.

VII.

Пароход отошел из Аккермана в четыре и пришел в Одессу в десять.

Хлопотливо взбивая лопастями колес кофейную воду, он весело пробежал сначала вдоль скучных берегов лимана, обгоняя парусники и баржи. Потом обогнул Каролино-Бугаз, — песчаный, горючий мыс — возле которого грузно сидел в воде свинцовый монитор. Пограничные солдаты Бугазского кордона с зелеными погонами стирали у берега белье, подробно освещенные солнцем. Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря. Едва пароход, минуя качающиеся буйки и шаланды, вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого морского ветра. Мрачные клубы сажи, обильно повалившие из сипящих труб, косыми коричневыми полосами легли на парусиновый тент кормовой палубы. Машина задышала тяжелей. Кузов заскрипел тяжелым грузом корзин. Белоснежная пена, взбиваемая под кожухами, волнисто бежала вдоль бортов. Официант во фраке, хватаясь за поручни белыми перчатками, пронес на палубу из буфета дымящуюся бутылку лимонада. Четыре еврея в котелках и синих очках ударили в смычки. Чья-то соломенная шляпа уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Бессарабские помещики играли в карты в каюте II класса, то темневшей, то светлевшей от волн, заливавщих иллюминаторы. Усатый человек в летнем пальто с поднятым воротником и парусиновой фуражке, тесно натянутой на самые уши, перегнувщись за борт, равнодушно плевал в темно-зеленую воду, бегущую по легкой тени парохода.

Но ничего этого не видел Родион. В тяжелом бреду он лежал внизу среди скрипящего багажа и мучающихся от качки евреев, на грязном полу, в узком проходе между кухней и машинным отделением, откуда через отдушины шел горячий воздух, насыщенный запахом перегретого железа, кипятку и масла.

Когда он очнулся, уже был вечер и пароход подходил к городу. В синем промежутке между бочками и ящиками Родион увидел красный, поворачивающийся глаз маяка, острые звезды портовых фонарей над гофрированными крышами пакгаузов и контор, топовые огни пароходов, зеленые и малиновые сигналы дубков.

Над головой по верхней палубе с грохотом пробежали матросы. Пристань навалилась на пароход. Пассажиры теснились у сходней. Родион хотел встать, но не смог. Человек в летнем пальто подошел и взял его под локти. Родион с трудом встал и, шатаясь, пошел к сходням.

Ноющий визг конок, тарахтенье дрожек по дробной мостовой, хлопанье подков, высекающих беглые искры, гул ночной толпы, вся эта головокружительная музыка хлынула в уши Родиона и оглушила его. Он, шатаясь, сошел по сходням на пристань, и сейчас же к нему подошли двое.

— Жуков? — спросил один из них.

— Он самый, — весело ответил человек в летнем пальто.

Родиона крепко взяли под руки и посадили на извозчика.

Чувствуя сквозь жар и бред, что с ним происходит что-то очень неладное, теряя сознание и валясь на плечи спутников, Родион в последний раз увидел великолепный блеск крутящегося как фейерверк города, услышал музыку, играющую на бульваре вальс... В последний раз перед ним вспух багровый чад бенгальского огня, пробежали дети в невиданных нарядах, выстрелила ракета, повалил из соломы белый дым, люди заметались среди фонариков на даче, охваченной с трех сторон пламенем, загремел набат. «Башенное, огонь!» — ударило в уши как в бубен... Кошуба пробежал с перекошенным лицом по забытому трапу... и Родион перестал видеть.

— Пошел, — сказал усатый человек, стоя на подножке извозчика и нежно поддерживая вялое, тяжелое от обморока, как бы опустошенное тело Родиона.

— Знаешь куда?

Извозчик молча кивнул клеенчатой шляпой, хлестнул лошадь и повез мимо обгорелой и изуродованной эстокады, мимо будок, где персы в нестерпимо ярком свете калильных ламп обмакивали прекрасные фрукты шумящими, бумажными султанами, мимо публичных домов, в город.



Разин Степан.

(Роман).

А. Чапыгин.

(Продолжение).

IX. Чикмаз.

На зеленеющей, тихо дышащей воде пленный корабль Гилянского хана расцветили с бортов коврами. На корабль доносит от влажных брызг соленым; с берегов, когда теплый ветер зашалит, на палубе запахнет душно, олеандром. На корабле спилили среднюю мачту, сломали переднюю стену ханской палаты с дверями, открыли широкий вид на палубу. Разрушения в углах стены украсили свешенными коврами. На ближних скамьях гребцов разместились музыканты с барабанами, домрами и дудками. Разин, наряженный в парчевой кафтан, обмотал сверху запорожской шапки голубую с золотом чалму. Княжну вырядили ясырки персиянки в узкий шелковый халат с открытой грудью, по голубому золотые травы, надели ей красные шелковые шаровары, сандалии с ремнями узорчатого сафьяна и шелковые синие чулки. На голую грудь распустили хитрый узор из ниток крупного жемчуга с яхонтами, блестевшими на нежном теле каплями крови; прозрачную чадру из голубой кисеи Разин сорвал и бросил, когда садились в челн: открылись черные косы, подобранные на голове обручами, и голубая с золотом шапочка с подвесками из агатов. В челне, устланном коврами, подъехали к ханскому кораблю — на коврах подняли их гребные ярыжки, перенесли в палату на ханское возвышение. Ступени возвышения были поломаны, их тоже скрыли коврами вплоть до передней стены на палубу. Там, где села княжна, слева от атамана дымился узорчатый кальян, но она к нему не притронулась. Разин не курил табаку. У ног атамана на коврах сели Лазунка, Серебряков и Рудаков Григорий — оба седые без шапок. Сережке атаман указал место справа от себя. Перед атаманом слуги — казаки поставили большую серебряную братину с вином. Лазунка черпал для него ковшиком вино, наливая в золотую чару. Разин пил, часто отряхивая от брызг курчавую бороду. Подносил княжне, она боялась не пить — пила мало и сидела, потупив таящие испуг, темные под ресницами глаза. По приказу атамана

Лазунка разливал вино в чаши из боченка, давал пить есаулам. Позже всех подошел хмельной с утра от радости Мокеев Петр в дареном Разиным золоченом колонтаре [1]). Мокеев сел рядом с Рудаковым, от доспехов пошли кругом золотые пятна.

— Только не обнимайся, козак! — сказал Рудаков Мокееву.

— А што, дидо — ежели обойму!

— Тогда мне замест пира смерть! Ты и так чижолой, да еще в доспехе — беда!

— Хо, хо, хо! — захохотал есаул.

Разин сказал:

— Люблю Петру! выпил много, да еще пей, чтоб развеселилась моя княжна, ясырка твоя — за здоровье!..

— Э, батько! пошто не пить? — позвякивая пряжками колонтаря, Мокеев с чашей в руке тяжело встал, обливая вином седину Рудакова, крикнул: — За Степана Тимофеича! за радость его светлую! кто не пьет, того в море...

Когда выкрикнул Мокеев, барабаны музыкантов рассыпали дробь, загудели трубы. Атаман крикнул:

— Музыканты — тихо! Лазунка сыграй то, что уклала твоя боярская голова про мою княжну. — Разин склонил перед княжной голову, дал ей из своей чаши глотнуть вина и сам выпил.

— Не занятно будет, батько! — голос мой, что козла на траве.

— Играй, пес!

Лазунка, не вставая, тихо запел:

Эй, не плачь, не плачь, полоняночка!
Я люблю же тебя и порадую,
Обряжу красоту в расписной оксамит,
Во швы с золотом!
На головушку с диамантами
Подарю волосник самоцветов-цвет...
Во черну косу враный чемчуги —
Шелковый косник со финифтями, перелифтями.

Все похвалили, Разин сказал:

— Пей, Лазунка, и еще играй — люблю!

Лазунка, встав, поклонился атаману, выпил чару вина, тряхнул черной курчавой бородой и кудрями не громко, топая ногой по ковру, запел:

У хозяюшки у порядливой,
У меня ли молодешеньки!
Ой, в кике было во бархатной
С жемчуги, да переперами [2]) —
Там под лавицею во большом углу
Лиходельница пестро-перо,

---

[1]) Доспехи из металл. досок, скрепленн. панцырными кольцами.

[2]) Решетки из золота и жемчугов.

Мал цыплятушек повысидела
А жемчужинки повыклевала,
Нынче не во чем младешеньке
На торг ходить — в пиру сидеть,
Свет узорочьем бахвалиться!

Атаман хотел было, чтоб еще пел Лазунка, но, никого не слушая, Мокеев могуче забубнил:

— Пью за батьку нашего и еще за шемаханскую царевну-у!

Разин засмеялся:

— О-то подлыгает Петра! в Дербени княжну взял, а Шемаху помнит, высоко она в горах, есаул, Шемаха.

— С тобой, батько — горы не горы, до небес, коли надо — дойдем!

— А, ну — пьем, Петра!

Стряпней к пиру заведывал казак самарский ярыжка Федько, слуги под его присмотром обносили гостей— казаков, сидевших с музыкантами на скамьях гребцов и на палубе кормы, блюдами жареных баранов, газелей, кусками кабана. Газель, кабан биты в шаховом заповеднике меж Гилянью и Фарабатом — там на косе, далеко уходящей в море, Разин велел вырыть бурдюжный город. В одну ночь вырыли землянки, устроили засеку и вал со рвом. Теперь там стоят ли струги, кроме тех четырех, что плавали с атаманом, там же держали ясырь, взятый у персов, богатства армян и бухарцев. Большая часть казаков караулила земляной город. За атамана в нем жил яицкий есаул Федор Сукнин.

Разин приказал:

— Тащите, соколы старца-сказочника! — пущай сыграет нам бувальщину.

— Эй, дедко!

— Где Вологженин?

— В трюму ён — спит!

— А, не тамашитесь, робятки! где тут сплю у экого веселия?

В казацком длиннополом кафтане, в серой бараньей шапке с кормы на ширину палубы вышел старик седой с домрой под мышкой, поясно поклонился атаману, сняв шапку, затараторил:

— Батюшку, атамануку! честному пиру и крещеному миру...

Сел прямо на палубу лицом к атаману, уставил на струны домры подслеповатые глаза, запел говоркой:

Выбегал царь Иван на крыльцо,
Золоты штаны подтягивал,
На людей кругом оглядывал —
Закричал страшливым голосом:
«Гей, борцы, вы бойцы, добры молодцы!
Выходите с Кострюком поборотися
С шурьем-от моим поровнятися».
Да бойцов тут не случилося,
А борцов не объявилося,
И един идет Потанюшко хроменький,

Мужиченко немудренькой
Ой, идет, идет, идет, иде-ет!
Ходя с ножки на ножку припадывает,
Из-под рученьки поглядывает:
«А здорово, государь Иван Васильевич!..»

— Эй, дайте вина игрецу старому!

Певцу поднесли огромную чару, он встал, выпил, утер бороду и так же поклонился. Сидя, настроив домру, продолжал:

«Укажи, государь, мне боротися
С Кострюком молодцом поровнятися.
Уж коль я Кострюка оборю,
Ты вели с него платье сдеть...»

— Гей, — крайчий мой — Федько!

— Тут я, атаман!

— Что ж ты весь народ без хмельного держишь? пьют атаманы — казаки не должны отставать!

Открыли мигом давно выкаченные бочки с вином и водкой, казаки и ярыжки волжские, подходя, черпали хмельное, пили. Среди казаков высокий, костистый шагал богатырского вида стрелец Чикмаз — палач яицких стрельцов. С ним безотлучно приземистый, широкоплечий, с бронзовым лицом, на лбу шрам — казак Федька Шпынь. Оба они пили, обнимались и говорили только между собой:

— Вот соколы! люблю, чтоб так пили.

Разин, как дорогую игрушку, осторожно обнимал персиянку, обнимая загорался, тянул ее к себе сильной рукой, целовал пугливые глаза, поцеловав в губы, вспыхнул румянцем на загорелом лице и снова поцеловал, бороздя на волосах ее голубую шапочку, запутался волосами усов в золотом кольце украшения тонкого носа персиянки. Уцепил кольцо пальцами, сжав сломал — золото, звякнув о край братины, утонуло в вине.

— Господарь... ио, алла! [1]) — тихо сказала девушка.

— Наши жоны так не носят узорочье! а что же старый? гей, играй бывальщину.

Старику еще налили чару водки; он, кланяясь, мотался на ногах и, падая, сел, щипля деревянеющей рукой струны домры, продолжал:

Ище первую пошибку Кострюк оборол,
Да другую вишь Потанюшко!
Он скочил Кострюку на высоку грудь,
Изорвал на борце парчевой кафтан,
Да рубашку сорвал мелкотравчату!

— Эх, соколы! ладно, Петра — добро — пьем!.. взбудили меня от мертвого сна.

---

[1]) Вроде: Боже мой!

В вечерней прохладе все шире пахло олеандром, левкоем и теплым ветром с водой. Дремотно, монотонно с берега проплыл четыре раза повторенный голос муэдзина:

— Нэ... дэир... молла... азанвахти...

Голубели мутно далеко чалмы, песочные плащи двигались медленно, будто передвигались снизу песчаные пласты гор — мусульмане шли в мечеть.

Слыша голос муллы, зовущий молиться, персиянка сжалась, поникла, как бы опасаясь, что далекие соотечественники увидят ее открытое лицо.

Старик дребезжал голосом и домрой:

Не младой богатырь воздымался с земли —
Стала девица поляница
Богатырша черекешенка!
Титьки посторонь мотаютца,
А идет она сугорбилась,
Ой, идет, идет, идет, идет!
На царев дворе шатаетца
Рукавицей закрывается!
Ой, идет, идет, идет, идет!

На середину палубы вышел Чикмаз, взъерошенный, костистый и могучий, заложив за спину длинные руки, крикнул:

— А, ну — пущай меня кто оборет, да кафтан сорвет!

Зная Чикмаза, молчали казаки; только его приятель Федька Шпынь протянул руки:

— Да я ж тебя, бисов сын, нагово пущу!

— Хо! — хмыкнул Чикмаз: — знать во хмелю буен? ну, давай!

Взялись, и Чикмаз осторожно разложил на палубе Шпыня.

— Буде?

— Буде, Чикмаз!

Кое-кто из казаков еще пробовал взяться, Чикмаз клал всякого путя.

Разин сказал:

— Вот это борец! должно мне итти?.. Чикмаз — иду!

— Не, батько! не борюсь.

— Пошто?

— Не по чину! зову казаков, да есаулов — пущай за тебя идет Сергей?

Сережка махнул рукой и, зачерпнув ковшом из яндовой вина, сказал:

— В бою — с любым постою, в боротьбе — я что робенок!

— А, ну — Мокеев? силен знаю, да оборю и его!

— Правду молыл Сергеюшко, в бою хитрости нет, до боротьбы, эаки и я не свычен!

Казаки на слова Мокеева закричали:

— Эй, — Петра! пущай не бахвалит Чикмаз.

— Вот разе, что бахвалит?..

— Выходи, бывший голова! — позвал Чикмаз.

— Кто был — забыл, нынче иной! а ну коли?

Тяжелый, сверкающий в сумраке доспехами, шатаясь на ногах, Мокеев подошел к борцу. Чикмаз расправил могучие руки, а когда взялись, Мокеев потянул борца на себя — у Чикмаза затрещало в костях:

— Ага, чорт большой! с Петрой, не с нами, — закричали казаки, обступив.

Мокеев неуклюже подвинул Чикмаза вправо, потом влево и, отделив от палубы, положил; не удержавшись, сам на борца упал.

Крякнул Чикмаз, вставая, сказал:

— Все едино, что изба на грудь пала!

— Ай, Петра! го, го, не бахваль, Чикмаз!

— Силен да пожиже будешь! — кричали казаки.

— Силен был, а тут как теленок у быка на рогах!

— Ну еще, голова?

— Перестань головой звать! перепил я — в черевах булькает.

— Ни што-о! только доспех сними, не двинешь тебя, силу твою он пасет.

Казаки подступили, сняли с Мокеева колонтарь:

— Ни чорта сделает, — легше еще тебе, Петра!

— Оно, робята, впрямь легше?

И снова Чикмаз был положен, вставая сказал: слова звучали хмельной злобой:

— Не чаял, что его сотона оборет? чорт, как гора!

Бороться было некому. Мокеев, взяв колонтарь, ушел к атаману, а там сверкнуло кольцо в ухе, вскочил на ноги Сережка, княжна вздрогнула от страшного свиста, закрыла руками уши.

— Помни, робята, сговор!

На крик и свист Сережки казаки вышли плясать; от топота ног задрожал корабль, заплескалась вином посуда — взревели трубы, разнося отзвуки по воде, казалось, вместе с медными прыгающими звуками заплясали море и берег. Плясали все кроме Разина и есаулов, даже старик Вологжанин, вытолкнутый толпой, бестолково мотался на одном месте, тыча на стороны домрой. В море летели шапки. Сережка снова свистнул, покрыв звуки музыки, топот ног — тогда, стоя на скамьях по бортам, вспыхнули зажженные ярыжками факелы. При огне от пляшущих ломались тени, опрокидываясь в ночное сине-дышущее море. Плясали долго, атаман не мешал. Когда кончили плясать, Разин, подняв чашу, крикнул:

— Гей, соколы! За силу Петры Мокеева все пьем.

— Пьем, батько!

— За Петру-у!

Разин позвал:

— Чикмаз, астраханец!..

— Тут я, батько!

— Иди с нами, пей!

Чикмаз подошел. Разин, чокаясь и обнимаясь с Мокеевым, сказал Чикмазу:

— Знаю! Ловок парень и ядрен без слова худа, только сила Петры не наша человечья... чья — не ведаю... Но не человечья его сила!

Чикмаз выпил ковш вина, утирая сивую всклокоченную бороду, сказал:

— Есть, батько, во мне такая сила, какой ни в ком нет!

— Пей, парень, еще ковш и поведай, какая та сила?

Чикмаз выпил другой ковш, снова утер рукавом кафтана бороду, сказал:

— Сила бою моего, батько, иная, чем у того, кто с тобой ходит!

— Не вразумлюсь?

— Да, вот! ежели на бочку сядет — ударю, богатырь падет, не высидеть! пущай даже в кафтане сядет кто...

— Бахвалишь и тут! — сказал Мокеев: — я нагой усижу, вот разе што брюхо гораздо водяно?

— Усидишь, пять боченков вина становлю!

— Где у тя боченки?

— Добуду! голову на меч, а добуду у бусурман.

— Эх, ты! стрелец, боец.

Мокеев пошел на палубу — ярыжки с факелами обступили его, он разделся до гола и в ночных тенях в свете факелов казался особенно тяжелым с отвислым животом, весь как бронза. Чикмаз особенно торжественный, будто палач перед казнью, крикнул:

— Казаки! Сыщите отвалок для бою — с Петры выиграю вино — будет пить вместях.

Принесли отвалок гладко струганного бушприта в сажень.

— Сколь бить, голова?

— Чорт!.. Не зови головой, сказывал тебе — иной я — бей пять! высижу больше, да вишь черева повисли и в брюхе вьет.

Бывший палач отряхнулся, одернул кафтан, но рукавов не засучал. ухваткой, ведомой только ему, медленно занес над Мокеевым отвалок со свистом опустил. Мокеев крякнул:

— Отменито бет? Не как все, едрено дьявол! — и все же вынес с пошатнувшись пять смертельных для другого человека ударов.

— Голова Петр Мокеев — выиграл! — с веселым лицом крикнул Чикмаз: — робята! пьем с меня вино-о... — захохотал пьяно и раскатисто, кидая отвалок.

Мокеев встал с бочки, охнул, пригнулся, шарил руками, одевался медленно, сказал уже протрезвевшим голосом, как всегда неторопливо кротко:

— Ужли, робята, от того бою Чикмазова — я ослеп?

Ликующие победой Мокеева пьяные казаки, помогая надевать ему платье, шутили:

— Петра! Глаз не то место, чем робят рожают — отмигаетца.

— Добро бы отмигатца, да черева огняны, то со мной впервой?..

— Побил Чикмаза! Молодец Петра, пьем! — громко сказал захмелевший атаман.

— Нет, батько! Я проиграл свой зор.

— Что-о?

— Да, — не зрю, на аршин и ближе...

— То злая хитрость Чикмазова?

Разин вскочил и страшный голос его достиг затихшего берега.

— Гей, Чикмаз! ко мне-е...

— Чую батько! — Чикмаз подошел.

— Ты пошто окалечил моего богатыря? не оборол, так зло взяло? говори, сотона, правду!

— Не впервой, батько, так играем! по зговору, не навалом из-за угла и на твоих очах...

— Ну, дьявол — берегись!

Глаза Разина метнули в лицо Чикмазу, рука упала на саблю. Чикмаз пригнул голову, исподлобья глядя сказал, боясь отвести глаза от атамана:

— Пущай, батько, Петра скажет, велит — суди тогда!..

— Гей, Петра!

Мокеева казаки держа под локти привели к Разину:

— С умыслом тебя бил Чикмаз? с умыслом, то конец ему!

— Не батько! парня не тронь, с добра, — ты знаешь, я сел и сам вызвался, а бил деревиной как все...

Разин заскрипел зубами:

— Цел, иди, Чикмаз, но бойся! эй, нет ли у нас лекаря?

Подошел черноусый казак самарский, распорядчик пира:

— Тут, Степан Тимофеевич, в трюму воет ученый жид, иман у Дербени, скручен, а по-нашему говорит, сказывал, что лекарь ён...

— Кто же неумной ученых забижает? Царь твердит московскую силу учеными немчинами, да фрязями — у меня они будут в яме сидеть? — то не дело!

— Жидов батько не терплю! — я велел собаку скрутить, — ответил Сережка.

— Открутите еврея, ведите сюда — за род никого не забижаю, за веру тоже!

В длинном, черном балахоне со спутанными пейсами, в крови, грязный, без шапки подошел взъерошенный еврей, поклонился, низко сгибаясь:

— Чем потребен господарю?

Разин приказал:

— Дайте ему вина! еды тож.

Еврею дали блюдо мяса, кусок белого хлеба и кружку вина. Мяса он не стал есть, выпил вино, медленно сжевал хлеб.

— Теперь сказывай, что можешь?

— Господарь! прошу меня не вязать... Бедный еврей никуда не побежит, честный еврей! я могу господарю хранить и учитывать его сокровища — золото, камни еврей понимает лучше других...

— Хранители, учетчики у меня есть — мне надо лекаря.

Еврей качнул головой:

— Вай, господарь, атаман! и лекарь я же...

— Ну, вот огляди его! — Разин показал на Мокеева, сидевшего с опущенной головой: — у него избиты черева, от того ли он потерял зрение? скажи!

— Надо, господарь, чтоб козак был голый.

Мокееву помогли раздеться. От груди до пупа его живот был синий. Еврей ощупал Мокеева, приложил ухо против сердца, сказал:

— Оденься!

— Ну, что скажешь, лекарь?.. на долго или навсегда он потерял зор?

— Господарь! бог отцов моих, адонай, умудрил меня, ему я верю, его почитаю и слушаюсь, он повел меня в Мисраим [1]) и там по книгам мудрецов учился я познавать врачевание. Еллины, господарь, учили, что около пупка человека жизнь, называли то место солнечным — от схожего слова — солнце — жизнь...

— Запутано судишь, но я слушаю, говори, как можешь...

— И древние мудрецы Мисраима учили тоже, что около пупка жизнь человека и смерть. Они называли это иным словом: созвездие — в том месте сплетаются жилы — если те жилы рассечь мечом — жизнь исчезнет.

— Блядослов! я и без тебя знаю, что посечь черева смертно.

— Не гневайся, господарь. Поранить те жилы, или избить много, опас от того большой — есть жилы в том месте, ведающие слух, иные ведают зрение... у казака порвана жила зрения...

— Берешься ли ты врачевать есаула?

— Врачевать, господарь, берусь! много ли будет от врачебы моей, да поможет мне бог отцов, — берусь, атаман!

— Иди с ним в трюм — требуй, что надо — поможешь есаулу, и тебя награжу и отвезу, куда пожелаешь, на свободу... мое слово крепко!..

— Повинуюсь господарю — и благодарю!

— Гей, слушайтесь еврея! — чего потребует — давайте! — Где ты, Федор?

— Чую, батько!

— Ты все справы знаешь, проводишь учет и порядок — отведи Мокеева с евреем в чистое место, в трюме есть такое, дай еврею умыться и белую одежду дай!

Еврей поклонился атаману.

— И еще много благодарю господаря!

* * *

[1]) Древне еврейск.— Египет.

Атаман с княжной, есаулами и казаками уплыли с ханского корабля на атаманский струг. На корабле остались у караула пять человек казаков, среди них Чикмаз. В трюме Петр Мокеев с лекарем евреем, да в услугу им два ярыжки. В синей как бархат мягкой и теплой тьме, огней на палубе не зажигали. На корме с пищалью высокий, отменно от других, Чикмаз, старавшийся держаться в одиночку, остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив к борту карабины, усевшись на скамьи гребцов, курили, рассказывая вполголоса про житье на Дону и Волге. Один Чикмаз привычно и строго держал караул, возвышаясь черной статуей над бортом. Корабль тихо пошатывали вздохи моря. В синем на воде у кормы скользнуло черное. Чикмаз крикнул сурово:

— Гей, заказное слово! или стрелю?

— Не-е-чай! — ответило внизу.

В борт, где стоял, Чикмаз стукнул крюк с веревкой, въелся в дерево — по веревке привычно, ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущей огнем.

— Во не узнал! все мекал, куды мой Федько сгинул?

— Пули не боюсь! хоша бы стрелил. — Коренастый, покуривая, встал поотдаль, голова на черном широкоплечем теле повернулась на нос корабля.

— Стой ближе... не чуют... — сказал Чикмаз.

Коренастый придвинулся почти вплотную, прошептал:

— А, ну, досказывай про себя... я тебе на пиру все сказал...

— Скажу и я! — ведомо ли тебе, Федор, служил я боярам на Москве в стрельцах, от царя из рук киндяки, да сукно получал за послуги.

— То неведомо...

— Вот! перевели в палачи — палачу на Москве дело хлебное, за поноровку, чтоб легше бил, ежедень рубли перепадали...

— Вишь ты?

— Да... Вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засек на смерть дворянина, а за тое дело шибнули меня в Астрахань, вдругорядь в стрельцы... в стрельцах вишь обидчик был — полуголова свойственник Сакмышева, коего нынче в Яике утопили, обносчик и сыском ведал, — рубнул я его топориком, тело уволок в воду, башку собаки сгрызли, а гляжу — мне петля от воеводы! я к атаману... да зрю и здеся в честь не попадешь — сам знаешь: вместях бились с Гилянским пашей, Дербень зорили — не мене других секли, армян, персов, а все без добра слова... норов же мой таков — выслуги нет, значит держи топор на острее. Петруха Мокеев атаману зор застит — силен, что скажешь, в Астрахани его силу ведал, да мы чем хуже его?

— За себя постоим!

— Как ище постоим! — иному так не стоять... хмелен я был, а во хмелю особо злой деюсь и не бахвалю — от моей руки, Федор, никто изжил — людей кнутом на смерть клал не полным ударом... ядрен Мокеев да с пяти моих боев не стать и ему. Атаман в него, что девка,

влюблен — вишь чуть не посек, и знаю, будет в худчем гневе — от Петрухиной смерти — утечи мне надо! без тебя утечи — в горах пропасть, что гнусу в море — в горах знаю я — кумыки с тобой водят приятство?

— Ясырь им менял, дуваном делился.

— Тебе, за твою удаль, тоже не велика от атамана честь.

— Не велика! а забыл в Яике, как и тебя чуть не посек?

— Вот то оно... пили, клялись, надумали утечи — идешь?

— А то как? я только что на берегу двух аргамаков приглядел — уздечки есть, кумычана в горах седла дадут... свинец, зелье, два пистоля и сабля запасены.

— У меня справлено тоже — пистоли и сабля — текем, друг? по спине мураши скребут — а ну, как атаман наедет? Мокеев же в худом теле сыщется — беда!

— Куда ладишь путь?

— В Астрахань, ныне другой Прозоровской воеводит, битого полуголову не сыскали...

— Я тот на Дон к Васе Лавреичу...

— Кто ён?

— Сказывал тебе — про Ваську Уса?

— О, того держись, Федор! в Астрахани будешь, сыщи меня; в беде — укрою, в радости — вином напою.

Чикмаз снял с плеча пищаль, поставил к борту — прости-ко, железная жонка, в Астрахани другую дадут!..

Коренастая фигура,царапнув борт, стукнула ногами внизу. Высокая за ней тоже скользнула в челн. Когда черное плеснуло в ширину синевы, на носу дозорный крикнул:

— Э-эй!

— Свои... тихо-о...

— Пошто караул кинули-и?

— Проигран-но-е Мо-ке-е-ву ви-но-о добы-ть!

Казаки заговорили, пошли по борту:

— Задаст им Сергей Тарануха! наедет дозор проверить.

— Чикмаз, а иной кто?

— В костях приметной, не познал?

— Не! сутемки, вишь...

— Федько Шпынь, казак!

— О, други! то парни удалые — вино у нас скоро будет...

X. Жребий.

Трубами и барабанным боем сзывались есаулы на ханский корабль. Разин сидел с Сережкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли к атаману Серебряков, Рудаков и новый есаул Мишка Черноусенко, красивый казак, румяный, с густыми русыми бровями — наивные глаза

есаула глядели весело; девичьим лицом и кудрями Черноусенко напоминал Черноярца. Разин сказал:

— А, ну, Лазунка! поштвуй гостей есаулов вином.

Лазунка налил ковши вина поднес севшим на коврах внизу есаулам. Подошел самарский казак Федько приглядчик за атаманским добром и порядком:

— Батько! Петра Мокеев подымается.

— Радость мне: должно полегчало ему?

— Того не ведаю — лекарь там!

Медленно с толстой дубиной в руке по корме к атаману шел Мокеев.

— Добро, Петра! иди, болящий.

— Иду, Степан Тимофеевич, да вишь ходила становят.

— Все еще худо?

— Зор мой стал лучше, только в черевах огневица грызет.

Мокеев подошел, сел тяжело.

— Пошто в колонтаре? грузит он тебя!

— В черевах огняно, так железо студит мало, и то ладно...

— Лазунка! вина Петре.

— От тебя, батько, спробую, только в нутро ништо не идет.

Мокеев, перекрестясь, хлебнул из поданного ковша, вино хлынуло на ковер:

— Вишь вот! должно мне пришло с голодухи сгинуть?

— Что сказывает лекарь?

— Ой, уж и бился он! всю ночь живых скокух для холоду на брюхо клал и где столько наимали целую кадь скокух? Мазями брюхо тер, синь с него согнал — и с того зор мой стал лучше, а говорит: «В кишках вережение есть, то уж неладно»...

Казакам, дозору на корме судна Разин крикнул:

— Гей, соколы! Чикмаза астраханца взять за караул.

Из дозора вышел казак, подошел кланяясь:

— Батько! сею ночью Чикмаз утек с казаком Федькой Шпынем, дозор кинули, текли в сутемках. Сбегая, дали голос: «Что-де идем к бусурманам вина добыть!» — становить их было не мочно — утром ихний челн нашли, взяли с берега, был втащен до середи днища на сушу.

— И тут сплоховал я? перво дал играть игру, кою еще под Астраханью не взлюбил, другое — не указал палача имать тут же... в мысли держал оплошно, что де из чужих, гиблых мест сбегчи забоитца, да про Шпыня недомекнул — бывалой пес! горы ему ведомы, горцы должно знают его? эх, сплоховал Стенько! Воры убредут без накладу. Иди, сокол!

Казак ушел.

— А, не горюй, Степан Тимофеевич! чему быть — не миновать... сколь раз я бой на бочке высиживал и ништо было... тут же сел, как рыбина — рот не запер... игра эта тогда ладно сходит, когда человек напыжится, тогда брюхо натянуто — дуй, сколь надо... я, вишь, перепил и обвиснул, удары ж были не противу иных.

— Эх, Петра! не легше от того мне, что обвиснул ты. Воры убрели и не пора нынче когти грызть... созвал я вас, есаулы молодцы, вот: иные из вас ропщут, пошто я не держу слова, не посылаю послов шаху, а надо ли? пущай круг решит — хотим мы сести на Куру реку, то путь от Шемахи... горы перешед, подхватит степь, той степью в ступь коня два дни ходу... зде Кура река течет ширю с Москву реку, по той реке деревни, торги есть — базары... сказывали мне бывалые — тут через реку долгой паром слажен, как мост на цепи сквозной... на том перевозе купцы деньги дают с вьюка. Только сядем за шаха — на промысл гулебный нам не ходить... то еще проведал я — шах много зол на разоренье Дербени. Хан Гилянской, не дождав его указу, сам наскочил — Дербень же мы наскоком разгромили. Не серчаю на Петру Мокеева и названного брата Сергея — их дело Дербень, только после ее — шаху посольство ненадобно. А думаю я, еще разгромить берег и, укрепясь в заповеднике, перезимовать в Кизылбаше, да на Куму реку отплыть, а там уплавить на Дон...

— Посольство, батько, шаху и так ненадобно!

— Вот и я решил то же, Петра.

— Вишь, шах крепко слажен с Москвой... в Астрахани был ведал, что к шаху от Москвы, от шаха в Москву завсе гончие были — кои с товарами купцы шаха, от нас целовальники, прикащики за товарами, а ну, скажем — шах приберет нас в Сарбазы — так ему тогда с Москвой сказать — прости! знает он, какие головы казаки, а сыщики царские завсе вьют коло шаха, в уши ему злое дуют про казаков! нет, с шахом нам ни кисель хлебать...

— Ты, Петра, видишь правду, я тоже — дума моя о том — не слать послов. Да и как кину я боярам народ русской? кровь отца и брата не смыта — горит на мне, волков надо накормить до сыта боярским мясом — и в Москве быть мне казнить или самому казниться, а быть!

Встал Сережка:

— Батько! в Русии не жить нам — на Дону матерые казаки жмут, тянут вольных к царю... Москва руки на Дон, что ни год — шире налагает... за зипуном итти к турчину каланчи да цепи скрозь воду, много смертей проскочить мимо Азова и ходу нет! На Волге — место узко — и Яйке, в Астрахани головы да воеводы... здесь же жить сподручно — Кизылбаша богата, место теплое, жон коих возьмем, иных с Дона уведем, семьи тоже; морем не пустят, то не один Федько Шпынь горы знает — ведаю горцев и я, а на Москву путь нам не заказан!

Встал Серебряков:

— Так, Степан Тимофеевич, и я мыслю, как Сергей твой брат!

— Соколы! а как шах с нами не смирится?

— Смирится, батько! что зорили городы, это только силу ему нашу кажет, устрашит: «не приму де козаков, разорят Персиду». Примет! Ходил я с Иваном Кондырем веком, много зорили тезиков, а Ивана шах манил, — добавил Григорий Рудаков, старик.

— Эх, соколы! надо бы претить вам, да Серега, Иван и Григорий поперечат, одни мы с Петрой за правду — ну, кого же брать к шаху?

— А то жеребий! — крикнул Сережка.

— Ждите! Сколь людей наладить, из казаков ли то, или из есаулов?

— Казаки ни што скажут — из есаулов!

— Ладьте, ежели жеребий двум! больше не дам, дам третьего в толмачи из тех персов, что без полона добром пришли служить мне... говор наш смыслит, речь, шаху перескажет, того и буде! тебя, Петра, болящего не шлю, в жеребий не даю...

— Ставь и меня, батько! на бой я долго не гож, може навсегда, а сидя на месте смерть принять хуже, чем за твою правду.

— Вишь вот, други! Петра мекает, что у шаха — смерть... надо послать людей маломочных — сгинете вы, удалые советчики, мое дело будет гинуть. Тут еще сон видал не хороший, не баба я — снам не верю, только тот сон не сон — явь будто?

— А ну, батько! какой тот сон?

— Скажи, Степан Тимофеевич!

— Да, вот... лежа с открытыми глазами видел, что свещник у меня возгорелся, а свечи в ем, что посторонь середней одна за одной зачали гаснуть... иные вновь возгорались и меркли — долго то длилось... потом одна середняя толстая осталась и свет тое свечи кровав был...

Лазунка сказал:

— Тут, батько, Вологженин, чует он тебя, сны хорошо толкует — гей, дедко!

Из угла ханской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой под мышкой.

— Ты чул, дедко, сон атамана? толкуй! — приказал Сережка.

Разин велел дать старику вина.

— Пей и не лги! правды, сколь ни будет жестока — не бойся.

— Того, атаманушко, не боюсь! ведаю, справедлив ты, что посмыслю — скажу. — Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: — Кровава свеща — сам атаман, свещи посторонь те, что ближни ему боевые люди — один пал, другой возгорелся...

— Вот, ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху, что значит, дидо, огонь мой кровав?

— То и младеню ведомо, атаманушко! кровью гореть тебе на Руси... свет твой кровавой зачнет светить скрозь многи годы... ты не дождался, когда потухл он?

— Нет, старик!

— Вот то... и ежели в тебе сгаснет — в ином возгорится твой свет...

— Добро, старой! пей еще, сказал так, как надо мне, знаю — боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде... на той дороге, кровавым огнем будет светить, через годы, ино столетия наша правда!

Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:

— Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.

— Эй, Иван! а шах тебя замурдует? Ведь легше мне ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли... я глазом не двину, коли надо спасти тебя — дам отсечь руку.

Рудаков поклонился, сказал:

— А все ж спусти!

— Без жеребья не налажу, Иван!

— Сергей! мечи жеребьи.

— Лазунка, черти! итти Ивану, Григорею, Петру ставить ли, батько?

— Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.

— Петру итти, Михайлу, Сергею, Лазунке.

Разин, хлебнув вина, сказал:

— Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь!

Сережка ответил:

— Ништо, батько! даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.

Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда сказочника.

— Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пущай судьбу пытают.

— Пустая! пустая! еще пустая! — Серебрякову итти! Пустая, пустая, а ну — пустая! Мокееву Петру итти!

— Вишь вот, кто просился, тот и покатился, — сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи: — Что, батько? я еще гож на твою правду! Сказывать се буду ладом — одно лишь, шаху не верю, Московской царь Ирод, Перской — сатана! един другого рогом подпирают, иду, Степан Тимофеевич.

— Эх, Петра! — Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: — воли вашей, соколы, не поперечу... — поднял голову: — чуйте! о бабах кизылбаши не очень пекутся, как и у нас — княжну не помянем, пущай Мокеева Петры память со мной пребудет, но есть полоненник сын хана, Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте — обменю с придачей.

— Ладно, батько — теперь нам дай толмача?

— Того берите сами! — Кой люб и смыслит по-нашему.

XI. Шах и послы.

Колесников, дойдя до старого торгового майдана, не пошел дальше, народ толпами теснился на шахов майдан, рыжий подьячий слышал возгласы:

— Шах выйдет!

— Повелитель Персии идет на майдан!

Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами — шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, думал:

— Без дела к шаху не надо... ходит запросто не то что наш государь — наш в карете, шах будто палач, норовист по-шальному — кого зря пожалует, ино собакам скормит...

К середине площади провели нагого человека.

— А, своровал? — казнят!

Рыжий любил глядеть казнь, спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.

Бородатый палач, голый до пояса в красных запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов; оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.

— Ио! Ио! [1])

— Сэг! [2]) Заговорил как надо...— проворчал палач, выматывая из распоротого человека кишки, кидая в высунутые к нему собачьи морды.

Тощее тело, желтое, ставшее совсем тонким, как береста, скрючилось у ног палача. Сунув нож за широкий синий кушак, со лба сдвинув кулаком, чтоб не запачкать чалму, палач, еще шире скаля крупные зубы, кинул казненного будто тушу теленка на острые саженные зубья, железные, торчащие кверху из толстого бревна. На страшном гребне тело еще дрыгало, опустившись сквозь распоротую диафрагму, сердце сжималось, разжималось, белели глаза, мигая как от солнца, высунутый язык шевелился. Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко с тавризским оттенком в говоре закричал:

— Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил — «кто ты?» он же ответил милостивому нашему отцу Абасу: «человек, как и ты, шах»! Непобедимый шах сказал: «ты — собака, когда не умеешь говорить со мной!» и велел взять его... Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.

— Слава шаху Абасу! — закричал Рыжий.

Толпа молчала.

— Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!

Толпа молча расходилась...

— А, черти крашеные! не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? за то и не лезу к ему на глаза. — Рыжий пошел по майдану: — а, ну! что их клятая абдалла лжот? [3])

---

[1]) Худо!

[2]) Сукин сын.

[3]) Абдаллами русские XVII в. называли дервишей.

Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Дервиш наг, только срамные части закрыты овчиной, бородатый в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным, желтым лицом, под безрукавым цвета серого песку плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот, перс с испугом в глазах хрипло спросил дервиша:

— Отец! Поведай, сколько еще жить мне? бисмилляхи рахмани рахим [1]... Скажи?

— Аз ин китаб-э шериф мифахгмом, кэ зандэгонии ту си у сэ соль туль микяшэд! [2])

Рыжий фыркнул и отошел:

— Клятой, лгет; естество истлело, чем тут жить тридцать лет? Мне бы такое предсказал — оно ништо...

В другой толпе окруженный, но на большом просторе стоял человек, увешанный сизыми с пестриной змеями, змеи висели на укротителе, как обрывки канатов. Укротитель без чалмы — волосы и борода крашены в ярко-рыжий цвет, бронзовое тело, худое с резкими мускулами, до пояса обнажено, по голубым штанам, такой же кушак. На песке в кругу людей ползала крупная змея с пестрой головой. Укротитель ударил кулаком в бубен, висевший у кушака — все змеи, недвижимо пестрящие на нем, оттопырили головы и зашипели, ползающая по кругу тоже подняла голову, остановилась на минуту и поползла прямо в одну сторону. Толпа, давая змее дорогу, спокойно расступилась. Рыжий отскочил:

— А, как жогонет гад? сколь раз видал их и не обык!

Укротитель ударил в бубен два раза, змея поднялась на хвосте с сажень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил:

— В чем моя судьба?

— Мар михйзид суй машрик, бояд рафт Мекке бэрои хадж. Ин кисмйт-э туст! [3])

Рыжий, боясь подойти близко к укротителю, крикнул по-русски:

— Эй, сатана! Наступи гаду на хвост — поползет на полуночь с того итти не в Мекку, а к бабам для приплоду, или в кабак, на гульбу.

Не зная языка московитов, укротитель покачал головой, чмокнув губами...

---

[1]) Во имя бога милосердного и милостивого.

[2]) Из священной книги я понимаю, что твоя жизнь продлится 33 года.

[3]) Змея ползет на Восток, следует отправиться в Мекку на паломничество — это твоя судьба!

На шаховом майдане ударили медные набаты, взревели трубы — шах вышел гулять, а на торговый майдан входили трое, двое в казацких синих балахонах и третий в золоченых доспехах.

— Вот-те святая троица, Гаврюшка! Хошь не хошь, к шаху путь,— то они?

Серебряков поддерживал Мокеева, Мокеев с дубиной в руке медленно шел, сзади казак толмач из персов.

Рыжий подошел, кланяясь, заговорил, шмыгая глазами:

— Робятки! вот-то радость мне, радость нежданная... от Разина атамана поди до шаха надо?

— От Степана Разина, парень, тебе чого? — спросил Серебряков.

— Как чого? — братие, да кто у вас толмач! ломаной язык — перс? он завирает ваши слова, как шитье в куделе, замест услуги атаману дело и головы сгубите — шах человек норовистой.

— Ты-то, как тезики говорят, смыслишь? — спросил Мокеев тяжело дыша, пошатываясь, — горит утроба! да, жарко чорт его! — водушки-ба испить?

— Окромя персицкого, надо — так арапской знаю, говор их тонко ведаю, а вы остойтесь, шах еще лишь вышел не разгулялся, сядьте — толмач вам воды пресной добудет, здесь она студеная!

— Ты куды?

— Платье, рухледь обменю! к шаху пойдем — шах не терпит людей в худой одежке.

— Поди, парень! мы дождем.

На каменной скамье казаки сели, толмач пошел за водой, Рыжий юркнул в толпу.

— Начало ладное, свой объявился, по ихнему ведает — добро! обскажет толком.

— Как будто и ладно, Петра, да каков он человек?

— Справной зримо то, — жил тут и обычаи ведает — вишь сказал: «шах не любит худой одежи», а кабы не заботился, то было бы ему все едино — худа аль хороша одежа...

— Оно пожалуй что так!

Рыжий вскоре вернулся в желтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочеными кистями на концах. На голове вместо колпака летняя, голубая мурмолка с узорами.

— Скор ты, брат! — сказал Мокеев: — то добро.

— Хорош ли?

— Ладен, ладен!

— Веди коли ты нас к шаху.

— Я тут обжился и нажился с деньгой — ясырем промышляю, мне все не то улицы — закоулки ведомы — ладно стрелись — дело ваше розыграю, во!

Толмач перс молчал.

Рыжий заговорил с толмачем по-персидски.

Серебряков спросил перса:

— Хорошо наш московит знает по-перски?

— Карашо, есаул! очень карашо!

— Тогда он будет шаху сказывать, ты пожди, да поправь, что солжот про нас... У тебя, вишь, язык по-нашему не ладно гнется, нам же надобны прямые словеса.

— Понимай я! — ответил толмач.

* * *

Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубая чалма на голове шаха, перевитая нитками крупного жемчуга, красное перо на чалме в алмазах делали еще бледнее бледное лицо шаха с крупной бородавкой на правой щеке, с'впалыми, злыми глазами. По ту и другую сторону шаха стояли два великана телохранителя с дубинами в руках. В стороне среди нарядных беков слуга держал на серебряных цепях двух собак — породы гепардов — помесь леопарда с собакой. Собаки гладкошерсты, коричневы, в черных пятнах, морды небольшие с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные, прямые — отличие быстроты бега...

Рыжий шепнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему:

— Зрите в лицо шаху! шах любит, чтоб на него как на бога глядели...

— Чуем, парень!

Было очень тихо. Шах начинал говорить, но обернулся к бекам:

— Зачем даете шуметь воде?

Шум воды прекратился. Фонтан остановили. Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным, тихим голосом:

— Бисмилляхи рахмани рахим! Люди мои, разве я не даю вам свободу в вере и торге? Я всем народам царства моего даю молиться как кто хочет! У мечетей моих висят кумиры гяуров — армян, русских и грузин, разве я разбиваю то, что они называют иконой? нет! правоверным даю одинаковое право — шиитам и суннитам, пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, они сами враждуют между собой, мне же распри их безразличны!.. я не спрашиваю у вас — посещаете ли вы мечеть, как творите намаз? Я знаю — что вы платите при разводах абаси на украшение моих Кум [1]) — того мне довольно. Или вам в торге мной не дана свобода? торгуйте чем хотите, — я не мешаю — если вы жон своих продадите в рабство — то ваше право!

А вот когда шах призывает играть грязью и водой — игру, которой тешились еще предки мои властители Ирана, мой дед Абас первый победитель турок, завоеватель многих городов Индии, и я шах Абас второй вижу, что иные из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их

---

[1]) Священное место, кладбище шахов.

разорят... Так вы жалеете для шаха тряпок? берегитесь! я буду травить собаками или давать палачу всякого, кто пришел играть в старой одежде. Помните лишь: шах прощает наготу и нищету только дервишам, но не нам! также есть, кто говорит со мной грубо, не преклонив колени — того казню без милосердия!

Толмач тихо переводил слова шаха Серебрякову. Мокеев, прислушиваясь, сказал:

— Вишь, Иван! наш московской сказал всю правду про шаха, а мы-таки запылились в пути?

— Перво все же пущай наш толмач говорит, Петра!— Серебряков, обратясь к Рыжему, прибавил: — паренек! Наш толмач скажет, а там уж ты.

— Ныне казак, как захочу — шею сверну, или с дороги поверну... хо!

— Нам спокойнее — наш!

— У вас сабли востры — у меня язык! — Рыжий, шмыгнув по толпе глазами, сказал: — Ужли Акимко дьяк зде?

— Кто таков?

— То не вам — мне надобно! без сатаны место пусто? — пришел курносой...

Бывший дьяк был в толпе, но на вид не выходил.

— Выйди ближе — я тя обнесу перед шахом!

— Ты и нас обнесешь? — спросил Серебряков.

— С чего? я узрю, как лучше.

Серебряков выдвинул вперед толмача, сказал:

— Молви — послы от атамана!

Толмач, выйдя, преклонил колено, прижал руку к правому глазу.

— Великий шах! К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья прислал своих козаков просить о потданстве атаман Степан Разин.

— Тот, что разоряет мои города? Беки! отберите у них оружие.

Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмачу:

— Пусть отдадут сабли и, если есть пистоли, тоже передай нам!

Серебряков и Мокеев, вынув, отдали сабли.

— Пусть тот отдаст дубину! он — посол, дубина надобна только великого шаха слугам.

— Не дам! паду без батога — скажи им толмач.

Толмач перевел слова Мокеева, шах спросил:

— Чего тот в доспехах кричит?

— Хвор он! сказывает, падет без палки.

— Пусть подходит с палкой!

Мокеев, Серебряков и толмач вышли вперед. Серебряков, как указал толмач, преклонил левое колено.

— Приветствуем тебя, шах!

Толмач перевел, прибавив слово «великий».

— Много вы разорили моих селений и городов?

— Те разорили, кои на нас сами нападали, — ответил Серебряков.

Шах метнул больными глазами на Мокеева, крикнул:

— Зачем не преклонил колен и головы?! он знает мою волю.

Толмач перевел. Серебряков ответил:

— Шах! ему не подняться с земли, преклонив колени, он — хворобый.

— Пущай лежа сказывает, что надо ему? зачем шел хворый? — заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера скороходам.

— Поставьте козака на колени, не встанет — сломайте ему ноги, он должен быть ниже!

Великаны, оставив посохи, подошли к Мокееву.

— Што надо?

Толмач перевел есаулу волю шаха.

— Хвор я, да кабы едрен был не встал, от того царя на Москвы глядеть не мог — не в моем обычае-то...

Видя, что Мокеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взялись за плечи. Мокеев двинул плечами, рукой свободной от палки — оба перса отлетели, один упал под ноги шаху. Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся, сказал:

— Вот он какой хворый? хо, хо!.. каков же этот козак был здоровым, и много ли у Разина таких?

Толмач быстро перевел, Мокеев крикнул:

— Все такие! и вот ежели ты, шах, не дашь нам селиться на Куре, не примешь службы нашей тебе головами, то спалим Персию огнем, а жителей продадим турчину ясырем!

Серебряков сказал тихо:

— Петра! так губишь дело — не те словеса твои...

— Вишь он нахрапистой, все едино, что говорить!

Серебряков приказал толмачу:

— Переведи шаху вот, а не его слова — «много нас, шах, таких, как я! — будем ему служить верно и честно, если даст место на Куре реке».

Толмач перевел.

Шах ответил:

— Погляжу еще на вас? может быть прощу разорение Дербента и иных селений... я верю, знаю, что они храбрый народ! такие воины нужны Персии.

Из толпы вышел седой военачальник Гилянского хана, преклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо:

— Великий шах Абас! Эти разбойники в Кюльзюм море утопили, сожгли корабли и бусы повелителя Гиляна, его убили, взяли сына в плен, держат до сих пор — благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей.

Шах нахмурился, спросил строго:

— Встань, Али Хасан!

— Чашм! [1]) Солнце Персии, — старик встал, склонив голову.

— Скажи мне, визирь моего наместника — сколько есть повелителей в Персии?

— Единый ты, великий шах! — ответил старик.

— Да, только я, один шах Абас второй повелитель! Убитый козаками наместник присвоил себе имя повелителя и горе ему! Вас всех приучил к этому слову... завел двор, жил хищениями. Он так зазнался, что стал самовластным — не дожидаясь моего указа, кинулся в море на них! — шах указал рукой в сторону Серебрякова: — и думаю, хан мешал тебе, старик? ты вел корабли, позорно бежал от сечи.

— Великий шах Абас! хан перед битвой отнял у меня власть, он сам приказывал битве, я же, усмотря, что гибель кораблей неизбежна, увел три бусы, спасая людей.

— Али Хасан! что еще сказать о хане? меня замещал словом повелитель! тебя, старого военачальника, сместил? за гордость свою был достойно наказан, и еще: хан без моего ведома сносился с горцами — он опасен!

Смутно понимая, что говорят о Гилянском хане, Серебряков склонил голову и левое колено.

— Шах! Гилянский хан сам напал на наши струги.

Также прибавив слово «великий», толмач перевел:

— Козаки! за хана Гилянского не осуждаю вас.

Выступил Рыжий. Преклонив перед шахом оба колена, сняв мурмолку, затараторил по-персидски:

— Великий государь всея Русии, великие, малые и белые самодержец Алексей Михайлович послал меня, холопа своего, к величество шаху Абасу челом бить, справиться о здоровьи и грамоту от государя передать!

— Встань и дай! что пишет царь московитов ко мне, повелителю Ирана?

— Погубит нас — тот! — тихо сказал толмач Серебрякову.

Мокеев услыхал.

— Тебя, парень толмач, зависть берет?

— Петра! толмач правду молыт, я это чую...

Шаху Колесников читал бумагу по-персидски, начиная с величания царя:

— «А чтоб не было розни между государствами и многой помехи торгу, то пишу я тебе брат мой величество шах Абас второй: изымай ныне шарпающего твои городы вора атамана Стеньку Разина, дай его мне на росправу, на Москву... Грабитель оный Стенька Разин столь же опасен как нашему русскому царству, также и тебе, величество, шаху потданным!»

Шах накрыл бумагу рукой, прекращая чтение, сказал:

— Кто опасен мне — знаю, а что торговля падет, то не моя о том печаль! мои подданные исправно платят подати, а иное купцов забота...

---

[1]) Глаз! Но понимается: Слушаюсь!

думаю я, взять казаков в потданство, куда их селить. — Увижу!.. хочешь, то передай это своему царю, да скажи: указать мне не волен никто!

Рыжий, свертывая бумагу, подумал:

— Сей же день отписку! «в посольском де приказе дьяки нерадиво пишут — на письмо шах зол».

Он поклонился, не надевая мурмолки и не уходил. Шах был гневен.

— Хочешь говорить? скорей и уходи с глаз!

Рыжий ткнул свернутой грамотой в сторону Мокеева.

— Величество, шах Абас! Вон тот вор — дознал я, убил в Дербени твоего визиря Абдуллаха, братов его и сынов, а дочь, зовомую Зейнеб, имал ясырем, дал необрезанному гяуру, атаману вору, в жоны!

— Как, Абдуллах убит? — шах повернулся к бекам, те, склонив головы, молчали,— и вы до сих пор не известили меня о его смерти? да... Теперь я знаю, беки, как ненавидели вы его — он был горд с вами! Тот убил? эй, вы! — шах ткнул рукой в сторону Серебрякова с толмачем, — отпускаю, — мира с атаманом не будет! того — гепардам. — Шах погрозил кулаком Мокееву и, крепче сжимая кулак, махнул слуге, — спускай!

Слуга, отстегнув цепь, гикнул, бросил к ногам Мокеева кинжал — знак кого травить, гепарды рыкнули, кинулись — один спереди, другой сзади впился есаулу в шею. Переднего Мокеев ткнул дубиной — собака отползла скуля, роняя на песок из носа кровь. Другая висела, сжимая пастью, царапала кошачьими когтями колонтарь.

— Посулы от сотоны?..

Кинув дубину, Мокеев согнулся, по шее спереди текла кровь, не давало дышать. Есаул достал гепарда рукой, с кусками тела сорвал и перекинув через голову, стукнул о землю, придавив собаку ногой, нагнувшись поднял животное, кинул к ногам шаха:

— Тебе, чорту, на воротник!

— Гепардов дать! — шах вскочил; лицо его из бледного стало серым, на щеке синим налилась бородавка, красное перо замоталось на чалме.

Серебряков сделал шаг вперед, склонив колено:

— Шах, товарищ хвор! его обнесли — не он зорил, много казаков зорило Дербень!

Толмач быстро перевел, а на песке издыхали любимые гепарды шаха. Шах был гневен, — поверив одному, ничему больше не верил — взвизгнул, потрясая кулаками:

— Хвор — ложь! дать гепардов! во всем моем владении нет человека, кто бы таких могучих зверей задавил, как щенков. Ложь! берегись лгать мне!

Беки с оружием придвинулись к шаху, охраняя его и давая дорогу собакам — от рычания гепардов толпа шатнулась дальше вспять.

Четыре таких же рослых, как леопарды, собак, молниеносно, наскочив рвали Мокеева; не устояв на ногах, он обхватил одного гепарда и задавил. Шах сам гикал визгливо гепардам, топал ногой. В минуту

на песке, дрыгая, подтекая кровью, сверкал на солнце замаранный колонтарь — у есаула не было ни ног, ни головы. Не далеко вытянулся задушенный силачом гепард с оскаленными зубами, да валялась смятая запорожская шапка. Затрещал рог — собаки исчезли.

— Видел? Скажи атаману, как я принял вас! Пусть отпустит дочь Абдуллаха, или я отвезу его в железной клетке к царю московитов, бойся по дороге обидеть людей, или с тобой будет то же, что стало с тем.

Голова с седой косой военачальника Гилянского хана низко склонилась:

— Непобедимый отец Персии! вели сказать мне.

— Говори!

— Не надо отпустить живым этого посланца — он, я по глазам его узнаю, — древний вождь грабителей, имя его «Нечаии», его именем идут они в бой...

— Того не знаю я, Али! он вел себя, как подобает, мое слово сказано — отпустить! А вот если хочешь быть наместником Гиляна, тебе я даю право глядеть, как будут строить флот, вербуй войско и уничтожь или изгони казаков из Персии.

Толмач опасливо и тихо перевел слова шаха Серебрякову.

— Чашм [1]), солнце Ирана!

— Рече делать — итти надо, парень!

От фонтана толпа медленно шла на шахов майдан, в толпе шел Рыжий, желтея атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтоб не выгорала. Лицо предателя было весело, глаза шмыгали, он, подвернувшись с левой руки к Серебрякову, крикнул:

— Счастливы воры! мекал я — величество всех решит!

— Блядослов! — громко ответил есаул,— кабы пистоль, я б те дал гостинца, да вишь и саблю не вернули.

— Толмач! поучи чорта персицкому — пущай уразумеет, что сказал шах — «за обиду — смерть!».

Шутил, удаляясь, Рыжий:

— Эх, Гаврюха!.. ловко сказал, лучше посольской грамоты...

Скоро итти в толпе было трудно. Колесников шел в отдалении, но в виду у казаков. Справа из толпы к Серебрякову пробрался бородатый, курносый перс, шепнул:

— Обнощика спустили? стыдно, козаки!

— Да, сотона! от руки увернется, пистоля нет.

— А, ну — на щастье от Акима Митрева дьяка — вот! заправлен, — курносый из-под полы плаща сунул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой.

— Вот-те спасибо! земляк ты?

— С Волги я — дьяк был! — прячь под полой!

— То знаю!

---

[1]) Слушаю — а точно: чашм — глаз.

Бывший дьяк исчез в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей, незаметно придвигаясь к Колесникову. Рыжий был не далеко — не целясь есаул сверкнул оружием, толпа раздалась вправо и влево.

— Прими-ко за Петру!

Рыжий ахнул, осел роняя голову, сквозь кровь идущую ртом булькнул:

— Дья... дья... дья... — сунулся вниз, договорил: — дьяк!

Из толпы кинулись к Рыжему. Серебряков придвинулся, взглянул.

— Нещастной день пал! Да вишь собаку убил, как надо?

— Ио, Иван! иншалла...[1]) дадут нас гепардам, бойся я...

— Дело пропало, Петру кончили — я, парень, никакой смерти не боюсь.

Серебрякова с толмачем беки привели к шаху. Кто-то притащил Рыжего, лежал на кровавом песке, где только что убрали Мокеева. Серебряков бросил пистолет.

— Хорош, да ненадобен боле!

— Тот, седые усы убил!

Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военачальник Гилянского хана сказал:

— Теперь, солнце Персии! серкеш исчезнет в Кюльзюм море как дым.

— Али Хасан! этот старой козак воин — с такими можно со славой в бой итти.— Серебрякова спросил, указывая на Рыжего: — он ваш и вам изменил? я верю тебе — ты скажешь правду!

— Шах! то царская собака — у нас нет таких.

— Убитого обыщите!

Беки кинулись, обшарили Колесникова и кроме грамоты не нашли ничего.

— Может быть, убитый — купец?

Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пестром кафтане, в зеленой чалме, преклонив колено, сказал:

— Великий шах! убитый не был купцом — я знаю московитов купцов всех.

Шах развернул грамоту Колесникова, взглянул на подписи и печать.

— Здесь нет подписи царя московитов! ее я знаю, убитый подходил с подложной бумагой? Беки, обыщите жилище его — он был лазутчик! — Взглянув на Серебрякова, прибавил: — Толмач! переведи козаку, — что совершил три преступления: мое слово презрел — не убивать, был послом передо мной — не отдал оружия и убил человека, который сказал бы палачу, кто он?

Толмач перевел.

— Шах, умру! не боюсь тебя.

---

[1]) Ио — худо. Иншалла — если захочет бог.

— Да, ты умрешь! эй, дать козака палачу — не пытать, я знаю, кто он! казнить.

Серебрякова беки повели на старый майдан. Есаул сказал:

— Передай парень — умерли с Петрой в один день! пусть атаман не горюет обо мне — судьба! доведи скоро: «сбирают де флот, людей будут вербовать на него... делать тут нече, пущай вертает струги на Куму реку или Астрахань».

— Кажу, Иван! ио алла [1]).

(Продолжение следует).

---

[1]) Ио алла — вроде: Боже мой!

Гиперболоид инженера Гарина.

Алексей Толстой.

Книга вторая.

Сквозь оливиновый пояс.

(Продолжение).

31.

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта Аризоны в прозрачную воду. Три смугло-красных матроса, датчане, никогда не поминавшие о своем прошлом, соскользнули по канату на банки, подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила, — все еще глядела рассеянным взором на меловые, зыбкие от зноя, очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на неподвижные в этом мареве кущи парков и садов, на голубую, как край облака, вершину Везувия. Струя дыма поднималась из его усеченного кратера, растворялась в лазури. Предместья, — виллы, парки, пустынные камни погибшего Геркуланума, узкая черта береговых песков, — серпом уходили в море. Было безветрено и зеркально.

Множество лодок висело в воде, лениво двигалось по заливу. В одной, стоя, греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеля Анджело. Седая борода падала на изодранный в заплатах темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщевая сума. Это был известный всему свету Пеппо, нищий. Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта пачку сто-лировых бумажек. Сегодня он снова направлял лодку к Аризоне. Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Ах, все это ушло невозвратно. Никто же больше не плакал счастливыми слезами, глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта Аризоны, поднял великолепное, как медаль, морщинистое лицо свое с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски:

— Пеппо, отгадай, — чет, или нечет?

— Чет, сеньора.

Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная сеньора, — величественно сказал Пеппо. Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет в лодке старый нищий, ответит, — чет, — все будет хорошо. Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле Сплендид — засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга»... Выбора не было.

Зоя спрыгнула в шлюпку, Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Неаполя полетела навстречу, — дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улички ступенями в гору, полуголые ребятишки на них, женщины у дверей, рыжие козы, вывески сомнительных кабачков, устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети, раскинутые на гранитных цоколях.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху по ступеням полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики в соломенных шляпах. Полуголые мальчишки кувыркались под ногами, прыгали в глаза, завывая просили сольди у прекрасной форестьеры. Янсен свирепо выпятил челюсть.

— Сплендид, — сказала Зоя, садясь в коляску.

32.

У портье гостиницы Зоя спросила — нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль. Ей подали радио-телефонограмму без подписи: «ждите до субботы вечера». Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил — музей. Пошли бродить по пустынным и пыльным залам. Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки в старомодных рамах нелепым красавицам Возрождения, — они навьючивали на себя высокие корсеты, несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на изломанные статуи, камни с надписями, на детскую порнографию помпейских фресок. Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вином и вареной бараниной, не торопливо целовались с толстыми и добродетельными женщинами, гордились благородством, мускулами и храбростью на войне. Они с уважением волочили за собой свое прошлое, прожитые века. Они

не знали, что такое: делать сто километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, сколько и не стоил весь древний Рим), — выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли сок наслаждения...

— Янсен, — сказала Зоя. (Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость.) Янсен, мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала за плечи Янсену голую, прекрасную руку и танцовала шими и фокстрот с ничего не выражающим лицом, полузакрытыми веками. На нее бешено обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый!.. А умна!.. А шикарна!..

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью, — на яхте, или в гостинице?

Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

33.

Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, усмехнулся скверно бритой черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какие-нибудь новости?

— О, никаких, синьора.

Зоя сказала Янсену:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело болтать — я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, улыбнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил, — так велела она. Откинувшись представлял:

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый, суконный плащ... Не спеша, как всегда, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится, — таковы женщины... Приятно помучить, — пусть подождет... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столике... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...

Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть так влюбленным в женщину... А вдруг, она передумала?

Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен, — проговорил Роллинг скрипучим голосом, — благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть, — одними губами произнес Янсен. Роллинг сильно изменился за этот месяц, — лицо его почернело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, — карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками... «Левой — в висок, правой — наискосок в скулу, и — дух вон из жабы», — железные кулаки у капитана стали наливаться злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни она на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на Аризоне, — сказал Роллинг.

Янсен повернулся, взял со стола фуражку, надвинул глубоко. Вышел. Вскочил на извозчика: — «на набережную!» — Казалось, — каждый прохожий усмехался, глядя на него: — «что, надавали по щекам?» — Кинулся в шлюпку: — «греби, собачьи дети!» — Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: — «хлев на палубе!» — Заперся на ключ у себя в каюте, бросился на койку.

Мужчине и моряку, — разорви сатана, холера, чума, дырявая посудина, дерьмо, рвань кошачья, гнилоглазая собака (этот набор, проносившийся зигзагами в морском мозгу капитана, относился, видимо, к Роллингу), — потомку викингов слишком было трудно вынести сегодняшнее приключение. Хозяин дал под зад коленкой,—не лезь к чужой любовнице.

Янсен тихо рычал. За небольшое время переменил несколько самых противоречивых решений. Но было ужасно: плюнуть, покинуть Аризону, не видеть больше Зои он не мог.

Ровно через час послышался оклик вахтенного и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх.

Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив его так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару, — маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем изящество Аризоны и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачт и рей горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой, — понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Лямоль пожелала остаться на берегу, — сказал Роллинг, — это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может весь завтрашний день. Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав он поднес руку к свету из открытой двери каюты...) Э, так вот... Вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, она была исцарапана в кровь тремя следами от ногтей...) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне. Когда он поднимется на борт. Все. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... Иными словами она ждет его? Нет, — а свежие царапины на руке хозяина? Что-то случилось... Разумеется — вздор, — оставить мадам Ламоль на берегу, самому дожидаться на яхте какого-то дурака... А вдруг, она лежит в гостинице с перерезанным горлом? Или — в мешке на дне залива? Эти миллиардеры не стесняются...

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию, — чудовищный взрыв на германских заводах Анилиновой Компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Маэстро Беллини, знаменитый скрипач, состоявший на постоянном жалованьи на Аризоне, его акомпаниатор, солидный немец Шварц, и беспредметный художник венгерец Титто, о котором Зоя за всю поездку ни разу не вспомнила — много ели, хорошо пили и шумно спорили о причинах взрыва. Шварц уверял, что это работа американцев. Помощник капитана сказал:

— Вздор. Просто нашему хозяину адски везет. На гибели Анилиновых заводов он заработает столько, что купит всю Германию вместе с патрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. А наше дело сторона. Пью за хозяина.

Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и догадки о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, высокий котелок и золотые передние зубы. В «Экзельсиор» на первой странице — фотография Аризоны и в овале — прелестная голова мадам Ламоль. Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидал Роллинга на верхней палубе, в кресле. Хозяин за кем-то следил. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти (тропический), фуражку, башмаки, бумажник и револьвер завязал в резиновый мешок. Пробили склянки, — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его с ушедшей в плечи головой казался не живым, — он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

34.

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефон и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, — крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки, поддергивал лихо выглаженные светлые брюки. Курить он, все же, не смел: Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять высшую вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных победах в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить — не привели ни к чему.

— Все равно, — сказала Зоя, — так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги.

— Я выбью окно, закричу, когда на улице будет много народа.

— Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света — на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно, не «рыпайтесь».

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше — лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению Зоя, на этот раз, послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась в подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку:

— Устала, пусть будет, что будет, — проговорила она тихо и опять зевнула. Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, — привалился к косяку. Видимо — решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ, — тугой замок неожиданно заскрипел. Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Кто!?». Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась зубами в его руку, с наслаждением прокусила кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихивая ее ногой вглубь комнаты, силился закрыть дверь. Но что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь всей тушей. Но его ступни продолжали скользить по паркету, — дверь медленно растворялась. Он торопливо зарылся в заднем кармане, вытаскивая револьвер, и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар, — тяжестью корпуса на вытянутую левую и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Он весь еще танцовал после работы.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсен, как можно скорее — на яхту. Мы опоздаем.

— Вам возвращаться на яхту?

— Я объясню все по дороге. Умоляю.

Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсен. Самое страшное впереди. Только вы один можете мне помочь...

— Хорошо. Едем.

35.

— Извозчик, гони, гони во-всю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ...

— Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу... Открывается дверь и — передо мной Роллинг... Но я знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он — здесь, — значит для него, действительно, вопрос жизни или смерти... Теперь я знаю, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку!.. Я ему наговорила слов.. Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура... Вино, танцы... Да, да, милый друг, — когда хочешь бороться, добиться большого, — глупости нужно оставить... Через две, три минуты он вернулся. Я говорю: объяснимся... Он: — «моя дорогая», — это — наглым голосом, каким он никогда не смел со мной говорить, — «мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу»... Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина, — с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость... Но, какой трус... Снес четыре оплеухи... Стоял с трясущимися губами, весь белый... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодяй, негодяй!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга идиосинкразия к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка, — тот стоял все время за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло, Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Мне оставалось только успокоиться и размышлять. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастьи... Если вы мне не поможете, — все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черно-маслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно в ночной тишине поднялся по сброшенной с кормы веревочной лестнице на борт Аризоны.

36.

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел от восходящего солнца.

Роллинг почти с испугом оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен,

вежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом (несколько более вежливо, чем вахтенному).

Затем, он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь было все равно. К тому же, наверно, на будущий сезон в Париже будет в моде крутить пуговицы, и портные придумают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза, — спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море — если человек утонул, значит утонул?

— Бывает, — неосторожное движение, или снесет волна, или иная случайность, — все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа.

Роллинг дернул плечом:

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, — повторяю: не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.

37.

В девятом часу к Аризоне подошла лодка. Оборванец положил весло и крикнул:

— Алло... Яхта Аризона?

— Предположим, что так, — ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт.

— Имеется на вашей посудине некий Роллинг, владелец?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи!

Он ловко бросил на палубу письмо, свистнул, защелкал языком:

— Матрос, соленые глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал — чем бы в него запустить с борта, — тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло наимоднейший фокстрот.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна:

— Что, что? Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла:

«Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев за ваши интересы, но случилось невозможное: — мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим...»

Не дочитав, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему руку.) Янсен, милый, нам нужно условиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть — неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую, — с вами будет много возни. Милый друг, это все лишнее в жизни, — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение Это страшная сила. В мужчине и в женщине возникают электромагниты Будь вы в это время на другом полушарии, — вас принесет ко мне магнитной бурей, — сломаете решетки, перешагнете через трупы, тысячу человек сделаете несчастными, разрушите ваше благополучие, — только затем, чтобы своим телом прижаться к моему. Стихия. В этом величие. Ну, а потом начинают вить гнездышко. Мужчина превращается в скучного тетерева. Фу, — как будто у нас не считаны минуты жизни. Я так же свободна отдавать себя, как и вы — брать, — запомните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над миром, — самодержавная императрица шести материков. (У Янсена дрогнуло лицо, поджались губы, Зое понравилось это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка, — понимаете вы это? — Все дело в масштабе. Я хочу, чтобы это все было мое. (Она описала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, — должен прибыть на Аризону. Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторки. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его с криво и плотно сложенным ртом было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он, — с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над водой, — вон в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на темного краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсену давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего в шестивесельной лодке.

38.

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной ширасскими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на часы над дверью.

Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначально дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного, ответ с лодки, и весь сотрясся от этого голоса: — Гарин

Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, забегали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести? На нижнюю палубу», — грузили какие-то ящики. Затем — все затихло.

Гарин попался в ловушку вместе с аппаратами. Наконец-то! Роллинг взялся всею горстью за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, думали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда, — Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи, и именно так, молча, по-собачьи.

Затем, по телефону он вызвал Янсена:

— Взяли на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и заприте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума.

— Есть, — бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко. Роллингу не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

И опять Роллингу стало неприятно, как от обидного смеха, когда какой-нибудь мальчишка-зубоскал оглянется на улице и захохочет в спину: — вот так нос! Эй, носатый, оглянись!..

На яхте началась беготня. Затрещала лебедка якорной цепи. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу Аризоны.

Разумеется Роллинг понимал, что совершает большую глупость, за которую дорого придется платить. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, непременного посетителя воскресной проповеди. Зоя измучила, окутала его мозг больным, жгучим, кровавым туманом. И он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность — искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Минуты душевной ясности были ужасны: — он точно глядел на себя со стороны, — тот, второй, слепой безумец, стремился к гибели, этот старался спасти, что было можно. Даже невероятная удача, — гибель заводов Анилиновой Компании, — прошла, как во сне. Роллинг даже не поинтересовался — сколько сотен миллионов биржи всего мира отсчитали ему в день двадцать девятого. В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь — Зоя была устранена. Между ним и Гариным никто не стоял. Роллинг опустил лоб и вышел из каюты в средний коридор яхты.

Расправа с Гариным продумана была до мелочей. Спешить — некуда. Он закурил сигару. Отворил дверь на нижнюю палубу, — там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их на кубрик.

Затем — повернул к противоположной двери, в рубку, откуда винтовая лестница вела в нижние каюты. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся: мысли были ясны, кровь текла ровно, давно он не ощущал такого спокойствия.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным сводом верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Отступив в коридор, Роллинг задохнулся. Весь порядок в голове полетел к чорту. Нос вспотел. И, что было совсем уже чудовищно, — Роллинг улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накрытый за подчищиванием бухгалтерской книги. (Был с ним такой случай лет 25 назад.)

— Добрый день, Роллинг, — сказал Гарин, вставая, — вот и я...

39.

Произошло самое страшное, — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? — еще хуже, еще глупее... Капитан Янсен предал его, — ясно. Команда не надежна...

Усилием воли (у него даже скрипнуло что-то внутри) Роллинг согнал с лица проклятую гримасу, сделал обычно-оловянные глаза:

— А! — он поднял руку и помотал ею, приветствуя, — Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Хотя я здесь не хозяин, а тоже в гостях...

Зоя ответила резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все — свои, — смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг слепо взглянул на нее:

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды, или дружбы. Есть — игра.

И он сел к столу, точно на королевский трон, — между Зоей и Гариным.

— Хорошо. Я проиграл игру. Сколько я должен платить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушнейшим смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было условлено в Фонтенебло. Вот и свидетель, — он махнул бородкой в сторону Шельги, мрачно барабанящего ногтями по столу, — в кассовые книги ваши я залезать не стану. Но на глаз, — миллиард, в долларах... Из

олониального капитала, — пустяки... Вы же загоняете чортовы деньги Европу. Миллиард — в окончательный расчет.

— Будет трудно выплатить сразу. Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем в Марселе, смогу выплатить бо̀льшую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай, — сказал Гарин, — но вы-то, старина, получите ободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, ак от глупой бестактности:

— Я должен понимать так, что вы меня задерживаете на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприосновенен. Мою свободу и мои интересы будет защищать военный флот мерики.

— Тем лучше! — крикнула Зоя, гневно и страстно: — чем скорее, м лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели осточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против ас. Я хочу этого.

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая, орская куртка с золотыми пуговичками, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои, и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу ира, и серые глаза, потемневшие от волнения, изломанные брови, прекрасное, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня, — проговорил Роллинг, — вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше:

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, — покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным, свежим ртом. Все это фатовство не внушало никакого доверия, казалось крайне не серьезным. Одна только Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка преступную волю.

— Во-первых, — сказал он и поднялся на носки, — мы не питаем исключительной вражды именно к американской национальности. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который вступится за вашу неприкосновенность, Роллинг. Во-вторых, — он перешел с носков на каблуки, — мы отнюдь не настаиваем на драке. Мы люди штатские, звон оружия нас не волнует. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право свободы, право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее, — тогда

мы оставим их в покое, по крайней мере в военном отношении. В противном случае, с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба Анилиновых заводов, я надеюсь убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он ударил Роллинга по плечу:

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватило, а все от того, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздевать биржевиков, да скупать заводы... Дешевка... А настоящего человека — прозевали...

Роллинг стал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой себя за волосы, принялся так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин перевернулся на каблуке:

— Итак, полным ходом — в Марсель. Пишите чек, Роллинг.

40.

В ближайшие дни произошло следующее. Аризона бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин и Янсен предъявили в банке Лионского Кредита чек Роллинга на 20 миллионов фунтов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На Аризоне было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток Аризона грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочее. Матросы и зеваки на набережной не мало дивились, когда к «шикарной кокотке» пошла шаланда, груженая мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишащие людоедами. Действительно, капитаном Янсеном было закуплено оружие, — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он, все же, пожелал видеть самого великого Роллинга. Его отвезли на Аризону.

Роллинг встретил его, совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа. Роллинг, закрыв устало глаза, покачал головой. Покончили на том,

го Лионский Кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальное — во ·ранках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Когда все посто-онние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен:

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал им твердым и уровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая Аризона, отправляется в чрезвычайно пасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-ибо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, кульи дети... Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются бычные премии. Всем, кто вернется на родину, дана будет пожизненная енсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Желающие могут окинуть судно.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. Маэстру Беллини, акомпаниатору Шварцу и беспредметному художнику Титто предложено было (в крайне вежливой форме) убираться ко всем чертям. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодяями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на 20 миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии...) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. Аризона взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Анилин Роллинг» — Мак Линнея. В назначенный час Роллинг, сидя в радио-рубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, 100 миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Иорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело не чисто.

Затем Аризона стала крейсировать в пустынном Караибском море. Гарин разъезжал по Америке, зафрахтовывая пароходы, закупая машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и на Балканах вербовал среди остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полицейской службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Иорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели Анилиновых заводов химическая промышленность Германии перестала сопротивляться. «Анилин Роллинг», — зна-

чилось на всех фабрикатах. Это было клеймо, — желтый круг с тремя черными полосками и надписью: наверху — «Мир», внизу — «Анилин Роллинг Компани». Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван, — в душу, — желтым кругом. Так «Анилин Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой Компании.

Миллионы усталых и невеселых людей волокли бремя безысходных будней в этом, когда-то пышном, полном слез и крови, шумном от драк и пиров и переизбытка сил, варварском мире.

Колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращалось веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кругов и кружечков, — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Германия голодала и работала, высуня язык. Англия трещала по всем швам, ее потрясали классовые бури. Во Франции подземным гулом поднимался вопль возмущения. Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право,— ударили в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Анилин Роллинг». Директора «Анилин Роллинг» вели себя, как дома в Европе, — вмешивались во внутренние дела, в международную политику. Они составляли, как бы, орден тайных правителей, где жрецами были Роллинг и Мак Линней, богом — анилин.

Вот, приблизительно, все, что происходило за август месяц. Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал — для чего все это покупается и грузится, и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Иорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября Аризона опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли восемь груженых кораблей с запечатанными приказами.

41.

Океан был неспокоен. Аризона шла под парусами. Были поставлены роты и кливера, все, кроме марселей. Узкий корпус яхты с парусами, :аполненными ветром, со звенящими, поющими вантами, — скорлупка, — о скрывался до верхушек мачт волнами, то взмывал на гребне, отряхи-ая пену.

Тент был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и :акреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны роволокой. На баке и на юте поставлены две решетчатые башни с круг-ыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые резентами, придавали Аризоне странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих надеты кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только — взять коробку спичек, да вилку за столом.

— Вот океан, — сказал Гарин, — и ничтожное суденышко, атерьялизованный кристалик человеческого гения и воли... Летим, оварищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие!... Глядите — оры.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и енился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая оверхность воды в жгутах пены. Гребень закручивался. Аризона ложилась а левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из ездны. И он, совсем ложась, показывал красное днище до киля, наконец ок по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба и шлюпки и бак, погрузилась до купола решетатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

Аризона выпрямилась, вода схлынула с палуб, кливера плеснули, она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане... Я, вот, страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?.. У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечом, не ответил. Не спорить же с этим, — влюбленым в себя до восторга... Пусть упивается, — сверхчеловек, да и только. Не даром он и Роллинг нашли на земле друг друга: — лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего рева этого воспаленного идеями человечка, — тот, в свою очередь, оплодотворяет роллингову пустыню. Мистика, кол им в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы? Дело свое он сделал, — не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы — и концы в воду. Но, нет, — что-то еще связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину, как третье лицо и страшный свидетель. Явись Гарин один в Неаполь на Аризону (ему еще не было известно, что капитан Янсен — союзник), могли случиться неожиданные неприятности. Но устранять сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Караибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался. Прислушивался. И начинали мерещиться кое-какие выходы из дрянного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, Шельга, инженер Чермак, — чех, помощник Гарина, щупленький, взъерошенный, болезненный человек с ледяными синими глазами и реденькой татарской бородкой, и второй помощник, химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско. Восьмым за столом был ксендз, поляк.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, — во фраках, с бутоньерками в петлицах, — с улыбкой передающих друг другу блюдо, Шельга, как и все — во фраке, с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом, и был похож на небогатого родственника, приглашенного для уюта на яхту. Но сосед справа однажды пустил в него четыре пули, сосед слева — убийца двух тысяч человек, напротив — красавица, бесовка, какой еще не видал свет.

После ужина ксендз садился за пианино, мадам Ламоль танцовала с Янсеном. Роллинг оставался, обычно, у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов, в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки:

— У меня к вам предложение, Шельга.

— Ну?

— Помните — мы условились играть честную партию?

— Так.

— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? — на волосок ближе — и череп вдребезги.

— Ничего не знаю...

Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой:

— Я не при чем. Может быть Вольф, или Хлынов... А жаль, что промахнулись...

— Значит — судьба?

— Да, судьба.

— Шельга, предлагаю вам на выбор, — глаза Гарина, неумолимые и бешеные, приблизились, лицо его сразу осунулось, — либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... Эту советскую усмешечку... Либо я вас вышвырну за борт. Поняли?

— Понял.

— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю, — это вам...

Гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот...

(Продолжение следует).

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких вётел
Перепельи звоны ветра.
Тихий сумрак ангел теплый
Напоен нездешним светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лих за лесом
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник
Помолись коровьим вздохам.

Сергей Есенин.

Июнь 1916.

Тени.

От тоски и забот,
От усталости плеч.
Словно кто-то зовет
Под березами лечь.

И не думать, не ждать,
Не гадать ни о чем.
Дремлет белая гладь
У меня за плечом.

В белоснежном кругу
Ясен солнечный день.
Не моя ль на снегу
Одинокая тень?

И за каждой сосной
Словно кто-то стоит.
И без слова со мной
По душам говорит.

Я не знаю, кто там,
Разгадать не могу.
И по снежным кустам
От кого-то бегу.

От кого — не понять,
Сердце бьется не в мочь.
Хорошо бы прогнать
Из-за дерева прочь.

Но в лесу — тишина,
С веток шлепает снег.
И давно уж луна
Льет серебряный свет.

Петр Орешин.

Гоголь.

В ночах, когда гудит и злится
Пурга, вздымаясь к небесам,
Когда не дремлется, не спится
Ни мертвым пашням, ни лесам,

Когда она скулит и плачет,
И подвываст, и гнусит —
На красногривой тройке скачет
Угрюмый Гоголь по Руси,

И кажется, вот-вот догонит
И перегонит бег земли.
Ушами взмыленные кони
К холодным звездам прилегли...

В ночах морозных звездной высью
Звенят поля — и звон, и грусть,
И никакой широкой рысью
Нельзя объехать эту Русь.

Вот огоньки. Ну, слава богу.
Кажись, жилье... Дымок и гарь..
И вдруг нежданно на дорогу
На встречу вырвется почтарь,

Ругнется крепко ради шутки...
И снова в снеговой туман
Рванет от полосатой будки
Любезный кучер Селифан.

И снова, как у пряхи нитка,
Звенят, жалкуясь, бубенцы,
И мчится по снегам кибитка
Во все дороги и концы.

Во все дороги... А их много ль
Легло в белеющую даль...
И призадумается Гоголь
На эту русскую печаль.

Потом опять с мечтой тревожной
На миг захочется порвать,
Чтобы слегка под шум дорожный
В простой кибитке задремать.

Но не удастся. — Снова, снова
На встречу — и снега, и грусть,
И смутный образ Хлестакова
Опять уж навевает Русь...

Опять и Плюшкин и Манилов,
И нет им счета и числа...
Какая ж дьявольская сила
Их в это поле занесла?

И сколько их тупых обличий
Век лакированный укрыл,
Вот и пройдоха городничий
И множество свинячьих рыл...

Ревут и насыпают в уши
Снега расплавленный свинец,
И уж не мертвые ли души
Катают в поле бубенец?..

Все может статься, по привычке
Опять доверившись мечтам,
Добрейший Чичиков на бричке
Уныло скачет к мертвецам...

Ах, эта дикая потеха
Так в едкой памяти свежа,
И Гоголь давится от смеха,
Весь загораясь и дрожа.

И долго под игру метели,
Смеясь, он корчится до слез,
В широкий воротник шинели
Уткнув классический свой нос...

Но вдруг опять, сверкнув глазами
И пробуравивши снега,
Он видит, как под небесами
Плывет звенящая дуга.

И звезды снова — мимо, мимо,
И бледный месяц отстает
И лишь внизу неукротимо
Пурга зловещая поет...

Она кричит, она грохочет:
«Остановись... Держи... держи!..»,
И кажется, что буря точит
Заледенелые ножи.

И кажется, вот-вот потянет
Судьба за поводья узды,
И тройка взмыленная встанет
В последнем взмахе на дыбы...

Но не покоится, не спится
Полям пылающим в снегах,
И тройка, уж не тройка — птица
Летит все дальше впопыхах...

И так неотвратимо взмыло
Коней сверкающую рать,
Что никаким свинячьим рылам
Ее уж больше не догнать.

Горбатый месяц вьется в свясла,
Снопами вяжется пурга,
Ныряет в голубое прясло
Под звезды тонкая дуга.

Поля и долы стонут, воют...
И так без меры, без конца,
Пока слегка не приоткроет
Заря стыдливого лица.

Тогда, махнув коням усталым
Широкой ласковой рукой,
Свернет ямщик на постоялый
Вкусить и отдых и покой.

И лишь седок его, скучая
Под тараканий шум и храп...
Устанет за стаканом чая
Мечтать и плакать до утра...

И перед ним промчатся грозы,
Чтоб прозвучать в холодной мгле
Сквозь видимые миру слезы
О светлом счастье на земле.

А утром каждый обыватель,
Бредя, увидит наяву,
Как мрачный Гоголь на Арбате
Сидит и слушает Москву.

Павел Дружинин.

Мудрость.

Когда утрачивают пышность кудри
И срок придет вздохнуть наедине —
В неторопливой тишине
К нам медленно подходит мудрость.

Издалека. Спокойствием блистая.
Незыблем штиль. И парус-время слаб;
Как к пристани направленный корабль
Она величественно вырастает...

Но вот пришла
И многое — на убыль.
Непостоянство, ветреность, порыв
И перламутровый разлив
Уж редко открывает губы.

И пусть потом нам девушка приснится,
Пусть женщина перерезает путь,
Мы поглядим не на тугую грудь,
Мы строго взглянем под ресницы
И пусть война...
Воинственным азартом
Не загорим. И сабли не возьмем:
Есть умный штаб. Есть штаб, и в нем
Мы прокорпим над паутиной карты.

И ждем побед.
Но в том же мерном круге
Победы ждем без ревностей глухих:
Некак — лукавую любовницу — жених,
Как муж степенную и верную супругу!

Иосиф Уткин.

Гостеприимство.

Мы любим дом — где любят.
Пускай он сыр, пускай он душен,
Но лишь бы теплое радушье
Цвело в окне хозяйских глаз.

И по любой мудреной карте
Мы этот странный дом найдем,
Где длинный чай,
Где робкий фартук,
Где равно: в декабре и в марте
Встречают солнечным лицом!

Иосиф Уткин.

К жизни.

Не дарила ты меня цветами,
Не стелила радуги дорог,
Ржавыми цепями, да ветрами
Прозвенела рано про острог.

Ворон каркал и петля кружилась
Над моей незрелой головой,
Скудной кровью наливались жилы
За стеной высокой и глухой.

Но и там, на дне моей темницы.
Где душа лежала как плевок,
Возносила светлая десница
Голубой сияющий цветок.

Видно, ты и впрямь была воловья,
Сила жизни, жажда красоты,
Если и теперь еще готов я
Славить мир до слез, до хрипоты.

Не предамся черному злословью,
О, моя возлюбленная мать,
И за хлеб твой, обагренный кровью,
Все равно не стану проклинать.

Владимир Кириллов.

* * *

Любила я многие страны,
Да все ничего нет милей,
Чем русские наши бурьяны,
Чем шелесты наших степей.
И как бы ни силился город,
Ваш город, всем равно чужой.
Чтоб мой поэтический норов
До боли натешить собой,
И как бы ни пенилось море
И розовый ирис ни цвел, —
Пою — все о скудном просторе
Соломой заплатанных сел.
Вот вижу — как крылья, взмахнули
Звонящие молнии кос...
Вот клевером пахнущий улей
И бусы березовых слез.
Вот вижу — струится тропинка,
И все-то кругом — береста,
Да слабенький шелест осинки,
Да старой сосны голота.
Пылают костры незабудок
По топким ухабам болот,
Звенит журавлей-серогрудок
Над лесом певучий полет...
Вот лошадь ведут к водопою,
Уключины важно скрипят.
И странно, что тут же вот поезд,
Где запах ромашек и мят,
Что глушь эта — тоже доступна
Для писем и грустных вестей,
Что рот земляникою крупной
Не долго цветет у детей,
Что скоро — не слишком ли скоро,
Постынет им ельник родной,
И песни их высмеет город
Частушкой своей площадной.

Варвара Вольтман.

Памяти Сергея Есенина.

Каждому дано своей дорогой
От земного плена отойти.
Вот и мы, томясь глухой тревогой,
Оставляем друга взаперти.

А потом хватаемся руками,
Словно можно задержать навек,
Если тень легла, как черный камень,
Если черный рядом человек.

Милый мой, они не знают вести,
Клены зябкие и вечер голубой.
Издавна они привыкли вместе
По-весеннему цвести с тобой.

Памятливы трепетные ветви,
Черным слухом полнится земля:
Будут в эту весну на рассвете
Сгорбленные плакать тополя.

Отзвенит полей очарованье,
Только ты, любимый, не придешь.
Будет ветра жалостное ржанье
Шевелить надрезанную рожь.

Тихо дней короткое цветенье,
Никому не миновать утрат.
Может, завтра твой расцветший сад
Тронет мертвое прикосновенье.

Всеволод Цветнов.

Человек.

Всякий раз, когда глаза закрою
В сновиденья сквозь мятель и снег
Он приходит позднею порою
Улыбающийся человек.

Облик ласковый и величавый,
Меткий глаз и выверенный шаг,
Он идет, и никнут травы,
И зверье крадется чуть дыша.

И глаза его несут раздолье,
Звездным светом светятся во мгле,
Мне тогда становится до боли
Жаль живущих на моей земле.

Наше тело хило, голос тонок,
Руки в нити можно заплести,
Мы, не вылезая из пеленок,
Десять раз успели отцвести.

На степном, размашистом просторе
Не умеем страха побороть,
Где же ты, шумящая, как море,
Человечья радостная плоть?

Всякий раз, когда глаза закрою
В сновиденья сквозь мятель и снег,
Он приходит позднею порою,
Улыбающийся человек.

О, мой гость ночной, — еще немного,
Мы такими будем, как и ты,
Только дай нам вымостить дорогу
Сквозь овраги, реки и кусты.

Погляди от края и до края —
Родниками песни льются в высь,
И вскипает добрая и злая
И такая стоящая жизнь.

Мих. Рудерман.

* * *

Есть от полыни переход
К фруктовому цветенью Крыма, —
У бурых скал и ясных вод
Жара колеблется незримо.

Здесь собирали мы вдвоем
Плоды, упавшие по склонам.
Ты в милом фартуке своем
Несла и вишни и патроны.

И мы бродили по горам,
И мы глядели в эти дали,
Где тралеры еще с утра
На крепких якорях стояли.

С площадки катера видней
Прозрачной темноты глубины, —
Сквозь празелени саженей
Плывут по водорослям мины.

Как странно знать, что здесь везде
Хранится бережно вселенной
В садах фруктовых и воде
Угроза мудрости военной.

Ник. Ушаков.

Пластун.

(Из воспоминаний пленного).

Н. Н. Толстой.

(Окончание).

Недели через две, как мы поселились на зимовьи, мы отправились туда на охоту за волками, которые каждую ночь, если не в том, так в другом табуне, зарезывали или жеребенка или молодую лошадь. Туда с'ехались табунщики всех хозяев, их было человек 150; у некоторых были ружья, у других длинные копья, колотушки, у кого арканы и укрюки [1]), некоторые привели с собой собак. Мои собаки тоже были со мной; кроме того, у меня был кинжал и аркан. Мы окружили цепью или лавой огромный остров камыша, где было главное убежище волков, и с криками начали с'езжаться к сборному месту. Сборным местом был избран Обожженый Мыс. Это был узкий мысок, который огибает глубокий и широкий рукав Кубани; на конце его стоит высокий дуб, обожженый молнией; черный ствол его был виден за несколько верст. Мы с криком начали с'езжаться к этому дубу, сперва шагом, потом, как стали показываться волки, на рысях. Боялись ли мои собаки волков, или пугали их камыши и неизвестные места, только они шли осторожно за моей лошадью. Подле меня казак с двумя дворняжками травил уже третьего волка: мне было ужасно досадно, когда вдруг этот волк вырвался у его собак и бросился под ноги моей лошади, которая сделала такой скачок в сторону, что я насилу усидел в седле. Когда я остановил лошадь, собаки мои уже повалили волка. Я слез с лошади, приколол его, опять сел верхом и поскакал догонять своих товарищей. Я догнал их уже на мысу. Несколько десятков волков еще бегали по мысу; мои собаки, ободренные первой удачей, словили тут еще трех волков, а одного я задушил арканом. Наконец, большая часть волков была перебита, некоторые только спаслись вплавь. Мы стащили убитых в кучу; их было 123 волка.

Такого рода охоты делаются несколько раз в зиму и называются лавой. Обыкновенно на лаву приезжало человек 20 хорошо вооруженных казаков и оттуда отправлялись в набег за Кубань. Они пригоняли оттуда скот — баранту, а иногда пленных. Мне очень хотелось отправиться с ними, но они

---

[1]) Шест с петлей на конце.

не взяли меня, потому что я был плохо вооружен. Зато, когда они возвращались, меня послали с добычей, а именно с барантой [1]), на Старую могилу — курган, где ногайцы пасли казачью баранту. Я шел целый день дорогой и бросил много баранов, которые не могли итти. Долго слышно было, как больные животные блеяли, как будто жалуясь; голос их часто покрывался воем волков, которые бросались на них, только что мы скрывались из вида; наконец, они до того ободрились, что на глазах у меня разорвали барана; некоторые из них шли за моим стадом шагах в ста, не более. Стало темнеть; белые тяжелые тучи нависли на темно-сером небе, как будто готовы были раздавить нас снегом, которым, казалось, они были полны. Кроме завыванья волков, которые перекликались в глухой степи и глаза которых горели, как свечи в темноте, да изредка жалобного блеяния баранов, которые шли толпясь передо мной, или унылого звона колокольчиков на шее козлов, выступавших перед стадом, ничего больше не было слышно кругом. Мне стало страшно, я боялся сбиться в темноте. Делалось все холоднее, резкий ветер дул, заметая наш след. Тучи немного прояснились, и по звездам я увидал, что иду верно; вдали слышался лай собак: аул был недалеко. Что-то черное показалось на белом снеге, это был ногаец, который выехал мне навстречу. Окликнув меня и узнав, зачем я иду в их аул, он поехал со мной. Мы подошли к краю оврага; баранта остановилась, ногаец крикнул, и баранта стала спускаться в овраг, на дне которого были разбросаны кибитки. Ногаец стал перекликаться с своими: к нему вышел мальчик с двумя собаками, он передал ему баранту, а сам проводил меня к старшине. Это был седой старик, который принял меня радушно, особенно когда узнал имя моего Аталыка: он был его кунак. Котел с чаем висел над огнем, жена его подала нам по чашке, и мы начали пить, пока старушка хлопотала около огня, приготовляя чуреки и шашлык из одного из моих баранов, только что зарезанного. Я, сороп [2]), до сих пор живший между такими же бобылями, как я, с удивлением смотрел на детей и женщин, которые хлопотали в кибитке моего хозяина. В одном углу висела люлька, и девочка, качая ее, пела длинную унылую песню про какую-то пленную ханшу. Ветер, шевеля пеструю полость, как парус поднятую над дверью кибитки, и донося до нас то лай собак, то вой волка, иногда заглушал голос девочки, но вслед за тем он опять раздавался, и слова песни долетали до меня отрывками.

На другой день мы с Али-бай-ханом (так звали старика) поехали к моему Аталыку. Я хотел просить его, чтобы он дал мне оружие, казаки хотели итти в набег после лавы, назначенной через неделю на самом берегу Кубани. Один из татар, провожавших старика, брался быть нашим вождем, это был надкуаджец [3]), гаджирет; он бежал из гор по какому-то кровному делу. Его звали Нурай; это был человек лет 20 не более, но лицо его было испорчено шрамом на левой щеке и казалось старше. Дорогой он нам рассказывал про горы, из которых он вышел уже более года и куда, видно было,

[1]) Стадо овец.
[2]) Сирота, бездомный.
[3]) Одно из горских племен; русские чаще звали их натухайцами.

ему очень хотелось вернуться. «Хорошие места Надкуадж и хорошие люди живут там, вольные люди. Здешние люди это — бараны, а тамошние люди — это сайгаки. Вольные люди, хорошие люди». — «Зачем же ты хочешь итти грабить этих хороших людей?» спросил его Али-байхан, которого брови очень нахмурились, когда горец назвал его и его людей баранами. Нурай молчал. — «Да, что тебе сделали эти хорошие люди?» спросил я. — «Да, они хорошие люди — продолжал Нурай, не глядя на меня: — там молодые не мешаются в разговор л ю д е й». Я знал, что горцы называют человеком только воина, и понял, что он говорит это на мой счет. Я хотел ответить, но он, обращаясь ко мне, продолжал: «Не сердись, ты еще молод, никто еще не обижал тебя, никто не сломал еще сакли, в которой ты родился, козы не пасутся на том месте, где стояла сакля, в которой родились и умирали все твои родные, деды и прадеды, никто не продал твоих братьев и сестер туркам. Отец и мать твои не бродят, как нищие, из аула в аул, они живут теперь спокойно в своей стороне, а мой отец, может быть, ночевал вчерашнюю ночь где-нибудь в пещере, как дикий зверь, а все за то, что я сделал то, что он делает каждый день».

— Кто о н? — «Наш князь», отвечал наш горец. — «Так вот что князья делают с вольными людьми в горах», сказал Али-бай-хан. — «За то и мстят вольные люди; за то в наших аулах чаще слышны ружейные выстрелы, чем крики баб, которые спорят у вас за курицу; за то каждый горец с 5 — 10 лет уж умеет стрелять и готов отмстить за свою обиду или убить гяура; зато русские боятся ходить в наши горы; за то мне только 20 лет, а уж три раза после того, как я встретился с жителями Нардак-аула, их бабы собирались на «сожаление» по убитым, уже несколько винтовок в Нардаке заряжены и ждут меня. Когда меня наш князь обидел, я бежал в Нардак-аул, потому что их князь в войне с нашим. Но их князь сказал мне, что до тех пор, пока не сгниют памятники на могиле тех его людей, которых я убил, мне нет места в его аулах. А мне только 20 лет», прибавил горец.

Мне тоже было 20 лет, а я еще не слыхал свиста пули и еще не был человеком по мнению горца. Мне очень хотелось быть в набеге, но я боялся, что Аталык не позволит мне. Но я ошибся; когда мы приехали и он услыхал, в чем дело, он подумал немного и сказал наконец: — «Хорошо, Зайчик, я дам тебе оружие», и на другой день, когда мне надо было отправиться, он дал мне кинжал, шашку и ружье.

«Смотри же, Зайчик, помни мои советы; я старый человек, а молодые должны слушаться старших». И я помню до сих пор, что он говорил мне тогда. «Вот тебе ружье, — говорил он, подавая мне старую винтовку. — Было время, когда во всем нашем ауле, а из него выезжало в поход за князем по 300 и более человек, было это одно ружье, которое султан прислал в пешкеш отцу нашего князя. Вот тут была золотая надпись на стволе, но она уже стерлась; на ней было написано имя султана и имя одного пророка, святого человека, который умер по дороге в Мекку. Это ружье было тогда драгоценность; старый уздень возил его перед князем, когда он ехал в мечеть, и самые почтенные старики вставали перед ружьем князя. Но нашелся один,

который не только не встал но даже натянул лук, и старый уздень упал мертвым» [1]). — «Лови, держи его, бей кровоместника!» раздалось на площади. На мне был башлык и в руках ружье князя, и никто не смел подойти ко мне; я спокойно ушел из аула и с тех пор не возвращался домой. Я никогда не стрелял из него; я не люблю ружей, я привык к луку. Но теперь, когда у всех ружья, помни, что это главное твое оружие, и употребляй его редко. Не стреляй далеко, не стреляй и близко. Когда враг близко, вынимай шашку и руби, но помни, что, когда ты на лошади, стыдно рубить по лошади: старайся попадать по всаднику и всегда руби наотмашь слева направо, тогда неприятель останется у тебя всегда под правой рукой; если он остался сзади, старайся круто повернуться влево и стреляй, пока он тоже повертывает коня. Вообще же, стреляешь ли, или рубишь, никогда не выпускай поводьев. Если ты пешком, а неприятель верхом, руби лошадь; если попадешь, она сама сбросит седока, тогда вынимай кинжал, — это последнее оружие. Впрочем, казаки лучше любят встречать баранов или скотину, чем черкесов; они ходят воровать, а не воевать. Будь только осторожен. Хороший человек должен быть всегда настороже, а в чужой стороне бойся всякого куста. Кто прежде боя боится всего, тот ничего не боится во время боя — говорят старые люди».

И много толковал он мне, отпуская меня на первое воровство. Он был черкес, а у них воровство важное дело. «Помни, что ты мой емчик [2]), не осрами меня на первый раз», говорил он мне, покачивая головой, и седая борода его дрожала, и глаза смотрели на меня с любовью, как на сына. Да, он был черкес, а любил меня, как сына. Впрочем, он, кажется, не был магометанин, он был старой веры [3]). Не знаю, какая это вера, но я много видал стариков, которые, как я, были ни магометане, ни христиане. Они были все хорошие люди, держались старого адата, были верны своим кунакам, кто бы они ни были: русские или черкесы, христиане или магометане. Если они делали зло, воевали или мстили, — и воевали и мстили они не так, как теперь они делали это оттого, что их обидели или на них нападали, а не потому что они магометане, — как теперь. Они не верили, что убить гяура — дело приятное богу. И я не верю этому, это вздор!

Ты знаешь, что я по вечерам часто сижу на горе, что за аулом. Солнце еще видно оттуда, оно как будто висит над снеговыми горами, как будто боится опуститься и потонуть в этом море снега.

А в ауле уж солнце село, мулла уж кричит, народ идет в мечеть, старики и женщины выходят на крышу творить намаз, бабы возвращаются от источника с водой, стада с шумом спускаются с гор, все шевелится, все суетится, а все кажется так мало, так мелко, что странные мысли приходят в голову. Одни только горы все так же прекрасны, так же огромны, как всегда: это потому, что их большой мастер работал, тот, который живет так высоко, откуда и горы и лес кажутся такими же маленькими, как и аул. А люди? Людей не видать оттуда; не видать, сколько и зла, которое они

---

[1]) Аталык здесь говорит о самом себе.

[2]) Питомец.

[3]) Возможно, что он был давно очеркесившийся запорожец-старовер.

делают здесь на земле, которую бог создал для их счастья. Магометане, христиане, гяуры, — бог всех сделал счастливыми. А несчастие и зло сделали сами люди. Бог не мог сделать ни несчастья, ни зла! Вот какие мысли приходят в голову, когда по вечерам я сижу на горе.

5.

Али-бай-хан тоже видел, что Аталык очень меня любит, и я заметил, что не только он, но даже и Нурай стал смотреть на меня с уважением. Все татары очень уважали Аталыка. Али-бай-хан подарил мне лошадь, на которой я приехал. Нурай обещал приехать на лаву и сдержал свое слово. Казаки согласились взять меня в набег, а его в вожаки.

По словам его, переправившись через Кубань, нам надо было итти верст 10 до реки, которую черкесы называют Куапсе, а казаки — Рубежный Лиман, и, переправившись через нее, остановиться верст за 5 до Двух Сестер [1]). Это уже было предгорье Над-Кокуаджа. Гора эта, хоть и не велика, но дорога дурна, или, лучше сказать, дороги совсем нет, надо итти лесом, потому что на дороге, по которой ездят обыкновенно черкесы, стоит их пикет. Решились выступить ночью и дневать в лесу. Нурай обещал в два часа провесть нас через гору до речки, по которой уже поселения горцев. Оттуда вверх останется, — говорил он, — верст пять до долины, где зимуют стада всех окрестных аулов. Мы дневали, как условились, у подошвы Двух Сестер в лесу. День был ясный и морозный густой иней шапками лежал на деревьях и блестел на солнце, как серебро. Снег хрустел под ногами наших коней, которые поевши овес, стояли, повесив головы и вздрагивая от холода; огонь наш чуть дымился: мы боялись разложить большой костер, чтобы не открыть себя. Сизые витютни [2]) кружились над дымом и смело садились на деревья около нас. Видно было, что человек редко бывал в этой глуши; пропасть следов заячьих, лисьих и оленьих по всем направлениям скрещивались и разбегались по лесу. — «Смотри: долгонос!» сказал один из казаков. И действительно, долгонос вился над дымом. «Видно, что здесь есть близко где-нибудь теплое ущелье; где они зимуют». — «Верстах в двух отсюда в балке есть горячий источник», отвечал наш вожак. «Зачем же ты нас не привел к нему? Авось либо там было бы не так холодно», сказал один из казаков, потирая руки. — «Туда не проедешь верхом, а пешком, ежели хотите, так пойдем».

Несколько казаков отправились с вожаком, другие остались при лошадях. Я пошел с ними. Мы шли целиком. Несколько раз мы поднимали оленей; сороки и дятлы с криком следили за нами, перелетая с одного дерева на другое. Иней сыпался с деревьев. Перейдя два перевала, мы очутились на краю балки или, лучше сказать, пропасти, на дне которой протекал источник. Густой пар, как туман, поднимался над ним; кругом чернела земля, не покрытая снегом. Мы спустились к воде и уселись на зеленой траве, которая

---

[1]) Имя горы.

[2]) Порода диких голубей.

росла по берегам. Птицы всех родов, которых мы испугали, голуби, долгоносы, фазаны, куропатки, перепела и разные птицы, которых я никогда не видал, с криком летали и вились над нашими головами, наконец, успокоились и уселись на берегу воды или в кустарниках на другой стороне балки, которая была еще круче, чем та, по которой мы спускались. Иногда на краю этой каменной стороны показывался тур и вдруг бросался вниз головой с высоты, потом вскакивал на ноги, начинал спокойно пить, или, увидав нас, как стрела, мчался по ущелью и пропадал в лесу. Все это я очень хорошо помню, потому что это новое место, новое положение мое, все это меня занимало. Я с удовольствием смотрел, как сокол, вдруг появившийся в небе, как пуля, проносился по долине и потом плавно подымался опять в небо. Испуганные птицы старались скрыться, но всегда неудачно. Он, как камень, падал вниз и всякий раз, когда опять подымался вверх, в его когтях была добыча. Наконец, я заметил, что лиса пробиралась по скалам и, свесив голову, смотрела на птиц, которые беззаботно прохаживались у самых ее ног, — и вдруг она бросалась вниз. Птицы с криком подымались, а она, схватив одну из них, опять вскарабкалась наверх и скрылась в норе. Это была чудесная чернобурая, почти черная лиса.

«Можно ли развести здесь огонь»? — спросил я вожака. — «Можно, — отвечал он: — дым смешается с паром и не будет виден». Я перешел на другую сторону и, карабкаясь по утесам, отыскал три отнорка: у самого нижнего разложил огонь, другой завалил камнями и сел с шашкой у третьего. Товарищи мои спали. Но вожак, которого верно занимали мои проделки, стал раздувать внизу огонь, и скоро тонкая струйка дыма показалась из верхнего отнорка. Нора была сквозная, но лиса долго не выходила. Я не терял терпение; кругом был снег, но теплый пар, который поднимался от источника, делал холод сноснее. Я просидел тут целый час; много передумал я в этот час. Я вспомнил свое детство, спрашивал сам себя, зачем я здесь, зачем я иду грабить людей, которые мне не сделали зла, вспомнил слова моего Аталыка, Алибай-хана, и вдруг мне приходила в голову песнь, которую пела девка, качая ребенка в колыбели. И долго старался я вспомнить эту песню про пленную ханшу и думал про эту пленную красавицу. И много мне приходило в голову таких мыслей, которых никогда прежде не бывало, да и после не бывало; только после я часто вспоминал про это ущелье. Раз я нарочно ходил из Дахир юрта (я жил тогда в Дахир юрте), чтобы найти это ущелье. Это было летом; мне казалось, что летом это ущелье должно быть еще лучше, но, сколько я ни бродил около горы, я не нашел этого места. И я вспомнил тогда сказку про заколдованное место, где жила какая-то княжна или ханша: даже теперь мне иногда кажется, что это было волшебное место или сон. Сидя над норой, свесив ноги с камня, я действительно задремал, как вдруг будто кто меня толкнул; из норы ползла лиса. Я ударил ее шашкой, она было скрылась в нору, я хотел взять ее рукой, но она проскользнула у меня между ног и побежала вдоль утеса. Кровь лилась из ее раны на снег. Вдруг раздался выстрел; лиса покатилась вниз. Казаки вскочили и с просонок спрашивали друг друга: «кто выстрелил?» — «Я», отвечал Нурай. — «По ком?» — «Вот

по ком», отвечал он, показывая на мертвую лису. Казаки, молча, переглянулись. Нурай понял, что они боялись измены. «Вот он ее ранил, — говорил Нурай;— и если бы она ушла, это был бы дурной знак». Я предложил им Нурая в проводники; они верно подумали, что и я изменник, что мы выстрелом подали знак горцам; поговорив шопотом между собой, они решили сейчас же итти далее. Нурай ехал впереди; я заметил, что тот, который поехал за ним, справляет ружье. Не подозревая ничего, я хотел сделать то же, но один из казаков подошел ко мне и, взявшись за мое ружье, сказал: «Нет, братику, давай-ка лучше рушницу мне!» — «Отдай им ружье», сказал Нурай и сам показал пример, но я не хотел их послушаться. — «За что вы меня обижаете, братики, ведь я не горец!» — «А кто же ты? Хуже горца, бродяга, не помнящий родства! А?» Я не знал, что отвечать, но ружья не отдавал. Я вспомнил слова Аталыка: «Пойми, что ты мой емчик, не осрами мою седую голову». Я готов был убить кого-нибудь из них. Наконец, один из казаков вступился за меня. Это был старый казак Павлюк. Мы тронулись, но казаки все примечали за мной и Нураем.

Пока мы шли лесом, дорога была очень дурна, снег шапками валился с деревьев, лошади вязли в снегу. Потом начали спускаться, лес стал редеть, местами видны были следы саней, на которых горцы возили дрова; наконец, мы выехали на дорогу. Она вела к хутору, огонь которого виднелся вдали; он то вспыхивал, то пропадал. Мы не спускали с него глаз. По обеим сторонам дороги стояли огромные сосны; жители Надкокуаджа почитают за грех рубить это дерево. В первый раз я видел эти красивые деревья, зеленые их верхушки, которые, как мохнатые шапки, нависли на прямые стволы, наводили на меня какой-то страх. Я вспоминал в ту минуту, когда ребенком я первый раз вошел в лес. Мы повернули с дороги направо и начали спускаться в долину; я несколько раз оглядывался назад и любовался, как луна выходила из-за горы и длинные тени сосен вытягивались по полугоре. Вдруг что-то мелькнуло между соснами. «Верховой!» закричал я. Казаки обернулись. Это был, действительно, верховой, который ехал по дороге. Он не успел опомниться, как мы окружили его. Казаки не хотели стрелять и не знали, что делать. Нурай заговорил с ним на их языке. Тот обернулся назад. Нурай воспользовался этой минутой и, вынув кинжал, ударил его так сильно в бок, что тот упал с лошади; кинжал остался в ране. Это сделалось так быстро, что я только слышал отчаянный крик умирающего, который лежал и бился на снегу. Павлюк соскочил с лошади, вынул кинжал из раны и подал его Нураю, который хладнокровно обтер его о черкеску и вложил в ножны. Раненый перестал кричать, он умер. Казаки раздели его, сняли оружие, взяли его лошадь, и мы поехали дальше. Наконец, мы спустились на речку и, разделившись на две партии, остановились. Мы были скрыты крутыми берегами реки. Нурай, Павлюк и еще два старых казака поехали осматривать местность. Ночь делалась темней; это было за час до рассвета. Мы, должно быть, были не далеко от жилья, потому что слышно было, как кричали петухи и как мулла призывал к молитве. Только что наши об'ездчики успели вернуться, как мы услышали крики пастухов, которые гнали стадо: один из них пел.

Мы ждали молча; наконец, стадо начало пускаться к речке. Мы с гиком выскочили из засады; стадо шарахнулось, подняв целую кучу снегу. Пастухи выстрелили в нас; их было двое пеших, они не могли уйти, их изрубили. Мы выгнали стадо на дорогу. Нурай с четырьмя доброконными поскакал вперед, чтобы снять пикет на дороге. Мы слышали, как поднялась тревога на долине, как жители перекликались и стреляли из ружей. Наконец, показалась погоня, но было уже поздно. Мы взогнали стадо в лес; у пикета встретили мы Нурая и наших; один из казаков был тяжело ранен, зато оба караульные на пикете были убиты. К вечеру мы благополучно догнали отбитый скот до Рубежного лимана; тут начинались камыши, и мы были безопасны. Набег наш был удачен; нам досталось слишком 100 штук рогатого скота. Только раненый наш умер, не доезжая до Рубежного лимана; зато мы убили пять человек.

6.

Я уже говорил вам, что там, где зимовали табуны, кроме табунщиков никого никогда не было; там делались эти кражи, угоны и перетавровка[1]). Многие казаки составили себе славу смелых конокрадов, так что их знали по всей линии и они сами хвалились этим; это не считалось у них стыдом. Между такими табунщиками было двое: один такой молодой — это был Павлюк, тот самый, который заступился за меня во время набега. Он долго уговаривал меня помогать ему. Сперва я не соглашался. Он толковал мне, что украсть у своего брата бедняка лошадь, которая составляет все его богатство, большой грех, *руки отсохнут*, говорил он, а что у хозяина табуна, из которого мы угоним две-три лошади, остается еще целый косяк, это его не разорит, а нам все-таки прибыль. Каждый из нас семейный дома, а пять рублей жалованья, так что хватает на табун да на горелку, а домой послать нечего. Кроме того, каждый хочет возвратиться домой, занестись хатой, жинкой, из бобыля сделаться казаком. — Я тогда был молод, и мне казалось, что он прав, а, может быть, он и взаправду прав... В каждом месте *свой* адат, у вас украсть грех, а у черкесов — нет. Только стыдно украсть в своем ауле, у своих, которые не боятся тебя, и ежели кто украдет из далека, где его могли убить или ранить, так тот почитается джигитом, молодцом. Поэтому и конокрады почитались молодцами; у них также часто дело не обходилось без крови. В ту зиму, как я жил с ними, двоих убили, а одного так избили, что он помер через три дня. Я сам помню погоню, когда нам очень плохо приходилось. Втроем мы отогнали маленький косяк в пять или шесть лошадей и гнали его через камыши. Когда услыхали погоню, мы гикнули, лошади понеслись, как птицы; пригнувшись на седле к самым гривам лошадей, мы слышали топот ног все ближе и ближе. По ровному скоку их можно было судить, что за нами гнались на свежих конях, а наши лошади начинали уже тяжело дышать. — «Смотри, что я буду делать, и делай то

[1]) Перемена клейма, чтобы украденную лошадь нельзя было опознать.

же, а нето плохо будет», закричал Павлюк и с'укрючил [1]) одну из отогнанных лошадей, которые без седел свободно и легко бежали перед нами, помахивая гривой и подняв хвост. Он на всем скаку притянул ее к себе и вскочил ей на спину; лошадь, почувствовав тяжесть седока, понеслась, как стрела, и скрылась из вида. Четыре лошади продолжали бежать перед нами; иногда они останавливались и поднимали головы и раздували ноздри, поворачивая головы против ветра. Я, воспользовавшись одной из этих минут, сделал то же (что и Павлюк) и без узды на дикой лошади понесся в степь, как ветер. Товарищу моему эта штука не удалась, лошадь, которую он с'укрючил, стянула его с седла, и он попал в руки к погоне. На другой день он не пришел, а приполз к нашей кибитке. Он был так избит, что через три дня помер. Долго скакал я по степи, вдруг лошадь моя зашаталась и упала; я слез с нее, — она была уже мертва. Я, взглянув на небо, по звездам узнал, куда мне итти к своему табуну, и пошел, упираясь на укрюк. Долго шел я по глубокому снегу. Ночь делалась все темнее и темнее, небо заволокло тучами, пошел снег, подул ветер, началась метель. Страшная вещь метель в этих камышах. Ветер ломает стебли и вместе с мокрым снегом обломки камыша бьют вам в лицо; все бело, как саван, в двух шагах ничего не видно. К счастью, со мной была бурка; я завернулся в нее и сел спиной к ветру, заметив сперва направление, в котором должна была быть наша зимовка. Не знаю, сколько времени я сидел, только когда метель прошла, солнце было уже высоко. К вечеру я пришел к нашей кибитке.

Несмотря на эту неудачу, мы с Павлюком продолжали угонять лошадей, и вот как это обыкновенно делалось. Я хорошо умел завывать по-волчьи. Казаки перестали звать меня Зайчиком и звали Волковой; лошадь, на которой я ездил, так привыкла к моему голосу, что узнавала его и не боялась даже, когда я подвывал. Мы с Павлюком под'езжали к табуну; он оставался верхом где-нибудь в кустах; я слезал с лошади, и она подходила к табуну и смешивалась с другими лошадьми. Тогда и я подкрадывался к ним и, забравшись в самую середину, начинал завывать. Косяк, услышав так близко врага, шарахался и пропадал в облаке снега, одна только моя лошадь оставалась. Я вскакивал на нее и скакал по условленному направлению на несколько верст. Я догонял Павлюка, который уже успевал отхватить косячок. С угнанными лошадьми мы бывало скачем до тех пор, пока лошади сами не остановятся. Тогда мы расседлывали своих коней, ловили других, седлали их и оставляли на ночь в трензелях и седлах. К утру эти лошади делались уже почти смирны. Таким образом, в двое суток мы проскачем с угнанными лошадьми верст 300 до границ земли Донской. Там нас всегда ждали покупщики, донцы и калмыки; они или покупали у нас лошадей, разумеется, за дешевую цену, или променивали нам своих, и мы потихоньку возвращались назад.

Одна из таких лошадей, славный рыжий донской конь достался на мою долю, но он не пошел мне в прок. В это время был в Черноморьи конноза-

[1]) Поймал укрюком на бегу; укрюк — длинный шест с петлей на конце, им табунщики выхватывают из табуна намеченную лошадь.

водчик Уманец. Его лошади почитались самыми дикими во всем Черноморье; поэтому, кажется, наследники старого Уманца и перевели этот завод. Табунщики этого косяка только ездили за ним, чтобы знать, где табун; его и не нужно было пасти, потому что в нем были такие злые жеребцы, что ни зверя, ни лошади, ни человека не подпускали к табуну. Несмотря на то, мы с Павлюком угнали в эту зиму 6 лошадей из этого табуна, когда прежде ни одна лошадь никогда не пропадала. За это старый табунщик Уманца побожился поймать меня и представить в город. Зимой это ему не удалось, зато весной я сам попался ему в руки.

Возвращаясь, мы заезжали на хутора и в станицы, где нас везде хорошо встречали, так как у нас были деньги, или потому, что все знали Павлюка, который везде гулял напропалую. — «Опять я прогулял твою долю, Волковой, — говорил он мне всякий раз, выезжая из хутора или из станицы. — Уже не говори мне ничего, сам знаю, что стыдно, да что же делать: казацкая натура такая! Уж такой характер уродился! Все отдам тебе, вот тебе бог, все отдам, только пожалуйста не говори мне ничего». Я ничего и не думал ему говорить; мне и в мысль не приходило скопить себе грошей, как говорят казаки, воровством. Я воровал коней от скуки, оттого, что нельзя было охотиться. А это тоже был род охоты: я подкрадывался к табуну так же, как после скрадал оленя или кабана; с'арканить лихую лошадь мне доставляло такое же наслаждение, как затравить лису. Но особенно мне нравилось скакать день и ночь за угнанным косяком, который вольно, даже гордо бежал перед нами, изредка забрасывая нас мелким снегом из-под копыт. Мне нравилось, что через двое или трое суток мы являемся совсем в другом краю. В это время я узнал, что на добром коне я действительно вольный человек, — «вольный каазк!» как говорят казаки. Я и до сих пор сохранил эту волю, но теперь она меня тяготит, как убитый зверь, которого тащишь на плечах оттого только, что жаль бросить. А тогда я гордился этой волей. Все меня занимало, даже станицы, в которых я до тех пор никогда не бывал. Обыкновенно заехав к какому-нибудь приятелю Павлюка, расседлав, попоив и накормив коней, я обходил всю станицу. Признаюсь, особенно занимала меня встреча с женщинами, и не мудрено. Верь или нет, только до этих пор, т.-е. почти до 20 лет, я и во сне не видел женщин. Эта мысль мне никогда не приходила в голову; да и некогда было, я всегда был занят охотой, так что, когда усталый ляжешь и закроешь глаза, то в темноте между зеленых кругов, которые бегают перед глазами, видишь или фазана, или утку, или черную морду лисы, или длинноухого косого зайца.

Раз метель загнала нас на хутор; кажется, его звали Верхнеутюжской. Табунщики, которые жили на нем, ушли в зимовье, и хутор должен был оставаться пуст, а между тем, под'езжая к нему, мы увидали огонек. — «Нука, Волковой, — сказал мне Павлюк, — подползи к хутору да посмотри, кто там, ты молодец подкрадываться». Я взял у него на всякий случай заряженный пистолет, заткнул его за пояс, условился с ним, что ежели я завою по волчьи, так опасности нет; и пополз. Когда я подполз довольно близко, я приподнял голову и увидал в отворенные сени, что в хате горел большой огонь;

несколько черных, т.-е. смуглых, людей в лохмотьях грелись перед ним. Длинные тени их чернелись на снегу; между ними несколько женщин и детей; подле хаты стояла повозка с поднятыми оглоблями, к одной оглобле был прикреплен конец черного пом. (?) одеяла, раскинутого шатром, под шатром тоже курился огонек. К повозке были привязаны две лошади, покрытых какими-то попонами. Около них ходил, с люлькой в зубах, окутанный в изорванную бурку какой-то человек с непокрытой головой; черные волосы клочьями висели у него по плечам. Он разговаривал с женщиной, которая стояла против огня; огонь освещал ее лицо, и я долго смотрел на нее. Она была очень хороша, глаза ее блестели как уголья, щеки раскраснелись от мороза, и полные, довольно толстые губы раскрывались, показывая белые зубы. Это были цыгане. Я сунул голову в снег, завыл и лежал так, пока не услышал топот лошадей. Это был Павлюк. Мы подошли к хутору, навстречу нам высыпали дети, женщины, мужчины и собаки. Цыгане обступили нас; я пошел привязать лошадей под навес, свистнул своих собак, дал им по куску сухаря, и они улеглись у ног лошадей. О корме для лошадей нечего было и думать. Я подошел к повозке, к которой были привязаны лошади наших хозяев; вместо корма там, свернувшись в клубок, лежал цыганенок под изорванным шерстяным одеялом. Одна лошадь была уже отвязана, и молодой цыган гарцовал на ней, несмотря на метель, которая делалась все сильней и сильней. Он предлагал Павлюку поменяться с ним лошадьми. — «Доволен будешь, молодой конь, ей-ей молодой! Не конь — огонь!» — кричал он во все горло Павлюку, который уже спокойно сидел в хате. Ему ворожила на руку какая-то старая ведьма, штоф водки стоял уже подле него. Я взошел и сел в угол, раскинув бурку на мелкий снег, который ветер наносил через узкое окно хаты. — «А тебе поворожить, что ли?» сказала мне довольно молодая баба; и она, взяв мою руку, начала ворожить. Я почти ничего не понимал, но мне приятно было слушать ее звучный голос, которым она говорила нараспев: «Таланливый, счастливый ты родился, соколик ты мой, и мать твоя таланлива была! Девки тебя любят». И, несмотря на то, что она прямо глядела мне в глаза, я отвечал. В это время в хату взошла и остановилась у дверей, сложив руки над головой, девка, которую я первую увидал, подползши к хутору; я чувствовал, что я покраснел. Ворожейка посмотрела на меня и на девку, улыбнулась и продолжала: «Да, да, многие чернобровые тебя любят, и казачки и паненки!». Тут Павлюк захохотал: «Ну, ворожейка же ты! Да он верно в первый раз с женщиной говорит теперь». — «Да где же это ты, небоже, жил, что и людей не видал?» спросила цыганка, выпустив мою руку и положив свою руку мне на плечо. Мне показалось, что она с таким участием спросила меня, что я почти невольно ответил ей, рассказав, что я сирота, что я ничего не видал, кроме нашего хутора. А между тем я все поглядывал на красивую девку, стоявшую у двери, мне она очень приглянулась. Она подошла в это время к Павлюку.

«Ну-ка, попляши, калмычка», сказал ей старик. И она запела какую-то женскую песню и забила в ладоши. «Ей вы, подтягивайте», крикнула она. К ней подошла еще женщина и два цыганенка, и все пели, даже баба, которая

сидела со мной, подтягивала из своего угла. Я слушал это пение и смотрел, как калмычка кружилась перед пьяным Павлюком, который из всех сил стучал каблуками по земле, приговаривая: «Молодец, девка! Гарно! Гарно, очень гарно! Ей-ей, гарно!». И действительно она гарно танцовала. Она была легка как птичка. Красный платок, повязанный через плечи, развевался над ее головой; иногда, взяв конец платка, она закрывала лицо, так что видны были только глаза, которые блестели из-под длинных ресниц. Она была очень хороша!

И вдруг она остановилась. Она вся дрожала, потом потихоньку она опустилась и села подле меня, сложив руки на коленях, положив на них голову. Она пела, уставив глаза перед собой. Между тем пляска и пение продолжались. Павлюк сам плясал, цыгане пели, но песнь калмычки была не та, которую пели цыгане. Вдруг она обратилась ко мне.

«О чем ты думаешь?» спросила она. — «Я вспомнил восход солнца, — отвечал я, — когда я был еще мальчик, я часто в кустах около хутора слушал, как все птицы криком и пением встречают день, и песнь соловья покрывала весь этот шум и звучала, как твой голос теперь». — «Так тебе нравится мое пение?» сказала она и опять запела. Через несколько времени старый цыган, который был запевалой, что-то закричал отрывистым голосом, и все замолчали, один только голос калмычки раздавался в хате. Павлюк увидал ее и шатаясь подошел к ней. Она замолчала и вышла. Он хотел итти за ней, но цыгане окружили его. «Оставь ты ее, пан ты мой ясновельможный! Она дурная, нехорошая!» говорила старая ведьма, удерживая его за руку. Наконец, его усадили, и цыгане обступили его и начали опять петь. Их уже столько набралось в хату, что сделалось душно. Худая печка дымила, дым ел глаза и ходил по комнате густым облаком. Я вышел на двор. Метель уже утихла, небо было ясно, луна блестела среди звезд как царица, радужный венец окружал ее, мороз трещал под ногами. Я лег около наших лошадей и заснул, несмотря на шум, который все продолжался в хате. Я заснул, но мне не снились ни фазаны, ни лисы, ни охота; мне снилась калмычка, красный платок ее все крутился у меня перед глазами так быстро, что я не мог ее рассмотреть; я стал удерживать его, но в руках у меня остались только клочья, а там вдали я слышал жалобный голос: Зачем ты оторвал мне руку? Гляжу — в руке у меня мертвая рука. Не успею бросить ее и сложить руки над головой, передо мной стоит калмычка и глядит мне прямо в глаза. Сон этот и вся эта ночь мне очень памятны, может быть, потому, что после, когда опять встретился с калмычкой, я часто вспоминал об ней, а может быть, и потому, что...

7.

Я заснул на рассвете, но мои собаки разбудили меня. Они сердито ворчали; какой-то цыган отвязывал одну из наших лошадей, цыганка спала со мной, прижавшись в углу сарая. Это была та цыганка, которая ворожила мне. — «Что ты делаешь?» спросил я цыгана. — «Беру свою лошадь». — «Это не твоя лошадь».— «Нет, моя, казак променял мне ее».— «Как променял?»—

«Так, променял, спроси его самого». — «Променял, променял! — кричал пьяный Павлюк, прислонясь к столбу сарая: — он правду говорит, я променял ему лошадь. Он правду говорит, а ты ничего не говори; я сам знаю, все знаю, что стыдно, только ты мне ничего не говори». И он упал. Я уложил его, одел буркой, и он заснул, повторяя сквозь сон: «Знаю, что стыдно — только ты мне не говори, ничего не говори мне!»... Цыган уехал на его лошади: я вышел посмотреть, какую лошадь он выменял. Это была пегая шкапа [1]), привязанная к повозке. На повозке сидела калмычка, на коленях у ней лежала голова какого-то нечесанного и немытого цыганенка. — «Что ты это делаешь?» спросил я ее. — «А вот сам видишь», и она продолжала своими тонкими длинными пальцами разбирать черные волосы цыганенка. — «Что он тебе, брат, что ли?» — «Нет, он такой же сирота, как я, и за то я люблю его», отвечала она. — «Так ты и меня полюби, потому что я тоже сирота», сказал я, смеясь. Но она посмотрела на меня без смеху и отвечала: «Может быть!». Я облокотился на повозку, и мы стали разговаривать. Она мне рассказала, что она взаправду природная калмычка, что ее отец не любил за то, что она не была похожа на него, и продал ее цыганам за полуиздохшую лошадь. Она рассказала мне, что она помнит еще, как будто в тумане, кибитку своего отца, где она играла с маленьким баранчиком, помнит своего отца. Он был седой старик с большим лицом, редкой седой бородой и длинной косой на затылке. Я все это помню, потому что потом часто вспоминал об этом; мне всегда казалось, что я отыщу этого старика; мне казалось, что он верно вспоминает и желеет о дочке, что он обрадуется, когда я скажу ему, что она жива, что он будет любить меня, как Аталык. Мало ли что мне приходило в голову!

Утром Павлюк очень сердился, что так невыгодно поменялся. Он уговорил меня ехать на его кляче в табун, а сам он на моей лошади поехал в ближнюю станицу; я должен был привести ему туда другую лошадь. «И тогда уж мы воротимся на зимовку, а то стыдно мне, казаку, воротиться на этой шкапе».

Я все исполнил по условию и через два дня уже ехал по дороге к станице, где ждал меня Павлюк. Направо от меня виднелась полуразвалившаяся крыша Верхнеутюжского хутора, только в нем более не светился огонек. Я в'ехал на двор; притоптанный снег и остатки костра на том месте, где стояла повозка, да и след ее и несколько наших следов, которые тянулись от хутора в степь — вот все, что оставили цыгане. Я проехал несколько шагов по их следу, потом повернул и поехал своей дорогой.

Павлюк встретил меня у ворот станицы. Мы только накормили лошадей и сейчас же поехали на зимовье. Дорогой Павлюк уговаривал меня ехать с ним в Пересыпную [2]), где жила его баба и дочь. «Там, — говорил он, — дам я тебе грошей, и ты поедешь к Аталыку, а то мне совестно будет, если ты ни

---

[1]) Кляча.

[2]) Станица на берегу Азовского моря.

с чем воротишься на хутор. Добрые люди скажут, что Павлюк тебя обманул, а я не хочу этого. Павлюк вор, мошенник, конокрад, а своего брата казака, да еще сироту, никогда не обманывал».

8.

Весною, когда снег уже сходил, и в каждом овраге, в каждой водомоине с шумом бежал ручей грязной воды, когда журавли, лебеди и гуси с криком вились по синему небу, когда жаворонки начали петь, когда показались грачи и ласточки, когда на черной земле появились голубые и желтые цветы, когда в ясную погоду уже видно было на краю небес темно-синее море, мы с Павлюком отправились в Пересыпную. Пересыпная стоит на море, а хата Павлюка стоит совсем на берегу, так что во время прилива море подходит к самым дверям хаты и уходя оставляет на пороге золотой песок и пестрые раковины, между которыми целый день важно гуляла пара белых аистов. Мне давно хотелось видеть море, и первые дни я не мог на него налюбоваться. Каждое утро я смотрел, как солнце поднималось из воды, и волны, освещенные его лучами, казались мне золотыми, голубое небо вдали сливалось с синим морем, на котором изредка, как белыми точка, показывался парус, или белая чайка качалась на волне как в колыбели, и тысячи разных птиц подымались с моря и встречали солнце диким криком, и крик этот сливался с плеском волн и шумом листьев на раинах [1]), которые отделяли нашу хату от станичных садов. На этих раинах мы сделали лабаз [2]), на котором осенью старик отец Павлюка караулил станичные сады, за что казаки давали ему три монета [3]) за осень. Я часто вечером влезал на этот лабаз. Вид оттуда был чудесный: внизу были сады, деревья, покрытые цветами, около них носились стада скворцов, и вились блестящие щуры, распустив на солнце свои золотые крылья. Из-за садов над станицей как туман поднимался синий дымок, а дальше видны были снеговые горы, за которые садилось солнце. Часто, когда я сидел на лабазе, я видел, как хозяйская дочь ходила по дорожке между заборов, по обеим сторонам которой росли высокие раины.

С неделю я уже жил у них, а еще не говорил с ней более двух раз. Раз я застал ее на своем месте на лабазе. Она сидела, свесив ноги, и глядела на море. — «Что ты тут сидишь, Оксана?» (Ее звали Оксана.) — «А ты зачем здесь сидишь по целым часам? Я тебя не пущу сегодня», отвечала она, смеясь и махая ногами.

«Ну, так я пойду ходить по твоей дорожке». — «Пойдем вместе» — и, оперишись обеими руками мне на плечи, она спрыгнула на землю и побежала вперед. Я шел за ней; вдруг она остановилась и обратилась ко мне. — «Ты скучаешь у нас?» спросила она, глядя мне прямо в лицо своими большими голубыми глазами.—«Отчего я буду скучать?»—«Не знаю, отец говорит, что ты скучаешь, и бранит меня, что я никогда не говорю с его гостем. Что я буду

---

[1]) Пирамидальные тополя.
[2]) Помост, настилка.
[3]) Монет — рубль.

говорить с тобой? Я ничего не знаю, ничего не видала кроме нашей станицы. Да и там я бываю редко; я лучше люблю гулять тут в садах или на берегу. Если ты скучаешь с нами, ступай в станицу, там тебе будет веселей». Она замолчала, подумала немного и потом вдруг спросила: «Зачем ты приехал к нам?». Я не знал, что ответить. — «Не сердись на меня, я так это спросила, я рада гостю, завтра мы пойдем вместе к обедне, ты не был в нашей церкви?» — «Я никогда не был в церкви». — «Разве ты не христианин?» — «Там, где я жил, нет церкви».—«Где же ты жил?»—«В степи»,— отвечал я и начал ей рассказывать мою жизнь так, как я тебе ее рассказывал. Она слушала меня молча, и мы проходили с ней по саду до самой ночи. Все спало кругом, даже раины спали, опустив свои серебряные листья; только море шумело, плескаясь в берег, как будто вздыхая, и звезды дрожали, глядя на нас с неба, да одно облако тихо проходило мимо месяца. Я очень хорошо помню эту ночь; с тех пор мы подружились с Оксаной. По целым дням мы были вместе; то я ей рассказывал что-нибудь об охоте, как живут звери в степи, куда улетают птицы зимой; то она пела мне какую-нибудь песню или учила меня молитвам, я твердил их за ней, не понимая.

Раз по ее же совету я пошел к священнику и просил его, чтобы он научил меня молиться. — «Да кто ты такой? — спросил он. — Да крещен ли?» Я не знал, что ему ответить. — «Где ты живешь?» Я сказал. — «Ну, хорошо, я поговорю с Павлюком». И действительно он говорил с ним. — «Охота тебе была ходить к батьке», говорил мне потом Павлюк. — «А что?»— «Да ведь ты не помнящий родства, а таких берут в москали [1]), да и мне могло достаться за тебя. Насилу я уломал батьку».

С тех пор я не ходил к священнику. Раз я пришел в церковь. Священник прислал ко мне дьякона сказать, что я не должен быть в церкви, что я не христианин, а оглашенный. Я не понимал, что это значит, но ушел; мне было грустно и вместе досадно, почему этот старик, этот батька, как звали его казаки, мог мне запретить молиться. Тогда-то мне в первый раз пришла мысль уйти в горы, и я бы непременно ушел, если бы не Оксана; мне не хотелось уезжать от нее, я даже совсем забыл, что мне надо будет ехать на хутор. Я был один на свете, совсем волен, волен как птица, и жил, как птица, там, где мне было лучше, а у Павлюка мне было хорошо, так хорошо, что я забыл даже про охоту. Иногда только, когда я видел, бегают мои собаки, по берегу, гоняясь одна за другой, я вспоминал про нее, про степь, в которой я вырос и которую я так любил, и мне становилось скучно. Но тут приходила Оксана, и я опять все забывал, слушал ее... Любил ли я ее? Я сам часто прашивал себя об этом и не знаю сам что ответить. Я любил слушать ее, когда она говорила, любил глядеть на нее, когда она молчала; мне было весело при ней, без нее я часто думал о ней и после долго помнил ее. Помнил всякое ее слово, все мои разговоры.

Раз старый дед ее сидел на лабазе. Оксана стояла против него и перебирала старые сети, которые чинил старик; один конец лежал на земле.

---

[1]) В солдаты.

а другой был на лабазе у старика на руках. День был жаркий, солнце так и пекло. Я несколько раз говорил Оксане, чтоб она не стояла на солнце, но она смеялась и, покрыв голову венком из зеленых листьев, продолжала перебирать сети. Она была чудо как хороша, я лежал в тени под лабазом и любовался ею. Вдруг за мной раздался свист соловья. — «Соловей, — закричала Оксана. — Ты любишь соловья, Волковой?» — «Да, я любил одного соловья», отвечал я и рассказал ей, с каким удовольствием, когда я был мальчиком, я слушал его каждую ночь, как я узнавал его по голосу, как любил его. Оксана смеялась надо мной, но когда я рассказал, как я ждал его, когда он улетал зимой, как я плакал, когда он раз совсем не прилетел, Оксана задумалась. Я спросил ее, о чем она думает, она не отвечала.

«А я знаю, о чем она думает, — сказал старик. — Она думает о Бесшабашном. Он тоже как соловей прилетит, поживет, да и опять отправится. А давно что-то его не видать, Оксана. А?» Но Оксана молчала. Я посмотрел на нее и увидал сквозь сеть, которой она хотела закрыться, что она вся покраснела. Часто дед, а иногда и Павлюк говорили о каком-то Бесшабашном. Мне очень хотелось знать, что это за человек, но я замечал, что Оксана не любит, когда говорят про него, и я молчал до того дня, когда священник выгнал меня из церкви. В тот день Оксана воротилась из церкви с заплаканными глазами. —«Ты плакала, Оксана?»— «Да, мне жалко было, что батюшка тебя обидел, я ходила к нему просить чтобы он тебя простил. — «Разве я виноват перед ним? Разве я виноват, что я не знаю ни отца, ни матери, что я не знаю, крещен ли я?»— ответил я с досадой. — «Не сердись на него и ступай к нему — он выучит тебя молиться, сделает тебя христианином. Он мне сейчас говорил, как нехорошо будет на том свете тем, которые не христиане. Он со мной говорил так, что мне страшно стало за тебя».

Она долго уговаривала меня итти к священнику, — наконец, я согласился Много говорил мне хорошего отец Николай, но я не все понимал, что он говорил. Он расспрашивал меня о моем детстве; я показал ему крест, который носил на шее. «Ежели на тебе крест, так, стало быть, ты был крещен, стало быть, ты христианин; тем хуже тебе отказываться от веры», говорил он и долго он толковал мне о том, что будет на том свете, наконец, благословив меня, отпустил и позволил ходить в церковь.

Когда я воротился, Оксана, видно, дожидалась меня. — «Ну, что?» — «Ничего», ответил я. — «Ты все на него сердишься?» — «Нет, я на него не сержусь, а на тебе сержусь» — «За что?» — «За то, что ты мне не сказала, что батька тебя бранил, зачем ты со мной знаешься. Правда это?» — «Правда. Он тебе говорил еще об одном человеке — о Бесшабашном», сказала она покраснев. — «Да, что это за человек?» спросил я. — «Не знаю, — отвечала она. — Он так же пришел к нам, как ты, только это было в страшную бурю ночью. Ветер так страшно дул, что мы боялись, чтоб не сорвало крышу с хаты; я сидела у окна, что к садам, и хоть я родилась на берегу и привыкла к здешним грозам, но на меня иногда находил страх, когда я слышала, как волны разбиваются о берег и как стонет море, ревет буря, и гремит гром. При свете молнии я видела, как ветер ломал деревья и рвал желтые листья

и далеко разносил их по садам. Бедные раины гнулись и скрипели так жалостно, что мне хотелось плакать. Вдруг я вижу, кто-то идет от садов к окошку. Я испугалась и отошла от окна; вдруг слышу голос: «Добрые люди! Пустите обогреться!». Я позвала деда, он подошел к окну, поговорил с ним и пошел отворить дверь. Я не могла опомниться от страха: кто такое мог притти в такую страшную ночь. Гость взошел в горницу. Вода лила с его платья; он снял малахай, баранью шапку, привязанную ремнем к голове, перекрестился и, увидав меня, засмеялся.— «Я испугал тебя, красавица. Не бойся, я добрый. Когда мы познакомимся, ты полюбишь меня!»

«И ты полюбила его?» спросил я.

«Да!» отвечала она чуть слышно и зарыдала, закрыв лицо руками. Я долго молча смотрел на нее и, наконец спросил, о чем она плачет.

«О чем я плачу? — сказала она, подняв на меня глаза. — Я плачу о том, что я его люблю, а он далеко, Бог знает где. Бог знает, жив ли. Я плачу о том, что когда мы сидим с тобой на лабазе и смотрим, как садится солнце, и ты любуешься, как краснеет небо, и горы горят, словно в огне, я думаю тогда: это значит, что завтра будет гроза, и, может быть, завтра он приедет. И мне грустно и весело вместе. Ты не знаешь его — он всегда приезжает в бурю или в темную ночь. В такую ночь, что каждый добрый христианин боится выйти на улицу и, затеплив свечку перед образом, молится за странствующую братию, он в такую ночь раза два или три отправляется в море и всякий раз привозит груз товара. Он тогда весел, смеется и шутит, и я весела при нем; а когда он отчалит и плывет к кораблю, на котором чуть виден мелькающий огонек, я сижу у открытого окна и не слышу, как ветер шумит, как дождь льется, не слышу, как бьется мое сердце. Тогда я не плачу, я вся замираю и не могу отвести глаз от этого огонька, который то пропадет, то опять загорится. — Вот о чем я плачу, Волковой!»

С тех пор я не говорил с ней о Бесшабашном. Но странное дело: я чаще стал вспоминать про наш хутор, про нашу степь, про охоту. Со мной была винтовка, которую дал мне Аталык. Я ни разу не стрелял еще из нее: тут я начал учиться стрелять. Днем я стрелял в садах витютней и голубей, а ночью караулил зайцев. Скоро я выучился так стрелять, что убивал витютня на вершине самого высокого дерева, бил зайца на бегу. Когда начался лет дроф, я почти без промаха бил их на лету. Раз я возвращался с охоты; гляжу, на берегу недалеко от нашей хаты лежит вытащенная лодка. Я понял, что он приехал; и действительно он сидел у огня. Я только взглянул на него и уже осмотрел его с головы до ног. На нем была красная рубашка, кожаные штаны, засученные до колен. Он грел перед огнем свои жилистые мохнатые ноги, на коленях у него был разостлан дорогой шелковый платок, в платке, который был разорван, лежали разные дорогие вещи.

«На, Оксана, выбирай себе гостинец: давно я у вас не был, зато много выработал в это время». Я посмотрел на Оксану; она то краснела, то бледнела и не смела взглянуть на меня. Не я один заметил ее смущение: Павлюк, молча куривший свой люльку, тоже поглядывал исподлобья на нас; один старик был непритворно рад: он, видно, очень любил Бесшабашного.

«Что ты, братику, — говорил он, трепля его по плечу, — на что нашей Оксане такие дорогие вещи?» — «Что за дорогие, дедушка, посмотрели бы вы, что здесь», ответил тот, ударив рукой по тюку, на котором сидел. — «А молодец ты, Бесшабашный! Вот выручка, так выручка, не чета твоей»,— говорил старик, обращаясь ко мне. — «Будет с меня», отвечал я, показывая на пару убитых дроф, которых, не зная что делать, щипала Оксана. «С голоду не умру». — «С голоду не умрешь», ворчал Павлюк. «Ежели бы я не прокутил то, что мы с тобой выручили зимой, так у нас больше бы было. Да я отдам тебе, Волковой, ей-ей отдам, ты только ничего не говори». — «А ты разве ему должен? Так я за тебя отдам», сказал Бесшабашный. — «Молчи, и без тебя отдам, был бы только жив я, Павлюк!» закричал он, вынув одной рукой люльку из зубов, а другой стуча себе в грудь. Несколько времени все молчали, потом Бесшабашный начал рассказывать свои похождения. Он очень хорошо рассказывал, так что и Павлюк подвинулся, чтобы лучше слушать его, и часто даже забывал сосать свою люльку и должен был ее закуривать по два раза. Я не сумею так хорошо передать, как он рассказывал; да, признаюсь, я мало и слушал его; я смотрел на Оксану, которая, вытянув шею, открыв немного рот, слушала, не сводя глаз с его лица. И много мне тогда приходило в голову всяких мыслей, да про то уж знаю я.

Было поздно, когда мы разошлись. Дед пошел на свой лабаз. Оксана ушла в кухню, я, Павлюк и Бесшабашный легли в хате. Не успел Павлюк докурить своей люльки, как Бесшабашный захрапел. А мне не спалось, Павлюку тоже: он окликнул меня. «Знаешь ли ты, что я думаю, Волковой? Я хочу завтра же прогнать этого молодца», сказал он, показав на Бесшабашного. — «За что?» — «За то, что моя Оксана очень что-то на него заглядывается».— «Так что ж, чем же он не человек?» — «Чем! А разве ты не знаешь, что он контрабандист!» И он стал мне толковать, что это значит. «Контрабандист это такой человек, который перевозит запрещенные товары».—«Так что ж,— отвечал я. — Он контрабандист да честный человек. Мы с тобой и конокрады да честные люди».— «Так вот оно как, — сказал Павлюк, — а я думал, что ты того...» Я молчал. — «Ну, так и так гарно!» сказал он, обернулся к стенке и захрапел. Я все-таки не мог заснуть. Вдруг дверь из кухни отворилась На пороге стояла Оксана в одной рубашке, босиком, с голой шеей и руками.— «Спасибо, Волковой!» сказала она. Она не спала и все слышала.

Я скоро познакомился и даже подружился с Бесшабашным. Он все уговаривал меня сделаться контрабандистом. Рассказывал про свою жизнь в Тамани, в Керчь-Еникале, в Одессе. — «Вот жизнь, так жизнь, — говорил он,— чего хочешь, того просишь,— водка, вины самые лучшие заморские, музыка, девки, — да какие девки: чернобровые, черноокие — гречанки, армянки, жидовки!» — Я напомнил ему раз об Оксане. — «О, Оксана, это совсем другое дело. — отвечал он, задумавшись. — Когда я наколочу мошну, куплю себе дом где-нибудь в Тамани или Таганроге на пристани, сделаюсь купцом, уж честным купцом, не контрабандистом, тогда я приеду сюда и женюсь на Оксане и тогда уж — баста! Баста шляться по морю в погоду и непогоду, баста кутить! Армянки, гречанки, жидовки... Проваливай мимо!»

Не знаю, удалось ли ему наколотить мошну, купить дом, пожениться, и где теперь он и Оксана — бог знает!

Вскоре же после приезда Бесшабашного я попал в острог и с тех пор не видал их. Вот как это случилось.

9.

Не раз, гуляя по берегу, я замечал, что какой-то зверь поедает раковины, которые оставляет на песке прилив. Я сел на сиденку [1]) — это было в лунную ночь, светлую как день. Какая-то тень мелькнула на песке, я прилег и стал присматриваться по песку, гляжу — лиса; тут все прежние мои охотничьи страсти разыгрались, руки задрожали, я дал промах! Я не спал всю ночь, рано утром оседлал коня и отправился на охоту за лисом к большим Могинцам. Когда я ехал с Павлюком в Пересыпную, я заметил это место; оно верст 20 от станицы, кругом глухая степь; по следам и по огромным позимям [2]), которыми изрыты курганы, я знал, что там, должно быть, пропасть лис. Место это я знал еще прежде; там лето и зиму ходили табуны сотника Уманца, Темрюковского куренного атамана. Я говорил выше, как мы с Павлюком угнали из этого неприступного табуна шесть лошадей и как табунщики дали клятву изловить нас за это. Я совсем забыл про них, когда поехал на охоту, и вспомнил только тогда, когда увидал на одном кургане их шалаш. Табун должен был быть недалеко. Я знаю, как опасно весной под'езжать к этим диким табунам, но не хотел воротиться, не поохотившись около кургана. Лис было пропасть; я затравил уже трех и ехал шагом, чтобы дать вздохнуть собакам и лошади, когда заметил, что лошадь моя что-то беспокоится, прядет ушами, фыркает и оглядывается. — Вдруг она заржала. Это был жалобный, как будто человеческий крик, полный такого страха, что я вздрогнул. Не успел я оглянуться, как раздался другой, пронзительный визг; это было тоже ржанье. Я слыхал гиканье горцев, стон умирающих, вой волков в бурную зимнюю ночь, но такого пронзительного и страшного крика никогда не слыхал; как вспомню, так теперь мороз пробежит по коже. Я обернулся. Табун рысью выбегал из-за кургана; земля дрожала под их ногами. Впереди несся жеребец, фыркая и взвизгивая, подняв голову, вытянув шею, разметав гриву и хвост. Я ударил лошадь плетью, она поскакала, но дикий жеребец и за ним весь табун догоняли меня. Я помню, как стонала земля, как ржали и фыркали бешено лошади, слышал, как тяжело дышал и водил боками мой измученный конь, который, прижав уши, несся как стрела, но было уже поздно. Все ближе и ближе скакал за мною бешеный жеребец. Я чувствовал его влажное и жаркое дыхание, чувствовал, что он несколько раз уже хватал меня за плечо зубами. Я лег на шею лошади, хотел спуститься ей под брюхо; я висел уж на одном стремени, беспомощно хватаясь рукой за землю, которая, казалось, уходила из-под меня; я помню, как бешеное животное ударило

---

[1]) Караулить зверя.

[2]) Норы.

передними копытами по седлу, как моя лошадь стала бить задом. Больше я ничего не помню; я упал на спину, небо кружилось у меня в глазах, я умирал!

Когда я опомнился, я лежал связанный на повозке. «Куда меня везут?» спросил я человека, который правил лошадью. Еще двое ехали верхом подле повозки; это были табунщики Уманца; они подняли меня и везли в станицу к куренному атаману. Куренной отправил меня в Екатеринодар, как беспаспортного и конокрада. За меня некому было вступиться; Журавлев, у которого я жил на хуторе, был простой казак, да он, кажется, и не знал ничего обо мне, — меня посадили в острог.

Через несколько дней, когда я немного оправился от ушиба, меня стали допрашивать. «Кто ты такой?» — «Не знаю!» отвечал я. — «Пиши: непомнящий родства», сказал тот, который меня допрашивал, писарю. Писарь записал, тем и кончился допрос, и три месяца я сидел в остроге. Ты не знаешь, что такое сидеть в душной яме, не видать ни неба, ни солнца, не знать, что с тобою будет!.. Извини, я и забыл, что ты тоже пленный!

II.

Рассказ о том, как Волковой вышел из острога, как сделался пластуном и как в первый раз убил человека.

1.

Три месяца уже сидел я в остроге. Когда, наконец, пришел ко мне Аталык, он не узнал меня: я оброс бородой, нечесанные волосы лежали на плечах, как у цыгана, загар, который прежде не сходил с моего лица, пропал, я казался бледен, глаза мои впали. Радостную весть принес мне Аталык; было средство выйти из острога. Недалеко от Бжедуховского [1]) аула Трамда в лесу жил гаджирет [2]) Муггай; он был уже старик, но джигит и наездник. У него всегда был притон гаджиретов всех племен; всякий, кто хотел чем-нибудь поживиться на линии, шел к Муггаю, и он всякий раз счастливо водил партии хищников на линию. Можно представить, как хотел Атаман достать седую голову этого старика. Он давал за нее 10 червонцев, а в то время это были большие деньги; но казаки, пластуны, хотя часто бродили в Трамдинском лесу, но без провожатого не решались итти к сакле Муггая, из жителей ни один не решался быть им провожатым, убить или схватить Муггая, когда он приходил в аул, никто и думать не смел. Лучшие наездники и многие князья были его кунаками и жестоко отомстили бы за него. Аталык взялся провести казаков к сакле Муггая и просил за это моей свободы. Атаман согласился; я, разумеется, тоже; я готов был купить свою свободу не только жизнью какого-нибудь горца, которого я в глаза не видал, но и жизнью более мне дорогого человека. А чья жизнь была дорога мне? Аталыка, правда, я любил.

---

[1]) Бжедухи — горское племя.

[2]) Горец — хищник, отбившийся и от своих.

но его всегда серьезный вид, его скрытность, его вечные рассказы про канлы, про убийство делали то, что я не очень бы жалел о его смерти. — Павлюк или Бесшабашный? — Я, может быть, даже был бы рад смерти последнего. — Оксана?.. Нет, я никого не любил! Может быть, это было и лучше! Я был сирота, моя жизнь не была нужна никому, и мне никого не было нужно. Мне было нужно небо, солнце и свобода!

С нетерпением ждал я вечера, когда Аталык должен был притти за мной и принести оружие, чтобы итти с ним на это кровавое дело. Сколько раз мне казалось, что он подходит к дверям, и я весь дрожал как в лихорадке; мне казалось, что сквозь стену я вижу небо и облака, которые бежали по нему, догоняя друг друга. Но это был не он. Это был часовой, который ходил взад и вперед, и стук ружья, когда он останавливался, как будто будил меня, и я снова начинал ждать и смотреть на тонкую струйку света, который проходил в окно моей тюрьмы. Наконец, этот луч поднялся на противоположную стену; это значило, что солнце садится. Опять что-то зашумело; это был Аталык. Он принес мне платье и оружие; я начал одеваться. Я был совершенно счастлив, но не верил своему счастью, до тех пор пока мы не вышли из города и не сели на каюк [1]). Каюк отчалил; я сидел на носу и глядел на город, который как будто убегал от нас, как будто он вместе с солнцем тонул в зелени садов; наконец только кой-где над садами виден был синий дымок, резко отделявшийся от ярко-красного цвета неба. — Солнца садилось. Я вспомнил Пересыпную и Оксану, но мне не было грустно; я так был счастлив, что я свободен.

Когда мы переправились и поднялись к аулу, ворота уж были заперты. Нас дожидались три казака, которые должны были итти с нами. Аталык сказал часовому, что мы идем на охоту за куницами; с ним была Убуши. Я очень обрадовался, увидав эту собаку; она тоже, кажется, узнала меня и беспрестанно ласкалась ко мне, толкая меня под колено острой своей мордой. Она напомнила мне моего Атласа и Сайгака и в это время, когда я был совершенно счастлив, я жалел об них — об собаках! Дурное животное человек, он никогда не бывает доволен! Я часто смотрю на ястребка, что у нас называется п о г у л ь, когда он неподвижно стоит в воздухе, быстро махая крыльями и поводя головой: он верно ни о чем не думает, он верно тогда совершенно счастлив, как человек никогда не может быть счастлив, потому что всегда он что-нибудь носит в голове, или желает чего-нибудь или вспоминает то, что прошло, как я теперь! Зачем я теперь рассказываю тебе то, что давно прошло, рассказываю о людях, которые тоже давно прошли! Зачем тебе знать это? Разве мало тебе своей жизни, что ты хочешь знать чужую жизнь, жить чужой жизнью?!.

Мы ночевали у старшины. Утром, когда надо было итти, Убуши захромала. Мы долго совещались между собой (мы говорили по-ногайски нарочно, чтобы хозяева могли нас понимать), как будто нам было очень досадно, что собака захромала; наконец, мы решили как будто итти без нее и ночью ка-

---

[1]) Челнок.

раулить оленей. Аталык позвал хозяина и попросил его подержать собаку до завтрашнего утра, простился с ним, и мы пошли.

«А хорошо сделала Убуши, что захромала», сказал я. — «Да, она знала, что она нам будет мешать. Это такая собака, она все знает», сказал Аталык и улыбнулся. Я видел, что он шутит, но казаки поверили и важно рассказывали, что есть такие собаки, которые больше знают, чем человек, которые видят духов, что обыкновенно это бывает черные собаки, как Убуши. Они даже с каким-то страхом смотрели на Аталыка, который молча шел впереди. Наконец, мы взошли в лес и, выбрав поляну, сели отдыхать и дожидаться заката солнца. Закусив, казаки легли спать.

Долго мне не спалось; я смотрел на небо, любовался, как облака, проходя мимо солнца, то покрывают поляну тенью и она будто засыпает и только ветер чуть шевелит листья деревьев, словно крадется по лесу, то вдруг поляна освещается, как будто блестит в лучах солнца. Тогда я, закрывая глаза, ложился навзничь и чувствовал, как солнце печет мне лицо, как ветер шевелит мои волосы; мне казалось, я слышу, как идут облака по небу. Я был совершенно счастлив; я так давно не видал ни солнца, ни неба, ни облаков, так давно не был на свободе! Я начал засыпать, когда вдруг слышу какой-то шум, как будто звон над собой; я открыл немного глаза: белые лебеди летели по голубому небу. Я начал думать о лебедях, мысли мои мешались. Я уже начинал видеть какой-то сон, когда Аталык разбудил меня.

«Возьми свое ружье и стреляй, — сказал он мне, показывая на лебедей' — я посмотрю, как ты стреляешь, а аульцы пусть думают, что мы охотимся». Я выстрелил. Лебеди вдруг повернули направо и стали подыматься еще выше; один только как будто пошатнулся при выстреле, потом стал отставать и наконец, кружась, опустился на поляну. Я подошел к нему. Согнув шею, он как-то гордо и вместе жалобно смотрел на меня; какой-то упрек был в его неподвижных, уже мертвых глазах. — Странное дело: я шел убивать человека и мне стало жаль лебедя! «Зачем я убил его?» думал я, таща его за шею к Аталыку.

Я уже больше не ложился, сон мой прошел. Я начал разговор с Аталыком. «Что ты сделал с Убуши?» спросил я. — «Ничего, я подвязал ей ноготь; завтра это пройдет». — А слышал ты, что говорили казаки? — «Да, они много правды говорили; многие думают, что у зверя нет души, это неправда! Много звери знают такого, чего не знает человек». Я думал в это время об убитом лебеде: чувствовал ли он свою смерть?

Может быть, и я, который теперь так счастлив, буду через час убит? И мне стало страшно. Я чувствовал тот же страх, как когда в'езжал в сосновый лес в Наткокуадже [1]). Я рассказывал тебе об этом. Между тем Аталык продолжал говорить; я почти не слушал.

— Раз, это было давно (так говорил Аталык), я жил в Абайауле, что в Наткокуадже, — я вышел, чтобы посмотреть гнездо балабана [2]), которое

---

[1]) Область горного племени натухайцев.

[2]) Порода сокола.

приметил прежде. Я шел лесом так тихо, что сам не слышал шума своих шагов. Вдруг слышу — за мной что-то зашевелилось в кустах. Я обернулся: это была чекалка. В ауле тогда жил человек, который имел против меня канлы: я вспомнил о нем. — Не поджидает ли он меня? подумал я, и мне захотелось вернуться. В это время с дерева слетел ворон и скрылся между ветвями, махая тяжелыми крыльями. Я решил итти назад. Не успел я сделать несколько шагов, как встретил того человека, об котором думал: он следил за мной. — И в этот день воронам и чекалкам была пожива. — А птица, сокол например, разве он не чует, что должно быть с его хозяином? Раз я выехал на охоту с одним князем. Это было далеко в горах; мы поднимались на гору, где паслось стадо туров. Там, где пасется этот зверь, всегда водятся турачи, или горные индюшки, они кормятся его калом. Испуганные звери стали бросаться один за другим со скалы в пропасть; я убил одного, который спокойно дожидался своей очереди. Когда мы в'ехали, из-под ног у нас поднялись индюшки. Мы пустили своих соколов; мой сокол полетел, а сокол князя воротился к нему на руку. — «Эта птица с яиц, — сказал мне князь: — ты знаешь, что сокол не бьет самки с гнезда». Но мой сокол поймал птицу, это была холостая самка. Я советовал князю вернуться, но он не послушался, мы поехали дальше. Возвращаясь, нам надо было проезжать мимо аула, где жил один беглый холоп князя; когда мы проезжали, он выстрелил по нас и ранил одного узденя. Князь приказал взять его и вслед за своими узденями он в'ехал в аул. Жители начали стрелять из сакель, и князь был ранен. Едва мы привезли его домой, он через час помер. Стало быть, сокол чуял...

Но я более не слушал; на поляне показалась чекалка и, подбежав к спящим казакам, начала грызть сапоги у одного из них. Аталык бросил в нее палочку, которую стругал; она нырнула в терновник и белые цветы, как дождь, посыпались с кустов и засыпали ее след. Через несколько минут раздался протяжный вой. — «Слушай, — сказал Аталык: — она чует кровь!»

Казаки проснулись. Солнце уже садилось; мы пошли далее. Чем дальше мы шли, тем гуще становился лес. Долго шли мы без дороги, наконец Аталык остановился и приказал мне влезть на дерево. — «Смотри направо, — говорил он мне, прижав губы к стволу дерева, и слова его глухо звучали, как будто выходя изнутри дерева. — Видишь ли ты против себя большую чинару; между деревом, на котором ты сидишь, и этой чинарой должен быть овраг. Смотри хорошенько: на одном из деревьев, что в овраге, должен быть лабаз; если так, то слезай скорее, чтобы тебя не видали!»

Действительно, против меня стояла чинара; между ей и мною был тот же кудрявый лес, те же кудрявые верхушки деревьев, кое-где обвитых виноградниками, сожженные листья которого казались пятнами крови. Но между деревьями я приметил пустоту, кое-где терновые кусты в полном цвету белели глубоко подо мной, — это был овраг, но только мой опытный глаз охотника мог его заметить. Хорошо сделал Аталык, что послал меня: ни один из казаков не увидал бы ни оврага, ни татарина, сидевшего спиной ко мне. Он не мог меня заметить, и я несколько времени любовался зарей; солнце уже село, только длинный ряд зубчатых гор блестел вдали; кругом меня расстилался

лес, вдали видна была Кубань. Какой-то странный шум раздался в моих ушах; был ли это шум воды или ветра, который гулял в лесу, или это лес читал свою вечернюю молитву — не знаю. Я слез, и мы пошли далее. Я не ошибся: через несколько шагов мы начали спускаться все ниже и ниже. Я шел за Аталыком: вдруг он скрылся. Я думал, что он оступился и упал, но в это время я сам покатился по крутому скату вниз. Когда я остановился, то почувствовал, что стою по колена в воде: на дне оврага протекал ручей. Мы пошли вверх по ручью, согнувшись, почти ползком. Раздвинув ветви одного куста, Аталык остановился, потом, присев, начал натягивать свой лук. Я посмотрел через его плечо: на большом гладком камне стоял молодой татарин и набирал воду в медный кувшин. Я взвел курок и слышал, как один за другими взвели курки казаки. — Татарин поднял голову. Аталык вдруг отбросил лук и, бросившись как зверь на татарина, повалил его в воду. Казаки было бросились к нему. — «Вперед, — закричал он: — это только волчонок, а старый волк впереди!» У него у самого глаза блестели как у волка. Казаки бросились в куст, который был перед ними, и нос с носом столкнулись с врагом. В одну минуту три кинжала глубоко вонзились в его тело, он и не крикнул. Это был сам Мугтай. Услыхав шум, он побежал к воде и прибежал к кусту в то время, как Аталык повалил татарина; присев, он уже положил ружье на подсошки, когда казаки не дали ему выстрелить. Я был подле Аталыка, который говорил татарину, что он не хочет его убивать. — «Вставай, беги молча и не оглядывайся!» Но только что татарин встал на ноги, как закричал. — «А! не я виноват», крикнул тогда Аталык и ударил его кинжалом в голову. Татарин упал. — «Я знал, что он не побежит, он от хорошей крови, — сказал Аталык. — Отец его был горский князь; он отдал своего сына в сенчики[1]) к Мугтаю, потому что Мугтая очень уважали в горах». И Аталык расхвалил мне его отца и тех из его родственников, которых он знал в горах. Он захотел смотреть, как умирает этот несчастный. — «И тебе не жаль его?» спросил я. — «Нет, видно так было написано. Он мешал мне. Видал ли ты, когда у меня на сакле сидит сокол и кругом него с криком вьются ласточки, и он вдруг ударит одну из них клювом и смотрит, как она умирает у его ног! Он не жалеет об ней, она мешала ему!» — В это время подошли казаки; они несли ружье и голову. — «Ну, гайда до дому!» — сказал Аталык, и мы побежали к ручью. Вдруг за нами раздался выстрел: один казак упал. Мы остановились; товарищи стали поднимать убитого; пуля попала ему в затылок. Это был тот самый казак, у которого чекалка грызла сапоги.

«Плохо! — говорил Аталык осматривая кругом. — Это хурт, товарищ Мугтая, тот самый, который сидел на дереве. Скорее, а то он успеет еще раз выстрелить».

Не успел он сказать это, как раздался другой выстрел. Я видел синий дымок между кустами и, присмотревшись, заметил черную шапку татарина и блестящий ствол винтовки, которую он опять заряжал. Я приложился, но в это время Аталык оперся мне на плечо и выстрел мой был не верен, но.

---

[1]) Приемыш, воспитанник.

кажется, я ранил его, потому что он больше не преследовал нас. Мы тронулись. Казаки несли своего убитого товарища, Аталык шел сзади, опираясь на меня. Он был ранен в бок. Когда на выходе мы вышли из лесу, он перевязал свою рану и когда мы вступали в аул, он уже шел впереди, как ни в чем не бывало. Татары, выходя из сакель, смотрели на нас и покачивали головой, видя, что вместо куниц мы несем товарища. Некоторые подходили к Аталыку и спрашивали, как случилось несчастие, но по лицам их видно было, что они не очень сожалели о том, что называли несчастьем. Наконец, один из них узнал ружье Муггая и заметил окровавленный узел, который висел за поясом у одного из казаков, т.-е. голову Мугтая, завернутую в башлык. Известие, что Муггай убит, разнеслось по аулу, и татары стали смотреть на нас с удивлением, смешанным с каким-то страхом и ненавистью. Целая толпа мальчишек провожала нас до дома старшины, который встретил нас на пороге. Он поздравил Аталыка с счастливым окончанием дела: «Я знал, — говорил он, — что ты не охотиться пришел, а тебя прислал атаман по важному делу». Аталык просил его, чтобы он велел переправить меня с казаками на ту сторону, а сам остался в ауле лечить свою рану.

Возвратившись в город, я был свободен, но не знал, что делать с моей свободой. Казаки предлагали мне вступить в их ватагу, сделаться пластуном. Я согласился!

2.

Ты не знаешь, что за люди были в мое время пластуны. В то время в Черноморье было еще очень опасно; каждый день где-нибудь переправлялась партия хищников, где-нибудь в станице били в набат и конные казаки скакали по дороге с криком: «Ратуйте, кто в бога верует! Татары идут!». И при этом крике всякий спешил до дому, бросали в поле работу, пригоняли стада в станицу, ворота запирались; тогда с рушницами и пидсохами [1]) в руках выходили из станиц пластуны, и редко удавалось партии уйти, не поплатившись кровью. В то время ночью, когда ворота станиц запирались, по камышам на берегу Кубани, в степи, на дорогах бродили только звери, пластуны да гаджиреты. А гаджиретов всегда было много, они постоянно скрывались в лесах и камышах. Хоть, например, Арбаш, он три года жил на нашем берегу, знал все протоки, все броды, все тропки от Кубани до границ Черноморья и до степей Калмыцких. Три раза он водил партию к калмыкам и в Кабарду. Сам он был первый кабардинец. Когда в первый раз он пришел в Кабарду с Закубани, то князь аула, в котором он родился, не принял его и назвал беглым холопом; на другой год он опять пришел с Закубани и сжег свой родной аул, своей рукой убил родного брата за то, что он назвал его изменщиком. У нас в Черноморьи он не разбойничал, только провожал на обратном пути партию за Кубань, получал от них пешкеш [2]) и возвращался опять на нашу сторону. Его убили пластуны нашей ватаги. В то время пла-

---

[1]) С ружьями и подсошками.

[2]) Подарок, плату.

стуны были большей частью такие же бобыли, как я, люди, у которых не было ни родных, ни кола, ни двора, которым нечего было терять, кроме жизни и воли; зато они и дорого продавали свою жизнь и дорого ценили свою волю. Они не признавали над собой никакого начальства; редкие из них жили в станице, большею частью жили на берегу Кубани в землянках среди камышей и лесов. Каждая ватага состояла из девяти или пятнадцати человек, которых свел случай; старший из них был начальник, его называли Ватажным. Ежели кто был не доволен товарищами или Ватажным, он брал свое ружье и возвращался в станицу или присоединялся к другой ватаге; никто не спрашивал его, куда он идет. Точно так же, когда являлся новый пластун, никто не спрашивал его: откуда он.

Когда я пришел в первый раз с моими товарищами в ватагу, никого из казаков не было дома. Мы расположились в пустой землянке; к свету стали по одному возвращаться казаки; некоторые возвратились с добычей: два кабана и одна коза были убиты в эту ночь. «А где Цыбуля?» (так звали казака, убитого в Трамдинском лесу), спросил один казак моих товарищей. — «Убит, — отвечали они. — Зато вот мы нового привели». Тут только приметил меня Ватажный. «Как тебя зовут?» спросил он. «Волковой», отвечал я. «Имя-то не христианское», заметил важно Ватажный. — «Да я и не христианин», сказал я. «Кто же он? Уж не еретик ли какой?» сказал Ватажный, обращаясь к моим товарищам. — «Нет, так, не помнящий родства», отвечали они. — «А в бога веруешь?» стал опять спрашивать меня Ватажный. — «Верую». — «А сало ишь?» — «Ем». — «Ну, так гарно!» сказал он, и я остался с ними.

Мне нравилась их жизнь. Днем я ходил на охоту или отдыхал, потому что каждую ночь с одним или двумя товарищами мы ходили о б р е з а т ь с л е д ы. Идем, бывало, берегом так тихо, что утки, которые сидят, прижавшись под крутыми яром, спокойно спят и не слышат, как мы проходим; только слышно плескание воды, да шум камыша, да плач чекалки, вой волка или крик диких кошек в Кошачьем Острове (так назывался лес недалеко от нашей землянки, где водились дикие кошки). По временам мы останавливаемся и прислушиваемся к каждому шороху и слышно далеко, как хрустит по камышу кабан или олень. Раз я шел с Могилой (это был один из казаков, которые ходили с нами против Муттая: — другого звали Грицко Щедрик). Вот слышим мы шорох и все ближе и ближе; наконец, нам стало видно, как шевелятся махавки [1]). — «Это не зверь», сказал Могила. Тот, кто шел к нам, остановился и тихо свистнул; этот свист едва можно было различить от крика сыча, но Могила узнал его. — «Это ты, Щедрик?» сказал он, и в это время действительно Щедрик вышел из камыша. — «Вы ничего не видали?» спросил он. — «Ничего, а что?» — «Ну, так, значит, они остались в Кошачьем Острове», сказал он, не отвечая на мой вопрос. — «Кто они?» хотел я спросить, но Могила толкнул меня, чтобы я молчал. Видно, дело было важное. Мы пошли молча за Щедриком и через несколько времени подошли к секрету. В

---

[1]) Верхушки камыша.

секрете лежал Ватажный с пятью казаками. Щедрик начал рассказывать: он был на сиденке, когда мимо него проехала партия черкес; они ехали так близко к нему, что он мог различить каждого в лицо, и он узнал Абаши; потом он шел по их следу до опушки Кошачьего Острова, где кончались камыши. Ночь была лунная, оттого он и не решился пройти через пере..., а стал обходить Кошачий Остров, тут он и встретил нас. Если мы ничего не видали, то ясно было, что они остались в Острове; вероятно, они ожидали, когда сядет месяц, чтобы переправляться в темноте около Кошачьего Поста. Мы отправились к Посту; там стоял Прик.[1]) и семь рядовых, все конные. Стало быть, нас было всего 15 человек, а их, по словам Щедрика, было до полсотни. Мы решили пропустить их, и дожидаться, когда Абаши будет возвращаться назад, и, если можно, взять его живого. Для этого мы разделились на два секрета и расположились по обеим сторонам брода. Это было в первую квартиру[2]) месяца, месяц садился перед самым рассветом. Он уже совсем опустился в камыш, и река покрылась густой тенью; изредка только отражаются в ней звезды, да белеет белая пена волны, которая где-нибудь разбивается, набежав на карчь или скользя через отмель на плес. Голоса ночью уже стихали, не слышно было ни воя чекалки, ни крика сыча, только лягушки продолжали кричать, да изредка в лесу отзывался фазан. — Зарница уже блестела на востоке и белые горы начинали отделяться от серого неба, когда шапсуги под'ехали к броду, впереди ехал старик в белой черкеске; это был Абаши. Он первый спустился в воду; за ним по одному стали переправляться шапсуги; мы насчитали их 62! Наконец они переправились и скрылись в лесу. Долго ожидали мы возвращения Абаши и начинали уже думать, что он не воротится. Уже совсем рассвело, когда на той стороне показалась его белая черкеска; он ехал ничего не подозревая; переправляясь, он даже курил и что-то напевал вполголоса. Наконец он выехал на нашу сторону, остановился и стал выбивать трубку об луку седла. В это время раздался выстрел; по условию стрелял наш Ватажный, и по его выстрелу все должны были броситься на черкеса. Пуля Ватажного попала в голову его лошади, она упала на колени. Старик привстал на стременах и, увидав нас, выстрелил, но не попал. Тогда он закричал; это был отчаянный крик, который далеко раздался по воде. Он вынул шашку и начал отмахиваться; первый, который подбежал к нему, был малолеток из постовых казаков, он упал с разрубленной головой. В это время раздался выстрел, и Абаши тоже повалился; когда Ватажный подбежал к нему, он был уже мертв.

«Кто стрелял?» закричал Ватажный. — «Я», отвечал кто-то из толпы, и старый казак подошел к Ватажному. — «Зачем ты убил его? Разве мы не могли взять его живым, разве нас мало было?» — «Он убил моего сына», сказал старик, показывая на мертвого казака, и Ватажный молча начал обыскивать мертвого Абаши. Не успел он отрезать ему голову, как часовой за-

[1]) Так в оригинале; ясно, что речь о начальнике поста; но что значит сокращенное слово, мы не знаем.

[2]) Т.-е. в первую четверть после новолуния. Непонятно, как попало в казацкую среду иностранное обозначение, производящее здесь впечатление словесного пятна на фразе.

кричал с вышки, что шапсуги опять переправляются. Терять времени некогда было, мы разбежались все врозь. Прик. с своими казаками зажег фигуру[1]) и поскакал в станицу. Мы с Могилой шли по берегу; несколько раз я оглядывался назад, но выдающийся мыс мешал нам видеть брод и только заревю фигуры красной полосой отражалось в воде. Вдруг мы услыхали за собой топот; мы бросились в камыши и, отбежав несколько шагов, остановились. «Проклятые махавки откроют нас, будем сидеть смирно, авось они проскачут мимо», сказал Могила. Действительно, человек 20 проскакали мимо, как вдруг лошадь одного из шапсугов бросилась в сторону. Он остановил коня и, поднявшись на стремена, осматривал камыши. Он верно был последним из тех, что погнались за нами, потому что когда он заметил наш след, то начал кричать.

— Вот тебе, чтобы не драл глотки,—сказал Могила и выстрелил. Черкес свалился с лошади; мы побежали. Когда мы перебежали Длинный Лиман, слышно было уже, как трещит в камышах погоня, но мы были почти в безопасности. Лиман, отделявший нас от неприятеля, был топкое болото, через которое конному нельзя было переехать. Тогда Могиле пришла счастливая мысль: он сорвал два пучка камыша и надел на них наши шапки, а сами мы легли на брюхо и дожидались. Скоро показался один всадник; он прямо бросился в воду, но лошадь его завязла; в это время Могила выстрелил: всадник свалился с коня. На выстрел прискакало еще несколько человек; с криком и руганью брали они своего товарища: я выстрелил, но дал промах! Я стал заряжать ружье, руки мои дрожали, мне ужасно хотелось попасть в которого-нибудь, но Могила не дал мне стрелять. — «Пусть их забавляются и стреляют в цель», сказал он. Действительно они начали стрелять в наши шапки, а мы отползли уже далеко, забрались на груду сухого камыша и любовались этой картиной. Могила преспокойно закурил люльку — «Отчего это ты не попал, Волковой? А ведь ты порядочно стреляешь». Он видел, как я убил пулей лебедя налету и стрелял оленя на всем скаку. — «Не знаю, — отвечал я. — видно стрелять в человека не то, что стрелять в оленя!» — «Да, это правда! Когда я первый раз стрелял в человека, у меня тоже руки дрожали».— «А попал?» спросил я. — «Попал», — ответил. — «Это было давно, я был еще малолеток и сидел в секрете. Вдруг вижу, плывет карчь, только — плывет она не так, как следует, а наперекоски, как будто человек, и действительно это был человек! Черкесин привязал поверх себя сук да и плывет на нашу сторону, бисов сын! Вот я как его пальнул, так он и поплыл уж как следует, т.-е вниз по воде. Уж на другой день его поймали там на низу. И рад же я был, что удостоился, ухлопал бесова сына». Между тем черкесы продолжали стрелять.

Несколько человек отправились об'езжать лиман, но скоро в той стороне, куда они поехали, загорелась перестрелка: они наткнулись на

---

[1]) На Кубанской линии между станицами были сторожевые посты, пост состоял из помещения для казаков, сторожевой вышки и маяка или „фигуры", т.-е. большого пука сена (иногда осмоленного), привязанного к высокому шесту и зажигавшегося при тревоге.

сотню, которая выскочила на тревогу, и шапсуги потянулись назад к броду. Могила вскочил на камыш и стал ругать и рассказывать им, как он их надул.

«Дурни вы, дурни гололобые!» кричал он им вслед, хотя они и не могли его слышать.

Мы воротились в землянку. Ватажный разделил между нами деньги, которые он нашел на Абаши (на брата досталось по червонцу с лишним); сам он взял голову убитого и отправился в город к атаману. Атаман дал ему два червонца; говорят, он узнал эту голову, говорят, что Абаши был с ним в сношении и не раз изменял своим. «Не мудрено: он был большой разбойник, дурной человек».

С уходом Ватажного артель наша расстроилась. Товарищи разошлись, иные отправились в станицы прогуливать полученные деньги, другие кое-куда. Я с Могилой пошел на охоту за порешнями [1]) на Крымский шлях. Я был там зимою, но теперь не узнал этих мест. В это время Кубань только что выступила из берегов, мы шли по колено в воде, пока не пришли на маленький остров. Никогда не видал я такое множество волков, лис, чекалок, зайцев и вообще зверей всякого рода на таком маленьком пространстве. Выстрелив по несколько раз и убив трех лис и несколько уток, целыми стаями летавших над нашими головами, мы развели огонь, чтобы высушить свою обувь и приготовить обед из застреленной птицы. Мы оказали этим истинную услугу зайцам, крысам и мышам, которые жили на этом острове, потому что волки и чекалки не смели больше показываться на острове, но они целый день ходили кругом острова и долго завывания их не давали нам спать. Когда смерклось, мы видели, как сверкают в темноте глаза волков и несколько раз чекалки подходили к нашему огню. Эти смелые животные очень надоедали нам, но иногда они занимали меня: я любил смотреть, как они ловят зайцев. Несколько чекалок вместе приплывают к острову и потом разбегаются в разные стороны; чекалки ложатся на брюхо, так что едва можно различить их серые спинки от бурьяна, в котором они притаились. Одна из них начинает преследовать зайца, издавая по временам жалобный крик подобно плачу ребенка; заяц пускается бежать, но чекалка не перестает его преследовать. Когда заяц пробегает мимо другой чекалки, она тоже начинает его гнать, и таким образом скоро их уже несколько преследуют одного зайца, не обращая внимания на других, которые, испуганные их криками, мечутся во все стороны по острову. Это продолжается до тех пор, пока они не поймают его или пока несчастный заяц не бросается в воду, но и там они преследуют и ловят его. Кроме чекалок, орлы и ястреба тоже преследуют этих несчастных животных. Раз балабан при мне словил матерого зайца и так далеко впустил в него когти, что не мог их высвободить, и я поймал его живьем. Этот балабан был причиной того, что я чуть было не бежал в горы.

---

[1]) Выдры.

3.

Вот как это случилось. Поймав этого балабана, я отправился в Трамду, чтобы подарить его моему Аталыку, который все еще лечился там у одного кунака, ране его не было лучше. Он не вставал с постели, и дочь его хозяина, девка лет 15, постоянно ходила за ним. Хеким [1]), который его лечил, уверял, что от этого он не выздоравливает, что женщина не должна подходить к раненому, что рана этого не любит! Но Аталык не верил ему и даже требовал, чтобы Удилина (так звали девку) сидела подле него, говорил, что когда он выздоровеет, то непременно женится на ней и что он уже уговорился с отцом ее насчет калыма. Я свыкся с этой мыслью и стал скоро смотреть на Удилину, как на родную сестру. Мы вместе ходили за раненым. «Теперь, Удилина, — сказал он ей, когда я пришел:— тебе не нужно будет сидеть подле меня по целым ночам; сын мой будет сидеть за тебя». Но она не согласилась уступать мне своего места и, когда ночью я возвращался в саклю, я всегда видел, что она сидит у изголовья раненого, разговаривает с ним или напевает вполголоса какую-нибудь горскую песню. Я мало бывал с женщинами и всегда дичился их, но к Удилине я скоро привык. Я любил слушать ее звонкий голосок, когда она, как ребенка, убаюкивала старика, любил сидеть против нее, когда, не шевелясь, будто каменная, боясь разбудить больного, она сидит и посмеивается, глядя на меня. Не видишь, бывало, как пройдет короткая летняя ночь, а мулла уж кричит на мечети, и Удилина, обернувшись к востоку, начинает делать намаз Особенно любил я смотреть на нее в то время: она то опускалась на колени, то опять поднималась и складывала руки на груди, и грудь ее тихо волнуется, глаза опущены вниз и чуть слышно шепчет она слова молитвы. После намаза я обыкновенно отправлялся ходить по аулу с балабаном; каждое утро и вечер я вынашивал эту птицу. Аталык и Удилина не советовали мне ходить одному по аулу; они говорили, что товарищ Мугтая, Хурт, которого я ранил в лесу, тоже лечился в Трамде-ауле. «Если он только выздоровеет, то он подкараулит тебя; да и теперь какой-нибудь кунак его или Мугтая может выстрелить по тебе, и ты умрешь так, что никто и не будет знать, кому должно будет платить за твою кровь». Так говорил Аталык, но я не слушал его; мне казалось стыдно сидеть дома из страха; я тогда был молод и искал опасности, как молодая лань ищет воды в жаркие летние дни.

Раз я шел по аулу вечером; вдруг раздался выстрел и пуля просвистала мимо меня; я прислонился к стене какой-то сакли и стал снаряжать ружье; огромное тутовое дерево развесило надо мной широкие ветви, и я был в тени. Вдруг слышу, кто-то дергает меня за рукав. Это была женщина. Я смотрел в это время на улицу, освещенную месяцем, который всходил над аулом, и каждую минуту ожидал, что вот где-нибудь из-за угла покажется тень моего врага, того, который выстрелил по мне. Ружье мое было готово, руки не дрожали. Бог знает, меня или его спасла эта добрая женщина, с опасностью

[1]) Горский лекарь, знахарь.

жизни вышедшая на улицу, чтобы уговорить меня взойти в ее саклю; она знала, что тот, кто стрелял по мне, не поднимет оружия, как только увидит подле меня женщину.

Мужа ее не было дома, и я провел с нею ночь...

Когда я утром возвратился к Аталыку, Удилина встретила меня на дворе; я рассказал ей, что случилось со мной. — «И ты целую ночь боялся выйти? А я считала тебя джигитом», сказала она. Меня удивил этот упрек. — «Разве не сама ты мне говорила, что не надо без нужды подвергаться опасности?» сказал я ей — «Но я тебе не говорила, что надо прятаться в сакли бог знает каких женщин, которые принимают мужчин, когда мужей их нет дома, — заметила она с упреком. — Ты знал, что если ты не придешь в обыкновенно время, я буду беспокоиться; но тебе было лучше с этой женщиной, ты при ней забыл меня. А как я боялась за тебя!» продолжала она говорить, остановившись и подняв на меня свои большие черные заплаканные глаза. — «Когда я услыхала выстрел, я вздохнула, как будто пуля пролетела мимо меня. Я не спала всю ночь, но мне кажется, что я видела во сне, как тебя раненого несут к нам к саклю; я прислушивалась ко всему, но слышала только, как кричал сверчок в углу сакли и как билось мое бедное сердце»

Я ничего не отвечал. Когда мы взошли, я рассказал обо всем Аталыку. — «Ты дурно сделал, — скаазл он, — что взошел в саклю этой женщины: тот, кто стрелял по тебе, видел это и он скажет об этом ее мужу и вместо одного врага у тебя будет два». Так и случилось. Стрелявший (это был Хурт, рана которого уже зажила) сказал Масдагару, хозяину сакли, где я ночевал, что я провел целую ночь с его женой, и они вдвоем решились убить меня. Мне нельзя было оставаться в ауле, и Аталык уговорил меня уйти. — «Куда же ты пойдешь?» спросил он, когда я согласился послушаться его совета. — «Опять за реку, к пластунам», отвечал я. Тогда Аталык напомнил мне одну вещь, которой я еще не рассказывал тебе. Раз я сидел подле него; он, казалось, спал, прислонясь головой к стене; свернувшись как кошка, Удилина сидела в углу и тоже спала. Я долго смотрел на ее хорошенькое личико с закрытыми глазками полуоткрытым ртом; сонная она мне показалась еще лучше, чем обыкновенно. Я не вытерпел, подошел к ней на цыпочках и поцеловал ее в лоб, она не проснулась, а только глубоко вздохнула, как будто хотела сказать что-то. — «Ты думал, что я спал, — говорил мне Аталык: — но я все видел. Утром, когда ты ушел с своей птицей, я рассказал это Удилине; она покраснела. После несколько дней, всякий раз, когда она бывало печально взглянет на тебя, то вся покраснеет; она старалась не глядеть на тебя, не говорить с тобой и никогда не засыпала при тебе. Ты ничего не видел, а я все знал: я догадался, что она любит тебя. Не удивляйся, сын! Старые люди более знают, чем молодые; я много видал людей и говорю тебе: Удилина любит тебя!» — Я не знал, что ответить ему. — «Женись на ней, — продолжал старик. — Она хорошая девка, я буду любить ее, как дочь, и я, который всю свою жизнь, более 60 лет прожил сиротой, по крайней мере в последние годы буду иметь семейство; когда я умру, вы похороните меня как следует». — «Но

мне не отдадут Удилины, — сказал я: ты забыл что, я не магометанин, я гяур!» — «Так сделайся магометанином», ответил Аталык.

Мысль, что я могу сделаться татарином, что я могу жениться, иметь жену, детей, как и другие, никогда до сих пор не приходила мне в голову. Мне было все равно, буду ли я магометанином или христианином, придется ли мне жить с русскими или с татарам, на той или этой стороне реки. Нигде в целом мире у меня никого не было родного, не было человека, который любил бы меня. Я задумался. Удилина была прекрасная девка, она любила меня. Аталык уговорил меня. Он должен был вместе с нами бежать в горы. Родители Удилины тоже соглашались. Я просил, чтобы мне дали время обдумать. Чтобы более убедить меня, Аталык рассказывал мне про моего отца, который жил и умер в горах. Я почти решился и даже согласился, чтобы послали за муллой, который должен был меня учить, в чем состоит их вера. Этот мулла был почтенный человек; он был вместе с тем и старшиной Трамдинского аула.

Много говорил он мне о своей вере, хвалил ее, рассказывал, каким блаженством будут пользоваться магометане после смерти, бранил гяуров, рассказывал, что Хазават [1]) есть дело святое и приятное богу, что убивать гяуров есть обязанность для каждого хорошего магометанина. — «Зачем же ты служишь русским?» спросил я его. Он улыбнулся. «Затем, что они дают мне жалованье; затем, что, ежели бы мы не служили русским, они бы разорили наш аул. Но подожди, придет время, и мы тоже начнем войну с гяурами». Тут он опять стал бранить гяуров и доказывал, что не только убивать, но обманывать, обкрадывать, грабить их — дело, приятное богу.

Долго слушал я его, наконец, не вытерпел. — «Ты дурной человек, изменщик, — сказал я, — и вера твоя — дурная вера. Я не мусульманин и не христианин, а я останусь тем, что я был, но никогда не буду изменщиком. Я не приму вашей веры, потому что она не может быть хороша. Бог не может позволять обмана, он наказывает изменщиков, и он накажет тебя; даром, что ты мулла и каждый день совершаешь свой намаз, ты все-таки дурной человек!» Мулла рассердился и вышел, назвав меня гяуром и казаком. — «Да, я казак, — сказал я, когда остался с Аталыком, — и останусь казаком. Скажи это Удилине, а я завтра ухожу». — «Делай, что хочешь», — сказал Аталык и замолчал. Мы оба молчали; я думал об Удилине; мне хотелось видеть ее, поговорить с ней; мне было жалко расстаться с ней, но я был доволен собой; мне казалось, что я хорошо сделал, не согласившись на предложение муллы.

На следующую ночь я ушел из аула и угнал еще пару волов у старшины. Утром я переправился через Кубань в Екатеринодар; это было в воскресение во время базара; я продал волов и, встретив человека из Трамды, велел сказать старшине, что если ему не грех воровать у русских, то и русским не грех красть у него.

---

[1]) Война за веру.

4.

Через несколько времени я встретился с Масдагаром и Хуртом. Это было осенью. Я с одним человеком из Трамд-аула пошли ночью на охоту; месяца не было, но небо было чисто и звезды блестели сквозь ветви деревьев. Вечно говорящее дерево, белолистка, уже облетело, зато листья дуба шептались между собой, как будто прощаясь друг с другом. В лесу было светло и видно далеко по тропкам, покрытым желтыми листьями, которые шурчали у нас под ногами, несмотря на то, что мы шли так тихо, что слышали, как падал каждый листок, оторвавшийся от ветки. Все напоминало осень; длинные нитки паутины тянулись по лесу между кустами и деревьями, и туман блестел на них, как жемчуг. Осень была теплая и сухая, но в лесу уже пахло сыростью; в оврагах и ямах, куда сквозь густые ветви деревьев, переплетенные плющем и диким виноградом, почти никогда не проникают лучи солнца, стояла вода и видно было много следов кабанов, которые приходят туда пить и мазаться. Вообще повсюду было пропасть кабаньих и оленьих следов, особенно около плодовых деревьев, где земля была покрыта желтыми, как золото, яблоками и грушами или красным, как кровь кизилом. Кое-где на кустах висели еще прозрачные спелые плоды кизила, калины, кисти барбариса и винограда, и днем стаи осенних птиц, синицы, дрозды и сойки с криком перелетали по кустам. Но теперь все было тихо, изредка только мышь пробегала между корнями деревьев, шевеля сухими листьями. Мы прислушивались к каждому шороху. Вдруг недалеко от нас заревел олень; мы остановились, и он продолжал кричать; мы стали подкрадываться; через несколько минут он замолчал, мы опять остановились. Товарищ мой нечаянно наступил на сухую ветку валежника, и она с шумом поднялась и упала. Звук этот должен был испугать оленя, но, напротив, скоро рев его раздался еще ближе. Мне пришло в голову, что это не настоящий олень. Я сообщил свое подозрение товарищу, и в то время, как он продолжал осторожно подвигаться вперед, я влез на дерево и увидал в нескольких шагах от нас Хурта и Масдагара. Хурт сидел на корточках, ружье его было наготове на подсошках. Масдагар стоял и, приложив руки ко рту, ревел по-оленьи. Они надеялись этой хитростью приманить нас.

«Гей, Масдагар, что это ты ревешь?» закричал я с дерева. Они бросились к ружьям; я проворно спустился с дерева, и мы тоже приготовились к бою; но, видя, что хитрость их не удалась, наши неприятели возратились в аул. Мы прошли по их лесу до лесной Трамдинской дороги, где и засели на сиденку. Долго ничего на меня не выходило; только несколько раз заяц выбегал на дорогу, но я не стрелял, ожидая оленя. Товарищ мой выстрелил раз, на меня все ничего не выходило. Вдруг лес зашумел; я припал к земле: на меня скакал олень; я приготовил ружье. Это была молодая ланка; выбежав на дорогу, она остановилась, как вкопанная, вытянув передние ноги, как струнки, и отставив задние, она растянулась, как скаковая лошадь, и прислушивалась, тихо поворачивая голову и приложив уши. Я не стрелял, потому что ожидал

солнца и сидел так смирно, что она часто наводила свои большие черные глаза на куст, в котором я был спрятан, но, не замечая меня, опять опускала голову и лениво, как будто нехотя, переворачивала сухие листья, валявшиеся по дороге, или, подойдя к краю дороги, вытягивала шею и щипала тонкие ветви деревьев. Вдруг она вздрогнула, выпрямилась и понеслась в лес, она пробежала шагах в трех от меня. Я догадался, что она почуяла самца, и приготовился стрелять. Действительно через несколько минуть выступил огромный рогаль; я выстрелил, раненый олень упал, я прирезал его, зарядил ружье и снова сел на свое место.

Недолго сидел я, как вдруг услыхал топот: человек 20 вооруженных проехало мимо меня. Я легко узнал, что это хищники, едущие на линию; у каждого в тороках был привязан бурдюк, все они были завернуты в башлыки, так что видны были одни только глаза, с беспокойством перебегавшие с одной стороны на другую; на одном из них ручка шашки звенела, ударяясь о кольчугу, надетую под черкеску.

Под'ехав к убитому оленю, они остановились. — «Чок якши, Пирзень!» (Хороший олень! говорили они, смотря на него. — «Посмотри, куда пошел хозяин этого зверя», сказал панцырник одному из своих людей. Тот под'ехал к кусту, в котором я сидел; я слышал, как билось у меня сердце. Черкес поднялся на стремена, нагнулся и посмотрел в лес. — «Ничего не видно; он должно быть увидал нас, перепугался и бежит теперь по дороге к аулу», сказал он. — «Якши йол», смеясь, ответил панцырник. В это время один из черкесов отрезал кинжалом заднюю ляжку оленя, привязал ее к седлу и они поехали. Когда они скрылись, я вышел на дорогу и пошел к своему товарищу. — «По чем ты стрелял?» спросил я его. — «По козе». — «Ну, что ж?» — «Ушла!» — «Так ступай же в аул и приезжай с арбой: на дороге лежит олень, а меня не дожидайся, я пойду на ту сторону», сказал я ему.

Товарищ рассказал в ауле нашу встречу с Масдагаром; с тех пор его прозвали Пирзень, и он принял присягу отомстить мне за это прозвище.

Я между тем шел по следу хищников. Не доезжая нескольких сот сажен до Кубани, сакма [1]) их повернула направо; она прямо повернула на брод, видно, вожатый их хорошо знал местность. Я пошел вверх по реке, где должна была быть ватага рыболовов. На ватаге сидели три казака пластуна; я окликнул их. Узнав меня, один из них отвязал каюк и переправился. — «Ну що, черкесин, хиба тревога?» — «Побачим», отвечал я, и мы поплыли вниз по реке.

5.

Надо тебе сказать, что с тех пор, как я воротился с охоты за порешнями, я все жил на той стороне Кубани, иногда в ауле у кунаков, большею частью в лесу на охоте. Часто, как и в этот раз, я встречался с партиями хищников, и тогда я приходил к реке и делал тревогу на посту или на какой-нибудь ватаге пластунов, и несколько уже партий было открыто по моей милости.

---

[1]) Конный след.

Бережной атаман (начальник кордонной линии) знал меня и обещал мне крест. Но зачем мне был крест? Я не был природный казак, я даже не принимал присяги; если я служил русским, то делал это потому, что такая жизнь мне нравилась. Я был молод, ни разу я еще не убивал человека, а уже слыл джигитом, молодцом, и это мне нравилось. Казаки звали меня Черкесином за то, что я одевался по-черкесски, и почитали меня за колдуна. Бжедухи звали меня казак-адиге[1]).

Несколько раз случалось мне открывать следы хищников, которые возвращались с Кубани. Раз на линии была разбита большая партия шапсугов; те, кто уцелел, возвращались по одиночке в горы. Я был в это время на охоте и напал на след трех конных; след этот привел меня к Бжедуховскому аулу Дагири. Три лошади были привязаны к ограде, в средине широкого двора стояла сакля, в ней светился огонь. Мне пришло в мысль, что в этой сакле должны были скрываться хищники, лошади которых привязаны к ограде. Ночь была темная, сильный ветер гнал по небу черные облака. Я влез на вал, сухая колючка затрещала у меня под ногами. В сакле послышался разговор, я стал прислушиваться.

«Что это за шум? слышал ты? — спросил кто-то по-шапсугски. — «Ничего», — отвечал другой голос на том же языке. — Это наши лошади».

Уверившись таким образом, что хищники действительно скрывались в этой сакле, я потихоньку спустился опять к лошадям; отвязав их, я воспользовался минутой, когда сильный порыв ветра с шумом пробежал по камышевым крышам сакли, и тихо от'ехал от ограды. Я прямо приехал к старшине аула и об'явил ему, что в такой-то сакле скрываются три шапсуга-гаджирета. Он собрал несколько человек, и мы окружили саклю. Хозяин сам был беглый шапсуг. Он вышел к нам и стал уверять, что у него никого нет. «Стыдно тебе лгать, ты уже старый человек. Вот казак все видел», сказал старшина. Тогда только старик увидел меня и догадался, что ему больше нельзя отпираться. — «Ой, яман, казак-адиге! — сказал он, сжав-губы, так что зубы его стучали один об другой. Седая борода его тряслась, он чуть не со слезами начал упрекать меня. — Зачем ты обижаешь меня, старика. Ты знаешь наш адат, ты знаешь, что гость — святое дело для хозяина. Ты знаешь, что я не могу выдать своих гостей, не положив вечного срама на свою седую голову, что ежели вы обидите или убьете их, то дети их наплюют на мою могилу, а мне уж недолго жить, я старик и никогда никто не обижал меня так! Лучше если бы вы убили меня завтра вместе с ними на дороге. Разве не могли вы взять их завтра, разве вас мало? Это, видно, бог наказал меня за то, что я оставил родину и пришел жить с вами, неверными гяурами».

И он начала бранить бжедухов: «Вы трусы! вас целый аул, а вы побоялись трех человек; где вам взять их в чистом поле! Вы изменщики, подлецы!».

---

[1]) Т.-е. казак-черкес.

Этими ругательствами он рассердил старшину. «Что вы слушаете этого старого шапсугского ворона! Идите в саклю!» закричал он своим людям. Они бросились в саклю, но шапсуги уже ушли через вал. Старшина хотел посадить в яму Урхая (так звали старика), но я выпросил ему прощение. Старшина взял у меня одну из лошадей; другие остались у меня. За одну из них хозяин ее прислал мне через Урхая 100 монет.

Урхай сделался моим кунаком. «Я думал, — говорил он, — что ты хотел осрамить меня, но я вижу, что ты не хотел меня обидеть. Ты добрый человек и сделал это потому, что ты принял присягу служить русским».

«Я не принимал присяги, — отвечал я. — Я вольный человек, не казак».

«Зачем же ты служишь русским? Зачем?..» — Я сам и сам не знал этого. — «Отец мой был хороший человек, воин; мне стыдно ничего не делать и сидеть дома, как бабе» отвечал я ему.

Я правду говорил, я говорил, что думал. А думал я так, может быть, потому, что я был рожден, чтобы быть воином, чтобы скитаться вечно, убивая себе подобных, и нигде ни в куренях казацких, ни в городских аулах не найти себе приюта. Видно, что так было написано, как говорят татары. А, может быть, я думал так потому, что с малолетства я все слышал про войну. Аталык мой уверял, что мужчине стыдно не быть, воином, и я верил ему. Я видел, что русские воюют с горцами; я жил с русскими и стал помогать им. Я не думал тогда, зачем эти люди воюют между собою, зачем они убивают друг друга. Зачем?..

После я слышал, что в России, там далеко за степью, люди живут мирно, что там нет войны, что все, даже мужчины, ходят без оружия, что даже звери лесные подходят к деревням, волки режут баранов в загонах, лисы таскают кур с насестей. Зачем, думал я, русские приходят воевать сюда с горцами, зачем? Видно, люди нигде не могут жить спокойно.

Теперь вот уже несколько лет я живу в горах; и в горах тоже, тоже война, ссоры и убийства! Я видел много различных народов и из них знаю только один, который живет мирно между собой, который боится оружия и называет его ж е с т о к а я в е щ ь. Это — калмыки. Среди них я знал человека; его звали Г е л у н[1]). Он говорил мне, что их вера запрещает убивать даже животных. Зачем же и русские и казаки презирают эту веру, которая запрещает делать зло кому бы то ни было. Зачем горцы тоже презирают их и называют их з и л а н — змеи?

А между тем они добрые люди и вера их — хорошая вера. Много говорил мне про нее кунак мой Гелун, много, может быть, было правды в том что он говорил, но бог не дал мне разума понимать эти вещи. Одно помню я: он говорил, что звери имеют такие же души, как и люди (Аталык тоже говорил это), что души людей переселяются в животных, что, может быть, и наши души жили прежде нас всех. Может быть! Часто, когда мне случалось жить в каком-нибудь глухом ущельи, где кроме меня, земли да неба никого

[1]) Собственно, так называются буддийские монахи.

не было, когда я тщетно прислушивался, нет ли еще кого-нибудь живого в этой пустыне, тогда, хотя я и знал, что в первый раз здесь, но мне казалось, что место это мне знакомо, что я видал эти скалы, поросшие лесом и кустами, что я знаю эти деревья, что не впервые слышу шум этих листьев, не в первый раз вижу это небо. Может быть, когда-нибудь прежде я жил в этих диких ущельях зверем или вольной птицей. Может быть, поэтому и теперь жизнь моя больше похожа на жизнь дикого сокола или хищного волка, чем на жизнь обыкновенного человека, у которого есть дом, семейство, дети, есть все то, чего нет у меня. — Может быть! — Но я забыл, про что я тебе рассказывал. Да, помню!

6.

Вот мы плывем с казаком вниз по реке [1]). Вдруг каюк наш остановился на отмели; это был брод. Я вышел по колена в воде, дошел до берега; на песке были конские и человеческие следы: партия только что переправилась. — Тревога!» закричал я казаку. «Тревога!» повторил он, поплыв назад на ватагу. Тревога!» отвечали нам с ватаги. Не успел я пройти несколько шагов по дороге к станице, как на Кошачьем посту сзади меня загорелся маяк; потом навстречу мне прискакали казаки из станицы. Я рассказал им, где переправились хищники, сколько их. Они поскакали, а я пошел на Кошачий остров.

Давно собирался я поохотиться на этом острове. Это был большой бугор, примыкавший одной стороной к Кубани. Река подмывала его, и под крутым обвалами песчаного берега каждую ночь, прижавшись друг другу и завернув голову под крыло, ночевали целые стаи уток, а на берегу, на песчаных тропках, всегда видны были следы кошек, ходивших к воде за добычей. С другой стороны обмывал остров довольно широкий лиман, поросший густым камышом. Обыкновенно осенью казаки выжигали камыши, но так как в лимане всегда стояла вода, то огонь останавливался, не дойдя до Кошачьего острова, а сюда скрывался обыкновенно зверь. Остров был покрыт густым кустарником, кое-где возвышались столетние дубы и карагачи; весной светлая зелень мхов смешивалась с розовым цветом гребенчука, и остров был очень красив.

Теперь только сучья дерев, на которых висели сухие лозы виноградника, чернелись между голым кустарником; вдали в разных местах видны были огненные полосы, которые то потухали, то опять разгорались, как будто перебегая с места на место: это горел камыш. Глухой шум слышался все ближе и ближе, и только мое привычное ухо могло различить в нем топот бегущего зверя: это было стадо коз. Вытянувшись, подняв головы, одна за другой, они прыгали по кустам. Я свистнул. Ближняя коза остановилась; я выстрелил, выпотрошил убитого зверя и повесил его против себя на дерево, а сам снова стал караулить. Недалеко от меня в кустах остановилось стадо кабанов, сзади проскакал олень, но мне все не удавалось стрелять. Наконец, я услышал дробный топот лисы; почуяв кровь, она остановилась и осторожно стала

[1]) См. конец 4-й главы.

обходить окровавленное место; занятая рассматриванием этого места, она так близко подошла ко мне, что я мог стрелять в голову, чтобы не портить шкурки. Взяв убитую лису, я опять сел, но было уже поздно: заря уже занималась, с востока потянуло сыростью, звезды бледнели; делалось темнее, только пламя пожарища блестело ярче; утки начинали кричать, и вдали уже слышны были петухи. Выстрел мой испугал кабанов, и я слышал, как они удалились в чащу; мне нечего было больше дожидаться. Я начал снимать шкуру с убитой лисы, вдруг слышу шорох: на дереве против меня, гляжу, огромный кот, осторожно пробираясь между сучьев, подкрадывается к козе, повешенной на дереве; я выстрелил и убил его. Сняв шкуры с лисы и кота и взвалив на плечи козу, я пошел к станице.

Когда я подходил к ней, началась перестрелка — казаки встретили гаджиретов. Оставив козу и шкуры у кунака в курени и взяв хлеба на сутки, я пошел в ту сторону, где слышались выстрелы, неумолкавшие ни на минуту: видно было, что бой шел упорный. Но я опоздал; перестрелка мало-по-малу утихла, и скоро я встретил казаков, возвращавшихся с тревоги: они вели двух пленных и тащили четыре трупа.

«А где Железняк?» [1]) спросил я. — «Ушел!» отвечали они.

— «Стыдно же вам, ребята». — «Да, стыдно, — сказал один казак: — попробовал бы ты убить его; стрелять этих бисовых детей не то, что стрелять какого-нибудь зверя».

Часто слыхал я такие упреки и насмешки от казаков, и потому мне еще больше хотелось встретиться когда-нибудь один на один с неприятелем и посмотреть, так же ли легко убить человека, как оленя или кабана.

В этот день я воротился на Кошачий остров, и так как я всю ночь не спал, то, выбрав самое высокое дерево и сделав себе лабаз, я лег спать. Сначала я спал крепко, но под конец мне стали чудиться странные сны. То я видел Удилину и слышал, как она жаловалась Аталыку, что я ее бросил; я хотел заговорить с ней, но язык не повиновался, и я ревел по-звериному: испуганная девка бежала от меня, я преследовал ее, и вдруг она обращалась в дикую козу и скрывалась в лесу, а я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и какой-то страх находил на меня; я оглядывался кругом, и мне казалось, что из-под каждого дерева на меня наведена винтовка, под каждым кустом сидит неприятель. То мне чудилось, что я на базаре в каком-то большом городе; из окон огромных каменных домов мне кланяются знакомые женские лица, и я никак не мог вспомнить, где я их видал. Вдруг посреди базара показался огромный кабан; он шел прямо на меня, фыркая и щелкая огромными зубами, покрытыми белой пеной. Я проснулся; действительно, в нескольких шагах от моего дерева шел кабан. Я схватил ружье, выстрелил, и раненый кабан упал. Приколов его, я пошел в станицу, взял повозку и двух человек, мы опалили убитого зверя, товарищи мои взвалили на повозку и повезли в станицу, а я опять сел около потухшего костра, надеясь, что запах жженой шерсти приманит какого-нибудь хищного зверя; и действительно в эту

[1]) Т.-е тот, что был в кольчуге, — панцырник, как он звал его выше.

ночь я убил еще двух лис и трех кошек. Таким образом менее чем в двое суток я застрелил оленя, козу, кабана, четырех котов и трех лис. Такие хорошие охоты удавались мне часто; я считался лучшим охотником по всей линии. Мяса у меня всегда было вдоволь, денег тоже, потому что я всякий год продавал шкур на несколько десятков рублей.

Скоро открылся мне новый промысел. В это время вышел указ, по которому мирным татарам запрещено было носить оружие на нашей стороне реки. Каждый казак, встретив на линии вооруженного татарина, имел право отнять у него оружие, а в случае сопротивления, мог даже убить его. На первое время после этого указа пластуны побили много татар. В это время и мне в первый раз пришлось убить человека; я никогда не забуду этого случая. Это было днем; я шел лесом, вдруг слышу — навстречу мне едет верховой. Я шел лесной тропкой, по которой мог ехать только недобрый человек, т.-е. такой, который не желает встретиться ни с кем. Я потихоньку свернул в чащу и стал присматриваться. Скоро я рассмотрел всадника; это был кара-ногай. Длинная винтовка в косматом чехле моталась у него за плечами. Сердце сильно билось у меня, когда я окликнул его; он хотел скакать назад, но тропинка была так узка, что он не смог поворотить коня. Я легко мог застрелить его, но мне было как-то совестно стрелять в человека, не сделавшего мне ничего. Он соскочил с лошади и бросился в чащу; тогда мне стало досадно, что он ушел, и я побежал за ним.

«Стой, а то моя будет урубить!» [1]) закричал он мне. — «Стреляй!» отвечал я и продолжал бежать. Пуля просвистала над моей головой, пыж загорелся у меня в папахе. Я сделал еще несколько шагов и увидал его: он торопливо заряжал винтовку. — «Положи ружье», крикнул я по-ногайски, прицелившись в него. — «Дай мне зарядить!» отвечал он. Я опустил ружье; сердце у меня не билось; я был уверен, что убью его. Не понимаю, отчего я не стрелял по нем.

Ногай торопился заряжать. Он был очень бледен и не спускал с меня глаз; маленькие черные глаза его сверкали, как у зверя. Мне опять стало как-то неловко. Пора было кончить! Я выстрелил, и ногай упал, даже не крикнув: пуля попала ему в шею. Я отодвинулся, чтобы кровавая струя, которая высоко била из едва видной раны, не обрызгала меня, и смотрел, как понемногу лицо его белело и делалось все покойнее. Наконец, кровь остановилась; я снял с него оружие; на нем были простой кинжал и прекрасная крымская винтовка. Это было первое оружие, которое я снял с убитого неприятеля. Через месяц у меня было таких винтовок 9!

Но ни одного человека я не убил безоружного или врасплох, как зверя, не окликнув его. Ни за одного человека я не буду отвечать богу. Не смейся! Очень умный человек, священник, говорил мне: не делай того с людьми, чего не хочешь, чтобы и они с тобой сделали. А ежели я убивал людей вооруженных, то пусть и меня убьют так же, как я убивал моих неприятелей. Ни одного человека я не убил безоружного или врасплох, как зверя, не окликнув его. Я всегда был честный человек!..

---

[1]) Стрелять.

Кабинет В. И. Ленина в Кремле.

Л. Фотиева.

Сейчас трудно себе даже представить, до чего примитивна была та обстановка, в которой приходилось работать В. И. Ленину в 1918 и 1919 г.г., в отношении канцелярского аппарата и особенно в отношении элементарных удобств. Сейчас так изменились наши требования, запросы, а, главное, возможности, что кажется непонятным, как можно было допускать в рабочей обстановке Владимира Ильича те недостатки, которые имели место в то время Как будто даже не находишь оправдания этому! А между тем это имеет свое оправдание и об'яснение в исторической обстановке, которую не надо забывать. Правительство, только что ставшее у власти и еще не окрепшее, в разоренной войной стране, почти ежедневные угрозы самому существованию этой власти, напряженная борьба! До того ли было, чтобы строить канцелярский аппарат? Во всех почти учреждениях сохранился старый аппарат, который, несмотря на массу недостатков, все же имел необходимые навыки и был хорошо обставлен внешне.

Аппарат Совнаркома и, следовательно, Владимира Ильича, так как другого у него не было, разумеется, строился заново, и первые работники его большей частью никогда ранее не знали канцелярии. В этом была своя хорошая сторона, так как благодаря именно этому аппарат Совнаркома выгодно отличался в то время от других отсутствием бюрократизма, который раз'едал и душил все учреждения и от которого вопль и стон стоял. Этого мы тоже сейчас не представляем себе в той степени, в какой это было. Наш аппарат строился нами самими, творческим путем, часто по указаниям Владимира Ильича. Но увы, как часто приходилось нам открывать давно открытые Америки! Шаг за шагом, медленно и постепенно учились мы работать и создавать для Владимира Ильича все более удобную рабочую обстанюку. Однако все же теперешние условия работы несравнимы с теми, в которых работал Владимир Ильич.

Дальше я хочу описать кабинет Владимира Ильича в Кремле, каким он был с самого начала и до последнего времени. В этой комнате Владимир Ильич проводил большую часть своего времени за пять лет работы в Москве. В течение пяти лет эта скромная комната была центром, куда стекались помыслы, надежды, сомнения, любовь и ненависть всего мира, где мыслил, творил и боролся величайший гений века.

В первое время после эвакуации правительства из Петрограда в Москву, когда Совет Народных Комиссаров переместился из Смольного в Кремль — все помещение Совета Народных Комиссаров состояло из 6 расположенных в ряд комнат, считая в том числе и кабинет В. И. Ленина. В самом конце широкого коридора в помещении Совета Народных Комиссаров непосредственно примыкала квартира Владимира Ильича, состоявшая в то время из четырех небольших комнат, очень скромно обставленных. Впоследствии, когда помещение Совнаркома распространилось на другое крыло здания, квартира Владимира Ильича увеличилась на одну комнату, которою во время болезни Владимира Ильича пользовались дежурившие врачи.

Ходить из квартиры в кабинет надо было через коридор. В 1918 г. весь коридор, за исключением узкого прохода, занимал телеграф, в котором круглые сутки шла напряженная работа — передача и прием телеграмм и разговоры по прямому проводу. Все срочные и секретные разговоры велись именно на этом телеграфе, так как телеграфисты здесь были проверенные люди, на которых можно было положиться.

Каждый бывавший у Владимира Ильича в 1918 году помнит этот телеграф, который был неотделим в то время от кабинета Владимира Ильича. Здесь был главный нерв жизни страны. Сюда стекались все сведения со всех фронтов и отсюда диктовались приказы. Отсюда в дни левоэсеровского восстания в июле 1918 г. спешно передавалось Сталину, бывшему в то время в Царицыне, сообщение о событиях в Москве. Левые эсеры, овладевшие кое-где телеграфом успели разослать ложные сообщения, что будто бы правительство в Москве свергнуто и власть перешла в руки эсеров. Необходимо было оповестить об истинном положении вещей. Но как знать, действительно ли у аппарата Сталин или овладевший телеграфом противник. Карахану приходит мысль заговорить по-грузински, и «личность установлена». Не напрасно спешили с передачей. Ответ Сталина был прерван на полуслове: эсеры перерезали провода.

Дверь в кабинет, через которую обыкновенно ходил Владимир Ильич, ведет именно из этого коридора. Против нее расположена дверь к выходу. В конце 1918 г. телеграф перевели в другое помещение, и к двери кабинета был поставлен часовой. Часовые назначались из состава пулеметной школы, расположенной в Кремле, и менялись так часто, как это полагается. Среди них было много еще несознательных, а среди их учителей оказался даже один белогвардеец. Однажды, забыв всякую осторожность, он сказал: «сволочь будет тот офицер, который на фронте не перейдет к Деникину». Среди нескольких слышавших его красноармейцев оказался один коммунист, который сообщил, кому следует, и «учитель» был арестован. Однажды на двери кабинета Владимира Ильича замечена была надпись карандашем: «на посту стоял левый эсер».

Впоследствии часовых сняли, и дверь стали охранять специально назначенные для этого сотрудники ВЧК.

Мимо этой двери проходили все те, кто шли в Совнарком, а в то время туда почти беспрепятственно шел всякий, кто хотел и у кого была какая-нибудь

нужна до Совнаркома. Прошла мимо этой двери в числе прочих, добиваясь по что бы то ни стало свидания с Владимиром Ильичем, какая-то работница с Украины. У нее было дело «государственной важности, от которого зависела судьба советской власти» и которое она могла доверить только Владимиру Ильичу. Никакие уговоры и предложения переговорить с кем-нибудь другим из старых членов партии или изложить свое дело письменно, ни собственноручная записка Владимира Ильича не помогали. Так она и ушла, унося с собой свое государственное дело. Нам она показалась очень подозрительной. Была она психически больной или преступницей — так и осталось неизвестным».

Прошла мимо этой двери, также добиваясь свидания с Владимиром Ильичем, с билетом члена РКП (б) в кармане, особа, назвавшая себя старою знакомою Владимира Ильича, ходившей к нему 25 лет тому назад в тюрьму на свидание в качестве «невесты»! Фамилия ее была опубликована осенью 1919 г. в числе участников крупнейшего белогвардейского заговора (раскрыто ВЧК). А сколько еще не узнанных врагов прошло мимо этой двери!

Есть другая дверь из кабинета Владимира Ильича. Эта дверь ведет в так называемую «будку» (помещение для верхнего коммутатора Кремля). Будка была так же неразрывно связана с кабинетом Владимира Ильича, как и телеграф в коридоре, при чем эта связь, правда с большими изменениями, сохранилась до последнего времени. Эту будку, как и телеграф, несомненно помнят все товарищи, бывавшие в то время у Владимира Ильича.

В «будке» была установлена телефонная связь с комнатами и квартирами Народных Комиссаров, с ЦК РКП, со штабом Красной армии, с Петроградом, Харьковом и другими городами.

Это было время фронтов, катастрофических положений, кризисов и белогвардейских заговоров. В кабинете Владимира Ильича в то время почему-то телефонов не было, и он приходил говорить в будку. В острые моменты, когда все собирались около Владимира Ильича, сюда же приходили и другие товарищи, — помню Сталина, Чичерина, Троцкого, Цюрупу. Телефонистами в 1918—1919 г.г. были испытанные рабочие, приехавшие вместе с Совнаркомом из Смольного, Владимир Ильич называл их своими секретарями и давал им часто разные мелкие поручения, касавшиеся отправки писем, записи и вызова на прием, передачи по телефону какого-либо сообщения и т. п. «Будка» слышала все, и первая знала все новости. Наружная дверь в будку выходила на лестницу. Дверь в кабинет не запиралась. Было несколько случаев, когда через будку в кабинет Владимира Ильича прошли совершенно без контроля посторонние люди, имевшие какие-то просьбы к Владимиру Ильичу. После этого наружную дверь в будку заперли и поставили к ней часового который пропускал в нее только нескольких товарищей по особому списку.

Помню, как народный комиссар продовольствия Цюрупа, которому от переутомления и голодовки (это было в 1918 г.) сделалось дурно на заседании Совнаркома и который хотел прилечь на стоявший в будке диванчик, тщетно упрашивал часового пропустить его.

Впоследствии, когда у Владимира Ильича в кабинете были установлены телефоны, а также когда жизнь вошла в более спокойное русло — роль

будки, кроме телефонной связи, свелась только к исполнению мелких поручений Владимира Ильича.

Состав телефонистов тоже изменился. Особенно часто обращался Владимир Ильич к будке, когда хотел быстро отправить письмо и получить ответ. По его указанию в будке были нами заведены книги для записи передаваемых пакетов с пометкой часа и минут отправки и получения и с расписками дежурных. Во время болезни Владимира Ильича через будку шла связь с Горками: будка получала и отсылала все нужное Владимиру Ильичу.

Третья дверь из кабинета ведет в зал заседания Совнаркома. В первые годы это была комната в два окна, которая называлась «красным залом». В ней Владимир Ильич проводил в 1918 и 1919 г.г. каждый вечер, так как заседания Совнаркома в то время были ежедневно кроме воскресенья, начинались в 8½ ч. вечера и оканчивались в 1 — 2 ч. ночи. От табачного дыма дышать было трудно и летом в конце заседания, во время длинных речей докладчиков, Владимир Ильич обыкновенно садился на подоконник открытого окна, высовываясь из окна, насколько это было возможно. После ранения Владимира Ильича врачи запретили ему быть в накуренной комнате, и в Сонаркоме курить было запрещено.

В 1921 г. эта комната была соединена с соседнею, тоже в два окна, таким образом получился зал заседания в 4 окна.

При жизни Владимира Ильича Секретариат Совнаркома работал в зале заседания. Это было вызвано как недостатком помещения, так и необходимостью быть ближе к кабинету Владимира Ильича, для того, чтобы без замедления исполнять его распоряжения.

О том, с какой быстротой и точностью исполнялись поручения Владимира Ильича, я писала раньше. Расскажу здесь один комический эпизод. Однажды вечером (если не ошибаюсь, в 1920 г.) Владимир Ильич сказал дежурной сотруднице Секретариата: «дайте мне весь состав коллегии Наркомзема». Он имел в виду список, а дежурная поняла иначе и стала спешно по телефону вызывать к Владимиру Ильичу всю коллегию Наркомзема. Можно себе представить, какой поднялся переполох! Свидания у Владимира Ильича добивались и ждали как события, а тут вдруг он зовет сам, да еще всю коллегию! Через несколько времени Владимир Ильич, потеряв терпение в ожидании «бумажки», снова затребовал ее. Тогда только выяснилось недоразумение, и стали бить отбой. Одного из членов коллегии больного флюсом перехватили в тот момент, когда он садился в автомобиль. От волнения и спешки нарыв у него прорвался, чем он был очень доволен. Когда Владимиру Ильичу рассказали о происшедшей ошибке и о том, что эта ошибка произошла отчасти из-за его неточного выражения — он со смущением спросил: «Неужели я так сказал?».

В эту третью дверь, соединявшую кабинет Владимира Ильича с залом заседания, входили к нему все, кого он принимал, кроме нескольких самых близких к нему товарищей, которые входили к нему в дверь из коридора.

Сколько сотен человек за 5 лет с сердечным трепетом и волнением вошли в эту дверь и вышли оттуда окрыленные, с новыми, вдруг, от несколь-

ких слов Владимира Ильича, открывшимися горизонтами, с новыми силами, начавшими было падать от утомления и от почти нечеловеческих трудностей работы, очищенные от всяких скверн, дрязг и склок, которые как червяк незаметно, но упорно подтачивают силы и которые так ненавидел Владимир Ильич.

Внутренняя обстановка кабинета до самого конца осталась почти в том же виде, какою была первые дни. Добавления, которые делались с течением времени, не меняли стиля, а лишь прибавляли детали. Главная черта этой небольшой скромной комнаты в два окна — простота и целесообразность. Нет почти ни одной вещи, которая не имела бы какого-нибудь значения для Владимира Ильича и которая не отражала бы его индивидуальности Исключение в этом отношении составляли большие, старинные, всегда фальшивившие часы. Владимир Ильич не любил их, он считал весьма плохими часы, которые фальшивили на 1 минуту в сутки, а с этими часами случился такой грех и минут на 15. Часовщик, который и до сих пор заводит и чинит все часы в Кремле, много раз слышал от Владимира Ильича замечания по поводу этих часов, но, повидимому, исправить их было нельзя. Однако Владимир Ильич отклонял предложение переменить их. Другие будут такими же, говорил он нехотя. В конце концов, они все-таки были заменены другими.

Двери и окна в кабинете без драпировок. Это желание Владимира Ильича. Он не любил драпировок и никогда не позволял спускать штор, как будто ему тесно и душно было в отделенной от внешнего мира спущенными шторами комнате.

Температура в кабинете не должна была превышать 13°. Температуру выше хотя бы на один градус Владимир Ильич переносил плохо и за излишнее усердие в этом отношении делал замечания.

Владимир Ильич привык к своему кабинету и любил его. Много раз мы предлагали ему поменять комнату на большую и лучшую в другом крыле здания, однако он всегда и решительно отказывался. Так же решительно отказывался он переменить письменный стол, который был невелик, на больший и лучший.

На письменном столе, стоящем почти по середине комнаты, всякая вещь имеет свое место и значение.

С правой стороны три телефона с усилителями. Всем известно, какую роль играл телефон в работе Владимира Ильича и как часто он им пользовался. Этим об'ясняется то возмущение и раздражение, которое вызывала у Владимира Ильича плохая работа телефонов, особенно иногородних. Необходимость сильного напряжения голоса и слуха при частых разговорах на дальние расстояния, перерывы и шум в аппарате, все те недостатки в работе телефона, которые лишь очень медленно и постепенно уничтожались, вызывали большие неудовольствия и даже раздражение Владимира Ильича. Мы получали многократно распоряжения и устные и письменные, адресованные управляющему делами Совнаркома, народному комиссару почт и телеграфов и другим лицам с категорическими требованиями добиться безуко-

ризненной работы телефона. Однако, повидимому, это не зависело от воли отдельных лиц, и даже учреждений. Мне вспоминаются разговоры с Владимиром Ильичем уже в начале в 1922 г., когда он из Горок диктовал ряд поручений и писем по специально для него установленному аппарату с прямым проводом. Но и этот аппарат работал небезупречно. В это время, вероятно, по причине уже начавшегося заболевания, Владимир Ильич особенно остро реагировал на всякий посторонний шум при разговоре по телефону или перерыв. Почти при каждом разговоре Владимир Ильич отмечал, как работает телефон, например: «сегодня вот телефон хорошо работает», или «почему-то только что хорошо было слышно, а вот сейчас опять хуже» и т. п. Особенно памятен нам Харьковский провод, по которому Владимир Ильич часто разговаривал и который постоянно портился.

На столе слева обыкновенно лежали папки с бумагами. На протяжении нескольких лет работы у Владимира Ильича, я по его указаниям и по своей инициативе пыталась приспособить эти папки наиболее целесообразным для работы Владимира Ильича образом, но это мне так и не удалось. Владимир Ильич поручал завести ему папки для бумаг спешных, неспешных, важных, менее важных, просмотренных, непросмотренных и т. д. Эти папки заводились, бумаги в них раскладывались в соответствующем порядке, к каждой бумаге прикреплялась записка с кратким изложением сути дела, в начале каждой папки прилагалась краткая опись бумаг, папки раскладывались на столе в самом «убедительном» порядке и... лежали себе спокойно и мирно, а нужные ему бумаги Владимир Ильич загребал на середину стола и, уходя, клал на них большие ножницы. Это означало «трогать не сметь». Или же складывал все нужные ему бумаги в одну совершенно постороннюю папку и уносил с собой. Эта папка жила живой жизнью, над ней работал Владимир Ильич. Но, наконец, она разбухала, так как все новые бумаги, которые почему-либо обращали на себя его внимание, он складывал в эту папку, и некоторое время их никто, кроме него, не трогал. Получивши разрешение Владимира Ильича, я разбирала их и раскладывала по соответствующим папкам, выбирая из этих папок устаревшие бумаги в архив.

Несмотря на постоянную неудачу этих попыток, Владимир Ильич почему-то все время возвращался к ним. Он даже сказал однажды: «вот у Троцкого все бумаги в порядке, а я этому никак научиться не могу». В конце концов, мы ему завели одну большую папку с отделениями, но результаты были те же. Отделение «самое срочное и самое важное» жило живой жизнью, а остальные мирно спали. Вылежавши более или менее длинные сроки, бумаги шли в архив. Жизнь шла таким темпом: «самого срочного и самого важного» было в ней столько, что на остальное нехватало времени. Да и не только по бумагам работал Владимир Ильич: все, что ему нужно было знать, он умел узнавать и путем личных бесед.

Ящики его стола были всегда заперты, за исключением верхнего левого, в котором он складывал все бумаги со своими распоряжениями. Отсюда мы вынимали их по несколько раз в день для исполнения.

Однажды после ухода бухарских гостей, в тот час, когда Владимир Ильич обыкновенно уходил домой — дверь в кабинет из залы заседания оказалась запертой изнутри. Дежурная «секретарша» (так называл нас Владимир Ильич), предположив, что ее запер сотрудник ВЧК, охранявший другую дверь, и обеспокоенная тем, что поручения Владимира Ильича останутся неисполненными, подняла отчаянный стук в дверь. Через несколько минут ее открыл со смехом Владимир Ильич. Он был в пестром халате, который подарили ему бухарцы и который ему вздумалось примерить.

В другие ящики стола складывались бюллетени Коминтерна и другие бумаги, которые Владимир Ильич просматривал очень редко, раз они уже попали в ящик.

На столе всегда лежали большие ножницы, которыми он сам разрезал конверты с надписью, заведенной по его инициативе, для особо секретной переписки с ближайшими товарищами: «лично, никому другому не вскрывать», — и перламутровый ножичек для разрезания книг, присланный ему Томским. Владимир Ильич однажды сказал с удивлением: «сказал мельком Томскому, что хотел бы иметь ножик, и на другой же день прислали».

Вообще надо заметить, что, насколько Владимир Ильич всегда возмущался и негодовал на «безрукость» и не пропускал случая отчитать за нее хорошенько, кого следует, настолько же он бывал доволен быстрым и хорошим исполнением и, охотно, каждый раз с легким удивлением, отмечал его даже в мелочах. Я отлично помню, как он был доволен стенным календарем, изданным Госиздатом на 19 или 20 год, в котором цифры были так крупны, что их можно было видеть через всю комнату. Он несколько раз со своей лукавой усмешкой сказал: «У нас это умеют сделать? У-ди-ви-тельно!». Календарь этот висел на стене против письменного стола, и Владимир Ильич сам срывал ежедневно листки.

На столе лежали несколько всегда хорошо очиненных карандашей, ручки, гумми-арабик с «носом», которым Владимир Ильич сам заклеивал особо секретные письма, и другие принадлежности письменного стола.

Когда Владимир Ильич давал кому-либо из своих «секретарш» для отправки особо секретно письмо, он всегда говорил: «прошейте его и запечатайте сами сургучем, и каждый раз с улыбкой спрашивал: «вы умеете это сделать?». Шутки Владимир Ильич очень любил. Мне кажется, вообще, характеризуя его манеру работать, можно сказать, что он работал весело. Он обладал в высшей степени чувством юмора. Во время приема то-и-дело в его кабинете слышался смех, смеялся он также часто и на заседаниях Совнаркома. Смех его был необыкновенно заразителен и никогда не был обидным для того, над кем он смеялся. Это был смех человека, обладавшего кипучей энергией и избытком жизненных сил. Этот избыток сил передавался другим, и все около него жили ярко, радостно, празднично. Только последние два с половиной месяца работы (октябрь — декабрь 1922 г.), когда он был уже под гнетом своей болезни, реже слышен был его смех. Распоряжения свои он всегда почти сопровождал шутливыми замечаниями и улыбками. Поэтому было так радостно с ним работать, и самая большая требовательность, самая

суровая дисциплина не воспринимались, как гнет, а как нечто, чему подчинялись охотно.

Перед письменным столом стояло простое плетеное кресло, такое же кресло в зале заседания. Мягких кресел Владимир Ильич не любил и никогда на них не сидел.

В 1919 г. после какого-то небольшого заседания, бывшего в кабинете Владимира Ильича, он поручил мне достать ему «простой человеческий стол на четырех ногах, за которым можно было бы сидеть и писать» (то-есть не письменный, не с тумбами), этот стол был приставлен перпендикулярно к письменному столу, и по обеим сторонам его поставлены большие кожаные кресла. Когда кто-нибудь приходил к Владимиру Ильичу на прием, он вставал и пододвигал одно из этих кресел к своему столу и сам садился ближе к нему, часто наклонившись в позе внимательного слушателя. Владимир Ильич умел слушать, как никто, если беседа интересовала его.

Под письменным столом в ногах по просьбе Владимира Ильича был положен кусок войлока, так как у него мерзли ноги. Когда однажды мы заменили этот войлок шкурой белого медведя, Владимир Ильич сделал мне строгий выговор за излишнюю роскошь. Только мои уверения, что в другом учреждении я видела также шкуры в нескольких кабинетах и у не очень ответственных работников, несколько примирили его с этим нововведением.

На столе маленькая лампа с зеленым стекляным абажуром. По вечерам, если у Владимира Ильича никого не было, он работал с этой лампой, не зажигая люстры. Владимир Ильич ни одного разу не ушел из кабинета, не выключив электричества, и, если нам случалось уйти, оставив свет и он обнаруживал это, он никогда не забывал на следующий день сделать нам замечание за непроизводительный расход электрической энергии. Стеклянный абажур в октябре 22 года по просьбе Владимира Ильича был заменен мягким.

На блокноте, лежавшем всегда на столе, Владимир Ильич писал записки, распоряжения и записывал фамилии товарищей, просивших приема.

У двери, ведущей в коридор, небольшой стол — весь заваленный атласами и картами. Географические карты занимали большое место в кабинете Владимира Ильича. В нижнем ящике одного из книжных шкафов целый склад карт. На печке — наклеенная собственноручно Владимиром Ильичем маленькая карта границ России с Персией и Турцией. Мне казалось, что она ни к чему не нужна, однако Владимир Ильич не разрешал ее снять, он говорил, что привык к тому, что она висит здесь. Владимир Ильич вообще любил обстановку привычную, — неменяющуюся. Как будто в этом покое комнаты и вещей, которые всегда одни и те же и всегда на старых привычных местах, он находил отдых от богатой разнообразными событиями жизни.

На «простом человеческом столе» обыкновенно лежала то одна, то другая карта, в зависимости от того, где остро шла гражданская война. Владимир Ильич часто выражал желание иметь какое-нибудь приспособление для карт, чтобы их можно было иметь всегда в развернутом виде и быстро менять по мере надобности. После долгих бесплодных поисков такого при-

способления мне удалось, кажется, в конце 19 или в начале 20 года, при помощи Склянского заказать одному из инженеров РВС такой аппарат. Это было большое сооружение, занявшее все пространство от двери до конца стены, ведущей в зал заседания. Висевшая здесь до того времени большая карта России была перевешена в простенок между окнами, для чего пришлось вынести из кабинета стоявшее раньше на этом месте зеркало. Двенадцать больших карт были наклеены на полотно и вставлены в раму, которая стояла на подставке высотою аршина 1½. С правой стороны рамы приложена ручка, от поворотов которой полотно поворачивается вокруг рамы вверх и вниз. Изготовляли это сооружение, по словам инженера, 10 человек рабочих, что-то уж очень долго, не помню сколько месяцев. Когда, наконец, принесли — много было волнений и, каюсь, может быть незаслуженных упреков, с моей стороны, по адресу инженера, по поводу того, что карты наклеены негладко и передвигаются криво. Однако Владимир Ильич был доволен и к недостаткам отнесся добродушно. «Это вещь трудная, — сказал он: — гладко наклеить на полотно, где уж нам русским сейчас это сделать».

Все свободные простенки в кабинете Владимиром Ильичем заняты американскими книжными шкафами. В первое время не было библиотекаря, и книги просто без всякого порядка складывались в шкафы. Позже поручено было одному сотруднику, немного знакомому с библиотечным делом разобрать книги и составить каталог. В 1920 году для работы в библиотеке была приглашена сотрудница Госиздата т. Манучарьянц. С этого времени в библиотеке мало-по-малу стал устанавливаться порядок, книги раскладывались по отделам. Был небольшой отдел беллетристики, состоящий преимущественно из русских классиков. Однажды, просматривая книги, Владимир Ильич сказал: «странно, что Толстой считает язык Лескова образцом красивого и правильного русского языка, я этого не нахожу». Был отдел белогвардейской литературы, энциклопедические словари, марксистская литература и т. д. Новинки все складывались по желанию Владимира Ильича в самый нижний ящик одного из шкафов, который случайно оказался пустым в то время. Хотя Владимиру Ильичу и приходилось просматривать их, сидя на корточках, однако переменить место он не разрешал.

В присылаемых Владимиру Ильичу списках книг, а также в библиографических отделах газет он подчеркивал синим или красным карандашом название книги, которую он желал получить, или писал записку и клал в левый ящик стола. С тех пор, как начала работать библиотекарша, эти книги он получал на другой же день. «Вчера только написал, а сегодня уже получил», отмечал Владимир Ильич с удовольствием и с обычным в этих случаях удивлением.

Когда книг накопилось слишком много, для библиотеки была дополнительно отведена особая комната, и в кабинете Владимира Ильича оставались только наиболее нужные ему книги.

Около письменного стола с правой и с левой стороны стоят вертящиеся этажерки, которые Владимир Ильич называл «вертушками». На правой «вертушке» была подобрана вся справочная партийная и советская литера-

тура, которая могла понадобиться Владимиру Ильичу в его работе, и словари. О подборе этой литературы Владимир Ильич сам неоднократно делал указания и часто пользовался ею. Часто также пользовался он энциклопедическими словарями.

Левая «вертушка» была заказана по указанию Владимира Ильича со специальными отделениями для стоящих папок, чтобы разгрузить от них стол. На нее также клал Владимир Ильич книги, которые он намеревался в ближайшее время просмотреть.

Одним из справочников, которым Владимир Ильич постоянно пользовался и который обыкновенно лежал у него на письменном столе, — был указатель железных дорог. Однажды он исчез, Владимир Ильич очень жалел об этом, так как в нем было много его отметок, и несколько раз просил нас опросить всех, кто у него бывает, предлагая заменить его другим экземпляром. Мы опросили всех, кого только можно было, но указатель так и не нашелся. После этого на другом экземпляре Владимир Ильич сделал надпись: «экземпляр Ленина» и предупреждал нас. чтобы нужные ему книги мы не разбрасывали в кабинете, так как товарищи не считают за большой грех стащить интересующую их книгу.

Позади письменного стола стоят 2 этажерки с переплетенными комплектами русских газет и с иностранными газетами, разложенными по папкам с надписями: «французские», немецкие», английские», «итальянские».

Тут же сфотографированный и переплетенный комплект «Правды» за 1917 г

У окна этажерка, на которую мы клали русские газеты, подобранные за текущий месяц, ведомости книг и некоторые папки.

Против этажерки большая пальма. Владимир Ильич любил ее и наблюдал за нею. Когда она начинала хиреть — приглашал садовника. Срезанные цветы Владимир Ильич не любил и никогда не позволял ставить их в комнате.

На полочке над диваном — портреты Маркса и Халтурина. Оба — работа рабочих, подарки Владимиру Ильичу. На портрете Халтурина надпись была вдавлена и плохо заметна. Владимир Ильич обвел ее мелом, заметив при этом, что не всякий знает, чей это портрет. Впоследствии лепивший Владимира Ильича Альтман покрасил ее золотой краскою.

На столе несколько подарков, присланных Владимиру Ильичу. Литая обезьяна, рассматривающая череп человека — подарок Хаммера, чернильный прибор кавказской работы, чернильница из карболита с двумя висячими лампочками, пепельница с зажигалкой в виде снаряда — все подарки рабочих.

Ни в комнате Владимира Ильича, ни в одной из комнат в Совнаркоме, куда бы мог зайти Владимир Ильич, не было его портретов. Он их с негодованием выбрасывал, когда они ему попадались на глаза, и только необходимость, а также энергия фотографов заставляли его сниматься. Фотографы иногда не брезгали никакими средствами. чтобы снять его. Так однажды в октябре 1922 г. один известный своей энергией фотограф явился в Совнарком, заявил мне, что Владимир Ильич назначил ему притти в этот час и, не

дожидаясь разрешения, вошел следом за мною в кабинет. Владимир Ильич был очень раздосадован, однако все же снялся.

Многие художники хотели писать портрет Владимира Ильича и лепить его. Обыкновенно он категорически отказывал им. Однако, после долгих просьб, в 1920 г. Владимир Ильич дал согласие скульптору Альтману, обусловив себе полную свободу действия во время сеансов. Альтман обещал закончить работу в 2 — 3 сеанса, но лепил, кажется, месяца 2, почти ежедневно и по несколько часов. Одновременно в 2—3 приема, не более, чем по получасу каждый, скульптор Андреев сделал несколько набросков карандашем и слепил миниатюрную голову Владимира Ильича. Кроме них, лепила Владимира Ильича с натуры, если не ошибаюсь, еще только английская скульпторша Шеридан, написавшая впоследствии книгу о своем пребывании в Москве. Владимир Ильич просматривал эту книгу и отнесся к ней неодобрительно.

Во время сеансов Владимир Ильич не прерывал работы, говорил по телефону, принимал посетителей, писал и вообще вел себя так, как будто не замечал присутствия лепившего его скульптора. Это, разумеется, сильно затрудняло работу.

За все время никто, кроме Владимира Ильича, не работал в его кабинете, за исключением Я. М. Свердлова, который во время болезни Владимира Ильича после ранения (в 1918 г.), по его поручению проводил в его комнате ежедневно 2—3 часа, разрешая наиболее срочные и важные дела.

Это продолжалось 1—2 недели. Обыкновенно же, даже во время длительного отсутствия Владимира Ильича, кабинет его оставался пустым.

Последний раз работал Владимир Ильич в своем кабинете 12 декабря 1922 г.

Несколько месяцев спустя, мы, потрясенные, прячась от него, смотрели в окно, как его несли на носилках и укладывали в автомобиль, чтобы отвезти в Горки.

Всего один только раз после этого и на одну только минуту заглянул Владимир Ильич в свой кабинет. За несколько месяцев до смерти, будучи уже совершенно больным и не могший ходить без посторонней помощи, проявил он еще раз свою непреклонную волю. Вопреки всем уговорам, сел в автомобиль и велел везти себя в город. Зашел на квартиру, заглянул в зал заседания, зашел в кабинет, оглядел все, проехал по городу и уехал обратно в Горки.

Есть много портретов Владимира Ильича и много написано воспоминаний. Но как ни один портрет не даст подлинного физического образа Владимира Ильича, не покажет его таким, каким он был в действительности — тому, кто не знал и не видел его никогда — так еще во много раз труднее нарисовать его духовный образ.

Этот образ так многогранен, так колоссально значителен, что только общими силами, только коллективной работой лиц, близко знавших его, собирая все новые штрихи и новые детали, можно нарисовать его.

Написанное мною в этой статье именно и имеет целью прибавить еще несколько штрихов, несколько, кажется мне, фотографически верных деталей к этой коллективной работе.

Методологические вопросы искусства

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

Статья вторая.

1.

Эрнст Гроссе, один из выдающихся исследователей происхождения искусства, характеризует всю метафизическую эстетику следующими словами:

> «Попытки построить философию искусства до сих пор почти всегда производились в непосредственной зависимости от той или другой умозрительной философской системы и потому делили с этою системой ее участь. Вместе с своею системой каждая из этих попыток достигала в известное время более или менее широкого господства и вместе с нею, спустя некоторое время, погружалась в забвение. Здесь не место входить в рассмотрение вопроса, чего вообще стоили эти умозрения. Если приложить к ним строго-научную мерку, то нужно признать, что они заслужили свою участь. Можно удивляться их смелости, но нет никаких сомнений в том, что фактическая подкладка весьма мало обосновывала эти отвлеченные построения и что методы, при помощи которых они возводились, плохо содействовали их прочности. Философия искусства гегельянцев и гербартианцев в действительности имеет теперь лишь исторический интерес [1]).

В этой характеристике отчетливо определяется общее направление современного искусствоведения. Эстетика, как отвлеченная система различных категорий, осуждается самым решительным образом, отвергается как бесплодная спекуляция. Искусствоведение имеет, согласно такой постановке вопроса, своей первой и главной задачей исследовать явления искусства в их историческом развитии, для чего требуется открыть сами корни искусства, лежащие не в каком-то потустороннем мире, а возникшие здесь, на нашей планете в человеческом обществе. Эта задача требует необычайно сложной

[1]) Э. Гроссе, Происхождение искусства, пер. Грузинского, М. 1899, стр. 3.

работы, и потому совершенно справедливо говорит тот же Гроссе, что «даже наиболее элементарные социологические вопросы, в сущности, ужасно сложны, а наука об искусстве особенно богата трудностями, которые имеют свойство казаться легче, чем они есть в действительности». Вот эти трудности стараются преодолеть многие исследователи, посвятившие себя социологическому и историческому изучению искусства.

Здесь будет нелишним отметить следующее интересное явление. Из всех идеологических областей или, выражаясь нашим марксистским термином, из всей надстройки, работы по искусству проникнуты, сознательно или бессознательно (многие работы прямо сознательно), марксистским методом. В то время, как по вопросам этики и религии и даже по вопросам истории научной мысли большинство исследователей все еще работают умозрительными идеалистическими методами, стараясь об'яснять эти дисциплины идеалистическими мотивами, — искусствоведы становятся все более и более на материалистическую точку зрения, успешно об'ясняя явления искусства хозяйственными отношениями. Происходит это прежде всего потому, что материалистическое рассмотрение искусства, отыскание реальных его корней менее угрожает буржуазной идеологии, чем, напр., выявление земного общественного происхождения религии, или социальных основ теории нравственности. Кроме того, произведения искусства выявляют более ясную непосредственную связь с производственными отношениями и с социальным бытием, чем, скажем, наука или философия. Социологическая история искусства наносит удар за ударом метафизической старой умозрительной эстетике. Старая эстетика подвергала по-своему анализу готовые высоко-развитые формы и нормы эстетических ценностей, рассматривая их, как самостоятельные вечные неподвижные категории. Вследствие такого неисторического, метафизического рассмотрения, утилитарная сторона искусства провозглашалась как полная противоположность эстетической ценности. Как и во всех областях общественного сознания, так и в области искусства метафизический взгляд, игнорируя происхождение и историю вещи, преграждает путь к ее действительному всестороннему пониманию. Если искусство, как эстетическая ценность, является предметом удовлетворения эстетического чувства, то отсюда следовал, как мы это видели в предыдущем очерке, тот односторонний метафизический вывод, что предметы искусства не имеют никакого другого содержания и лишены всяких других не-эстетических целей. Эстетическая форма отрывалась от содержания, эстетическое наслаждение искусством — от его реальных общественных целей. Этот формальный суб'ективный анализ, со всеми своими разветвлениями, рядом со всеми своими отрицательными сторонами, заслонивши все содержание искусства и тем самым повредивши полному выяснению этой важной общественной функции, — не прошел, тем не менее, совершенно бесследно и в смысле положительных результатов. С этой точки зрения нельзя согласиться с одной стороной высказанной мысли в приведенной цитате из Гроссе, что «Гегелевская и Гербартианская эстетика», или эстетика кантианская и т. д., умерли, не оставив никакого положительного следа в науке об искусстве. Такое утверждение тоже

односторонне и выражает собой своего рода метафизический взгляд на историю развития искусствоведения. Метафизическая эстетика, несмотря на часто фантастическую постановку и разрешение вопроса, все же, в лице ее лучших представителей, разрабатывала, и подчас с большой тонкостью, некоторые суб'ективные черты художественного творчества, которые не могут быть обойдены ни в какой отрасли познания, так как и суб'ективная сторона при исследовании должна также рассматриваться, как об'ективная категория, с целью раскрытия ее законов. Поэтому совершенно справедливо говорит Маркс, оценивая идеализм в 1-м тезисе о Фейербахе, который гласит, как известно, следующим образом:

> «Главный недостаток материализма — до фейербаховского включительно — состоял до сих пор в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый внешними чувствами мир лишь в форме об'екта или в форме созерцания, а не в форме чувственной человеческой деятельности, не в форме практики, не суб'ективно. Поэтому деятельную сторону, в противоположность материализму, развивал до сих пор идеализм, но развивал отвлеченно, так как идеализм, естественно, не признает чувственной (sinnliche) деятельности, как таковой».

Эта мысль Маркса имеет многостороннее значение, полному анализу которого здесь не место. Но в данной связи, в связи с нашей теперешней темой, важно подчеркнуть ту сторону мысли Маркса, что идеализм не представляет собою сплошную фантазию, не отражающую в себе ничего действительного. Это — во-первых. Во-вторых — что идеализм до исторического материализма разрабатывал идеологию, но, конечно, как справедливо отмечает Маркс, односторонне. Но в этой односторонней разработке имеется доля истины. Об этой доле истины правильно говорит Ленин, развивая одну из сторон только что цитированного взгляда Маркса: «Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное, überschwängliches (Dietzgen) развитие (раздувание, распухивание одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный» [1]). Эстетическую сторону искусства увеличивали и развивали до таких необ'ятных размеров, что ее делали основой не только философии искусства, но также теории познания, морали и вообще общего мировоззрения, даже космогонии.

Отдавая должное идеализму, мы, само собою разумеется, имеем в виду идеализм прошедшего, т.-е. классический идеализм тех эпох, когда историческая жизнь и вся идеология не знали другого об'яснения, кроме идеалистического. В наше же время, когда, как справедливо выразился Энгельс, исторический материализм изгнал идеализм из его последнего убежища —

[1]) «Большевик» № 5—6 (21—22), март 1925, стр. 104.

из истории, дав нам в руки истинное орудие научного исследования всех форм историко-общественного движения, — идеализм является великой помехой к действительному пониманию вещей. Даже те исследователи искусства, которые, поддавшись влиянию эпохи, стали на социологическую точку зрения, но которые в то же время сохранили идеалистические мотивы, искажают в своих местами ценных исследованиях всю историческую перспективу. Примером может служить такой знаток искусства, как Карл Гросс, который, исповедуя эстетические принципы Канта и Шиллера, провозгласил парадоксальную теорию, что человеческому труду предшествовала игра.

2.

Целый ряд исследователей искусствоведов пришли к совершенно ясному умозаключению, что обоснование эстетики возможно только путем историческим. Лишь познание социального происхождения искусства и его исторического развития в состоянии открыть как законы его движения, так и сущность этой отрасли культуры. Это поняли в настоящее время и такие искусствоведы, которые очень далеки от исторического материализма. Так, напр., Мейер-Греффе, формулируя свою точку зрения на познание искусства, пишет следующее:

> «Искусство отнюдь не есть нечто личное, индивидуальное (die Kunst ist nichts Persönliches); оно столь же мало индивидуально, как и мир, из которого оно заимствует свои образы. История искусства так же, как мировая история, свободна от всякого произвола; более того — строение искусства дает даже еще лучшие точки опоры для того, чтобы преодолеть (кажущуюся) случайность, чем область историка, в которой иногда смысл событий скрывается за непроницаемым покрывалом. Все, что искусство когда-либо создало, сохраняется и остается. Ничто не падает и не исчезает из того, что достигло известной высоты: оно только изменяется, ныряет, принимает новые формы и соединяется с новыми ценностями, но никогда не пропадает Вот этот-то сокровенный жизненный элемент и надо отыскать. Если это удастся, то мы найдем самое лучшее, чем мы обладаем — доказательство непреходящности (Unvergänglichkeit) нашей породы. Я надеюсь принести пользу в том случае, если я этим опытом истории развития искусства доставлю доказательство этого закона о сохранении достижений искусства. Моменты такого рода доказательства должны вместе с тем дать нам элементы эстетики, чтобы мы могли притти к усмотрению ценности произведений искусства. Ибо познание бессмертного элемента в искусстве, без сомнения, дает нам познание его красоты» [1]).

---

[1]) Meier-Graefe, Entwickelungs-Geschichte der Modernen Kunst, Band I, Stuttgart MCMIV, S. VI — VII.

В этой формулировке заключается несколько чрезвычайно важных положений. Во-первых, утверждается тот несомненный взгляд, что искусство являет собой строжайшую историческую закономерность и что оно, следовательно, не представляет собою исключительного результата гения отдельных личностей: оно, таким образом, строго-обусловленный общественно-исторический продукт. Во-вторых, здесь утверждается, что истинно художественная ценность сохраняет свое значение. В-третьих, — что главная задача эстетика состоит в раскрытии исторических законов искусства.

Оставляя в стороне вопрос о том, выполнил или не выполнил Мейер-Греффе намеченную им программу, замечу мимоходом, что он ее выполнить не мог, так как Мейер-Греффе эклектик, проблема же поставленная им и **формальные** руководящие принципы для ее разрешения совершенно правильны. В этой программе мы видим прежде всего одну из главных и самых трудных проблем, это — проблема критерия эстетической ценности, т.-е. перед нами та же проблема, которая была поставлена Марксом.

В области научной мысли критерием истины является практика в ее обширном и творческом смысле. Если результат данного действия точно соответствует цели или плану, тогда мы имеем на-лицо отчетливую проверку; все наши достижения в области техники, являясь результатом деятельности на основании познания законов природы, подтверждают истинность нашего познания этих законов. Так обстоит дело в области нашей активной творческой деятельности; в сфере же наблюдения, где наше отношение к явлениям природы носит более созерцательный характер, как, например, в астрономии, там критерием истины служит осуществление предсказаний, как, например, точное предсказание солнечного или лунного затмения или появления планеты и вообще все виды и формы закономерности. Тот же самый практический критерий истины имеет место и в социально-исторической действительности.

Все формы критерия истины при всех своих сложнейших разветвлениях сводятся в последнем счете к указанным моментам, т.-е. к практическим осуществлениям. Сложнее обстоит дело с критерием эстетической ценности. Спрашивается, при помощи какого масштаба оценивается эстетический предмет, с чем он сравнивается? Идеалистическая эстетика в лице Канта и кантианцев отвечала на этот вопрос тем положением, что истинная эстетическая ценность познается незаинтересованным к ней отношением, но этот чисто отрицательный критерий, имея, как было указано в предыдущем очерке, лишь значение в качестве определения психического состояния при непосредственном эстетическом восприятии, не выдерживает ни малейшей критики, коль скоро он начинает претендовать на об'ективную значимость. Ибо об'ективная значимость в ее надлежащем смысле сводится к свойствам, лежащим вне суб'екта. В конце концов и Кант вынужден был притти к об'ективному критерию. Критерий эстетического предмета оказался у него в последнем итоге лежащим в трансцендентной (потусторонней, сверхопытной) ценности.

Материалистическая же эстетика, отрицающая, естественно, всякую потусторонность, должна найти такой критерий в об'ективной реальной действительности.

В настоящее время в нашем русском искусствоведении последней формации внедрился критерий Толстого, гласящий, как известно, что истинно-художественным в искусстве должно быть признано то, что способно заразить воспринимающий суб'ект тем же чувством, которое волновало художника в процессе его творчества. Если вдуматься в этот критерий, то сразу становится ясно, что он не означает ничего другого, как простую тавтологию, потому что встает вопрос, почему произведение искусства заражает. Это утверждение, следовательно, нисколько не разрешает проблему, а дает лишь действию эстетической ценности другое выражение, не более. Характеристика действия искусства, как способа заражения, является лишь ярким образным выражением. К тому же следует прибавить, что чувство воспринимающего художественное произведение и чувство, которое испытывал художник в процессе творчества, могут и не совпадать и далеко не всегда совпадают. Для иллюстрации этого положения можно воспользоваться некоторыми примерами из творчества самого Толстого. Толстой явно не любит Анны Карениной, что было правильно отмечено некоторыми критиками. У читателя же эта даровитая, обаятельная женщина возбуждает совсем иные, прямо противоположные чувства. Далее, Толстого очень увлекает Мария Болконская из «Войны и Мира». Толстой старается всеми своими огромными силами сделать ее привлекательной и навязать ее читателю. А последний остается все же равнодушен к ней. Это значит, что Толстой в этом случае, при всей своей гениальности, или, вернее всего, именно благодаря своему гениальному художественному об'ективному изображению, не в состоянии нас «заразить». Можно привести много других примеров этого же рода и из Толстого, и из других авторов.

Ясно, следовательно, что разрешение проблемы лежит в какой-то другой плоскости. Должны быть вскрыты те исторические законы развития искусства, которые, как справедливо замечает Мейер-Греффе, должны дать нам критерий красоты искусства. Тут же надо заметить, что мы наталкиваемся на новое затруднение, которое не существует, когда речь идет о вскрытии законов исторического движения научной мысли. Там каждое предшествующее звено в общий цепи научных истин сохраняет те об'ективно значимые моменты, которые входят в дальнейшее звено, или же, говоря иначе, высшая фаза развития включает все то, что было верного в низшей фазе, и в этом своем одновременном исчезновении и сохранении заключается исторический смысл всякого достижения. Так, приведем для ясности следующий пример. Греческий мыслитель Эмпедокл может с полным правом считаться родоначальником химии. Он впервые провозгласил теории элементов, из которых в определенных пропорциях составляются вещи всего нас окружающего мира. Этими элементами являлись для него земля, воздух, вода и огонь. Совершенно очевидно, что современная химия не стоит на точке зрения этих элементов и тех пропорций, которые признавались

древним гениальным мыслителем. Эта теория, как самостоятельная индивидуальность, потеряла, разумеется, всю свою значимость, но в науку из нее вошел общий принцип элементов и их пропорционального соединения. Современный химик ничего не потеряет в своих исследованиях, если он не будет знать о четырех элементах Эмпедокла. Иначе обстоит дело с произведением искусства. Илиада и Одиссея Гомера также вошли в историю искусства, оказав, быть может, не меньшее влияние на ход развития эстетических ценностей, чем теория Эмпедокла на ход развития естествознания. Но значение Илиады и Одиссеи отличается от теории Эмпедокла тем, что они продолжают существовать, как индивидуальные ценности, действуя на нас, как таковые, как художественные произведения.

Этим самым мы отнюдь не становимся на точку зрения Канта, согласно которой каждое художественное произведение является абсолютно замкнутым, совершенно-индивидуальным неподвижным существом, остающимся, по истинному смыслу учения Канта, без влияния на ход дальнейшего развития. Рассматривая теорию Эмпедокла под углом творческого акта, она не менее индивидуальна, чем Одиссея или Парфенон.

Понять законы как первого, так и второго рода творчества возможно лишь при помощи исторического метода.

3.

Сознательно или бессознательно, исторический метод применяется фактически всеми искусствоведами без различия направлений. В частности, он нашел себе наибольшее применение в исследовании первобытного искусства. Этнологи подошли вплотную к истокам и корням искусства. Вместо метафизического рассмотрения готовых эстетических завершенных форм, все внимание этнологического искусствоведения сосредоточилось на причинах, т.-е. на генезисе первобытного искусства. Главная и первая задача, которая предстала перед исследователем в этой области, — это задача выяснения вопроса о том, обусловливается ли искусство в своих первых моментах возникновения утилитарными мотивами. Результаты, к которым приходят беспристрастные, вооруженные тонким чувством анализа этнологи, совершенно противоположны старой умозрительной эстетике. Все то, что удалось до сих пор исследовать, подтверждает полностью взгляд, что истинными корнями искусства являются утилитарные мотивы.

Плеханов, который в своей статье о первобытном искусстве занимается критикой «Очерков» Бюхера и эстетической теории игры Карла Гросса, приходит на основании огромного этнологического материала к следующему выводу:

> «В виду всего сказанного, — пишет Плеханов, заканчивая статью, — я твердо убежден в том, что мы не поймем ровно ничего в истории первобытного искусства, если мы не проникнемся той мыслью, что труд старше искусства и что вообще человек сначала смотрит на предметы и явления с точки

зрения утилитарной и только впоследствии становится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения»[1]).

Такой же вывод мы находим у искусствоведа, Гирна:

«Если бы каждое произведение искусства, — пишет Гирн, — было «самоцелью», без всякой связи со всеми практическими полезностями жизни, то было бы не что иное, как чудо, что мы встречаемся с искусством у таких племен, которые еще не научились ни понимать, ни удовлетворять самые элементарные жизненные потребности».

И далее:

«Танцы, поэзия, даже изобразительные искусства низших племен, бесспорно, имеют эстетическую ценность, что допустит каждый этнолог, но это искусство редко свободно и лишено всякой полезности; оно обыкновенно имеет действительную или предположимую необходимость, а часто является даже требованием жизни»[2]).

К таким же результатам пришел и Эрнст Гроссе.

Изучение первобытного искусства богато и другими выводами для эстетики. Первобытное искусство показало нам с полной четкостью безусловную зависимость всех форм искусства от производственных отношений. Так, например, искусство охотников, скотоводов и земледельцев является выражением и отражением этих различных способов добывания необходимых средств существования. Важнейшие принципы всякого искусства — как первобытного, так и современного — симметрия, ритм и гармония — определяются труловыми процессами. Вот что пишет по этому поводу Эрнст Гроссе:

«В то время, как принцип ритма, без сомнения, вошел в орнаментику путем подражания техническим мотивам, появление другого столько же широко распространенного формального принципа — симметрии — об'ясняется из подражания формам природы.

Первобытная орнаментика предпочтительно ищет своих образцов в природе и особенно в формах человека и животных. А так как природа создала эти образцы симметрически, и искусство симметрически же выработало свои скопированные рисунки»[3]).

И Эрнст Гроссе иллюстрирует это свое положение своими рисунками.

К этим совершенно правильным соображениям, вытекающим из всего этнологического исследования искусства, будет нелишним прибавить, что и симметрия является не только результатом созерцательного копирования, но что на первых ступенях усвоение симметрии должно было также вытекать из действенного отношения человека к природной среде. По глуби-

---

[1]) Г. В. Плеханов, «Искусство». Сборник статей, «Новая Москва», 192?, стр. 100. Подчеркнуто Плехановым.

[2]) И. Гирн, Происхождение искусства, ГИЗ Украины, 1923, стр. 11.

[3]) Цитиров. соч., стр. 143.

кому проникновению Маркса, в процессе взаимодействия между человеком и природой человек видоизменял и познавал как окружающую природу, так и свою собственную природу, именно благодаря воздействию на нее. Симметрия является необходимым условием всех наших взаимоотношений с предметами всей окружающей среды. Без соблюдения равновесия, например, невозможно приспособление нашего собственного тела к телам окружающего нас мира, с которыми мы приходим в соприкосновение. Вот что мы читаем, например, у Бюхера («Работа и ритм»):

«У племен Сомаль и Данакиль музыка сопровождает пение только в редких случаях и то это только там-там барабана, звук дарбуки или треск деревянной трещотки, которые и служат для выдерживания такта. Последние особенно часто встречаются при свадебных песнях южных Сомаль или «Герар» — «песни верблюжьей спины», когда едут верхом на этом животном» [1]).

И далее, после двух примеров, тот же Бюхер заключает:

«Эти примеры, к которым можно присоединить многие другие, ясно показывают, что песни примитивных племен требуют метрического регулятора. Но при этом на первом плане стоит не звук барабана, пукуты, хлопанье в ладоши и топот ног, но ритмическое движение тела, порождающее эти звуки» [2]).

Следовательно, животное входит в область искусства не только как элемент исключительно созерцаемый, как об этом говорит Эрнст Гроссе, но, как справедливо рассуждает Бюхер, как элемент действенный, при чем, как подчеркивается Бюхером в приведенной выше цитате, на первом плане стоит не звук барабана и т. д., а ритмическое движение тела. Любопытно указание Бюхера на песнь «верблюжьей спины», когда едут верхом на этом животном. Акт езды на верблюде должен был подсказать не только ритм, но и симметрию, как тела верблюда, так и тела ездока. Ибо, если, например, сесть на хвост верблюда, то далеко не уедешь и не дальше уедешь, если стать одной ногой на спину верблюда. Эрнст Гроссе, следовательно, в своем рассуждении остановился на полдороге, приняв технику в узком смысле этого слова и рассмотрев изображения животных, как результат исключительно созерцательного к ним отношения.

Этим критическим замечанием методологического свойства мы отнюдь не склонны отрицать роли созерцательного момента, имеющего такое же значение, как момент действенный — как в области познания, так и в области творчества предметов искусства. И тут, как и всегда, не следует упускать из виду принципа диалектики. Везде и во всем мы видим и статику и динамику, покой и движение, одно обусловливает другое, одно без другого не существует, и потому одно без другого без ошибки и немыслимо.

---

[1]) К. Бюхер, Работа и ритм, перев. Заяицкого, 1923, стр. 40.

[2]) Там же, стр. 40—41.

Далее, этнологическое исследование первобытного искусства показывает факт существования искусства у всех решительно примитивных племен и также, как это уже было отмечено, полную зависимость творчества предметов искусства от окружающей географической среды и ею обусловленных хозяйственных отношений, при чем тут же следует подчеркнуть решающее значение географической среды на первых ступенях исторической культуры. Ибо, как справедливо замечает Маркс, природа на этих стадиях развития является арсеналом как предметов труда, так и орудий труда.

Далее. Исследование первобытного искусства дает, с точки зрения некоторых авторов, возможность установить основные типы стиля, которые при более или менее аналогичных состояниях эпох повторяются. Герберт Кюн, ставший в деле исследования искусства на точку зрения исторического материализма в своей книге «Die Kunst der Primitiven» [1]), устанавливает два главных стиля, определяемых им, как сенсорный и имагинативный. Первый является отражением или воспроизведением окружающего мира, как он воспринимается нашими чувствами. Этот стиль по существу натуралистический. С точки зрения Кюна, этот стиль характеризует собой монистическое, или, как он называет, унитарное отношение к окружающей среде. Другой же стиль — имагинативный — является прежде всего продуктом дуалистического отношения к окружающему миру. Стиль этот характеризуется тем, что он в себе уже отражает представления о чем-то вечном, потустороннем или же, как выражается сам Кюн, «имагинативное искусство, в противоположность сенсорному, стремится воплотить в предметах искусства пребывающее, вечноединое, сущностное, закон. Оно ищет мистическую сущность в треугольнике, первосимвол в круге, успокаивающий момент в квадрате» [2]). Отсюда ведет путь к орнаменту и стилизации.

Эти две главные схемы стиля, как сказано, повторяются, по мнению автора, на протяжении всей истории, разумеется, с различными видоизменениями. И эти же два стиля он открывает в исследуемом им примитивном искусстве. Кюн указывает, в подтверждение своей мысли, на искусство палеолита и бушменов, где господствует сенсорный стиль. И то же самое, полагает он, мы видим, — конечно в более сложных формах, — в искусстве Греции, а также Западной Европы эпохи Возрождения. Имагинативное искусство является преобладающим, по мнению Кюна, у негров, у большинства индейских племен, а также в раннем христианстве и в готике [3]).

Кюн дает этой своей схеме стилей философскую формулировку. «Сенсорный стиль, — пишет Кюн, — выражает собой в самой сильной степени отношение чувственного восприятия к внешнему миру, отношение к тому, что дано нашим чувствам. Это означает обращение к посюстороннему.

[1]) Herbert Kühn, Die Kunst der Primitiven, München 1923. Автор этой книги заявляет в предисловии к ней, что существенным научным методом исследования искусства является материалистическое понимание истории.

[2]) Цитир. соч., стр. 12.

[3]) Цитиров. соч., стр. 19.

к полноте впечатлений и к формам проявления этих последних» [1]). И далее, продолжая свою формулировку. Кюн пишет: «Очевидно, что каждое произведение искусства являет собою результанту из двух компонентов: 1) из «я» творящего, точно так же, как и воспринимающего «я», и 2) из данности, противостоящей суб'екту. Можно таким образом сказать, что искусство есть оформленное выражение отношения «я» к внешнему миру». «Или, иначе говоря, искусство есть оформленное впечатление, отношение конечного «я» к «я» бесконечному» [2]).

Общая задача, поставленная Кюном, — дать искусству философский фундамент и рассмотреть различия стилей в зависимости от исходных гносеологических точек зрения — задача совершенно правильная, заслуживающая полного внимания. Есть значительная доля истины также в том определении, которое дается этим искусствоведом сенсорному стилю, как стилю, выражающему наибольшую степень непосредственного чувственного восприятия внешней реальной действительности. Верно и то, что названный им имагинативным стиль отражает собой дуалистическое мировоззрение. Но не совсем верна, или точнее совсем не верна, общая и окончательная формулировка, гласящая, что искусство являет собою отношение конечного «я» к «я» бесконечному. Ибо в конечном результате этой формулировки мы получаем ясную и недвусмысленную идеалистическую основу в виде бесконечного «я», которое принимается как внешний об'ективный мир, из которого художник черпает весь свой материал для своей художественной обработки. В этом главном, решающем пункте Кюн разрушает по существу свое собственное построение и свое собственное различение стилей в зависимости от различия гносеологических исходных точек, так как вполне очевидно, что, согласно указанной общей формулировке, и сенсорный, и имагинативный стиль имеют одну и ту же же гносеологическую базу бесконечного «я».

В действительности же дело обстоит так. Совершенно справедливо, что искусство является результантой отношения суб'екта к об'екту. В этой последней своей основе искусство совпадает с теоретико-познавательным отношением к миру: и там, и тут мы имеем дело с отношением суб'екта к об'екту. И там, и тут происходит процесс восприятия и познания внешней мировой действительности. Так как кроме материи и сознания мы ничего не знаем, или, точнее, для нас не существует ничего третьего, — то главными исходными пунктами в теории познания являются на всем протяжении истории философской мысли два пункта: либо, как исходный пункт, берется внешний материальный об'ект, либо же исходной точкой служит сознание. В первом случае путь ведет к материалистическому мировоззрению, во втором случае — к идеалистическому. Идеализм разделяется, как известно, в свою очередь на идеализм суб'ективный и идеализм об'ективный. Суб'ективный идеализм исходит из индивидуального сознания познающего суб'екта. Единственной бесспорной реальностью он считает непосредственно данное

[1]) Цитиров. соч., стр. 11

[2]) Цитир. соч., стр. 13

суб'екту сознание. И поэтому внешний мир рассматривается, как продукт деятельности самого суб'екта. Тут мы имеем неприкрытый явный суб'ективизм, в котором «я» является творящей силой всей суммы наших впечатлений, определяемых как внешний действительный мир. Об'ективный идеализм есть продукт бессознательного об'ективирования индивидуального суб'ективного сознания, превращенного в об'ективную духовную сущность. Этот процесс, т.-е. процесс об'ективирования сознания, совершался на протяжении всей истории духовной культуры, начиная с первых моментов одухотворения окружающей природы. Об'ективный идеализм представляет собою до чрезвычайности сложное явление, выросшее и развившееся из множества различных социальных корней, в рассмотрение которых, конечно, входить здесь не место.

Материализм, в свою очередь, тоже распадается на две разновидности: старый, механический, до-марксовский материализм и материализм диалектический.

Указанные нами четыре основных формы отношения суб'екта к об'екту находят себе полное и определенное выражение и в искусстве, проявляясь там в форме различных стилей. Ведь и искусство, и философия вырастают из одних и тех же социальных корней и существуют всегда в постоянном взаимодействии, или, точнее, представляют собою различные стороны единого целого — общественного сознания.

Можно признать, таким образом, верной самую общую формулировку Кюна, что в последней своей коренной основе стиль определяется гносеологическими исходными началами. Ошибочной же является для нас окончательная формулировка реального внешнего мира, как бесконечного «я». Правильно также Кюновское определение сенсорного стиля, как отражающего монистический взгляд на окружающую среду. Особенно справедливо подчеркнуто заключающееся в этом стиле признание того, что наша жизнь исчерпывается здешним земным существованием, вследствие чего в нем все сосредоточено на восприятии и художественном воспроизведении всего богатства, разнообразия и полноты действительности, данной нашим чувствам.

Итак, общее философское мировоззрение и общий гносеологический подход в действительности всегда имеют место в художественном творчестве. Первоклассные крупные художники, по крайней мере, некоторые их них, как нам хорошо известно, обладали сознательным определенным философским миросозерцанием. Так, например, Еврипид был учеником софистов и исповедывал позитивизм последних, что весьма определенно выразилось в его произведениях. Данте стоял на уровне философской мысли своего века и обнаруживает большую философскую эрудицию. Расин вышел из философии Пороояля. Мольер был последователем Эпикура. Гете углублялся в систему Спинозы, заимствовав из нее главные основы для своего мировоззрения. Под сильным влиянием Спинозы был, как известно, и Лессинг. Шиллер — кантианец. В нашей русской литературе мы тоже имеем людей с сознательным и определенным философским направлением. Толстой — представитель

христианского мистического пантеизма. Достоевский — дуалист в духе православной мистики. И т. д.

Но это, конечно, относится только к художникам-философам. А что касается художников, чуждых философии, то они в своих произведениях, разумеется, тоже руководствуются и общим философским мировоззрением, и определенным жизнепониманием, только бессознательно.

В «Диалектике природы» Энгельс справедливо замечает, что естествоиспытатели, воображающие, будто они стоят над философией, высокомерно игнорирующие и бранящие ее, — в действительности не обходятся без философского подхода к своей же собственной области. Право на такое высокомерие дает им разве лишь то, что они пользуются плохой философией, т.-е. разными отрывками, склеенными наугад без всякой органической связи («Архив Маркса-Энгельса», II том, стр. 36—37). То же самое и в несравненно большей степени относится и к творцам художественных ценностей. Художник, являясь наиболее чутким выразителем и непосредственным отражателем данной социальной среды, непременно проникнут общим мировоззрением, которое руководит им, — сознает ли он это или нет, — в выборе сюжета, в характеристике лиц, в изображении их взаимоотношений и т. д. и т. д. Естествоиспытатель имеет все же возможность проверять в той или другой степени справедливость его руководящих принципов экспериментальным путем; его дисциплинирует, сдерживает его фантазию лаборатория. Упорные факты—хорошие наставники. Иначе обстоит дело с художником. Критерий истинно-художественной ценности, как мы увидим ниже, является необычайно сложным элементом и большею частью устанавливается на значительном историческом протяжении, или же при помощи исторических данных. Это во-первых. Во-вторых, художник имеет дело обычно с социальной средой, как об'ектом своего изображения, и даже в том случае, когда таким об'ектом является мир животных или неодушевленная природа, то и тогда это проходит через призму социальной психологии. Короче, нет никакого сомнения в том, что художественное творчество более непосредственно, чем естествознание, отображает в себе идеологию и социальную психологию данной эпохи и данного класса.

Серьезный и крупный недостаток Кюна состоит в отсутствии цельного философского мировоззрения, и этот недостаток разрушил все его построение различия стилей. Сенсорным стилем оказался также и стиль Ренессанса, и греческий стиль, хотя Кюн сам замечает, что и тот и другой в сравнении с примитивным стилем отличаются некоторой идеализацией. Вот эту именно некоторую идеализацию следовало расшифровать и показать, что именно эта идеализация внесла для отличия частных черт стиля Ренессанса и древнегреческого искусства от стиля палеолита и стиля бушменов. Если бы Кюн подошел с этой точкой зрения, т.-е. с точкой зрения не только сходства, но и различия, — к вопросу, он должен был бы притти к тому заключению, что в первом случае, т.-е. в искусстве Греции и Ренессанса, мы имеем дело с реализмом, во втором случае, т.-е. в примитивном искусстве бушменов или в искусстве палеолита,—с чистейшим натурализмом, при чем, если рассматри-

нать оба эти стиля — натурализм и реализм — в их зависимости от философских исходных точек зрения, то окажется, что эти различия стиля соответствуют и различным философским направлениям, — каким именно, это будет показано ниже.

Мы видим таким образом, что обобщение, сделанное Кюном в характеристике стилей, сводится в конечном счете к двум формальным принципам: 1) к утверждению зависимости стиля об общего философского или гносеологического подхода к действительности, т.-е. от того, каким мыслится отношение суб'екта к об'екту, и 2) к мысли о повторении одного и того же общего направления стиля и разные эпохи, сходные по некоторым своим характерным чертам. В этих двух пунктах с Кюном можно вполне согласиться. Признать обусловленность стиля гносеологической исходной точкой не значит, конечно, строить умозрительную эстетику. Подробно об этом — в следующем очерке.

Бытовые пережитки перед лицом советского суда.

И. Ильинский.

В лечебницу обращаются только больные. Перед судом проходят болезни общества. Нельзя по больничной палате судить о здоровьи людей, находящихся за ее стенами. Творчество новой жизни, расцвет ее мощи и красоты проходят вне судебной камеры. Но и в камеру время от времени проникают ослепительные лучи революции. Пятна света ложатся рядом с темными пятнами.

Лавров говорил, что в каждой эпохе надо различать черты, именно ей присущие, и рядом с ними переживания прошлого и зародыш будущего. Все это можно проследить и в судебной практике. Мы идем по горячим следам жизни, не к выгоде для научной ценности результата. Когда настоящее отодвинется в прошлое на десяток-другой лет, распределение света и теней изменится. Часть красок повянет, часть сохранит облагороженный давностью блеск. Родятся иные оценки, более спокойные и более правильные. Но и сейчас есть нетерпеливая потребность учесть и понять то, что перед глазами. К некоторому удовлетворению этой потребности и стремится настоящий очерк.

В принципиальной своей установке он продолжает мою работу «Право и быт», часть которой была напечатана в «Красной Нови» [1]). Необозримость фактического материала и полное почти отсутствие систематической его разработки побуждают меня в настоящей статье ограничиться беглой характеристикой лишь некоторых бытовых пережитков. Касаться остальных элементов современности я не рискую, предоставляя обобщение в этой области более смелым и более сведущим авторам.

Бытовых пережитков, сохранившихся в неприкосновенности, мало, ибо революция широко и глубоко перепахала жизнь. Но быт отличается исключительной упругостью сопротивления, и если пережиткам не удается схо-

---

[1]) 1924 г., кн. 7—8. Фактический материал, использованный в настоящей статье, взят из разных источников, в том числе газетных отчетов, сборников определений Верхсуда РСФСР и др. Особо следует отметить любопытные очерки и наброски тт. Санчова и Сегалова, напечатанные в журнале «Пролетарский Суд» за 1925—1926 г.г.

рониться от искореняющего их жаркого света в темных болотистых уголках, то они облекаются в защитные цвета революции, сохраняя под этой оболочкой всю свою гнилостную и ядовитую сущность.

При этом сказываются роковые для быта черты косности и замкнутости бытовой ячейки, устраняющие или по крайности сильно ограничивающие возможность влияния коллектива. Впрочем, коллективные организации трудящихся и не особенно заботятся о преобразовании быта, как системы людских отношений. Мы строим новые дома, но жизнь в этих домах течет по старому. Власть партии, профсоюза, культурного общества в огромном большинстве случаев заканчивается на пороге квартиры или пивной. В последующем изложении взяты за иллюстрацию несколько судебных дел, рисующих роль моральных предрассудков, невежественных поверий, пьянства и половой распущенности в современном быту.

1.

Можно издавать «Безбожник», устраивать санпросветы, созывать с'езды атеистов, организовывать диспуты о пролетарской морали, выносить самые передовые резолюции и на столбцах печати рисовать картины небывалого культурного сдвига. В двух шагах от сияющих плакатами и электричеством с'ездовских зал гнездится самая непроглядная темень. Большое количество разбираемых здесь материалов дано Москвой. Пусть читатель судит о том, что делается в губернских и уездных захолустьях, — оставляя уже в стороне деревню.

В начале прошлого года жена милиционера Ольга Реброва, вышедшая недавно замуж по любви, родила мальчика. Вскоре после родов она призналась мужу в том, что ребенок не его, и честно поставила вопрос об их дальнейших отношениях. Если муж не может ей «простить», она уйдет к родителям, если же она ему нужна, и он, любя ее, может примириться с совершившимся фактом, — она останется с ним жить.

Ребров «простил» жену, но совместная жизнь оказалась для обоих тяжела. Муж оказался морально недостаточно крепким. Он стал упрекать жену по поводу ребенка и придираться к ней. Дело доходило до оскорблений самого пошлого свойства. Тогда Ольга оставила мужа и ушла к родителям. Родители были люди бедные, жили в тесной комнатке, и дочь с ребенком была им в тягость.

— Мы выдали тебя замуж, — сказали они Ольге, — иди и живи у мужа.

Ольга вернулась к мужу и поселилась опять в одной комнате с ним. Фактически она перестала быть его женой, и ссоры продолжались. Окружающие косились на Реброву и не упускали случая пошутить над «безмужницей» — женой и «безотцовщиной» — ребенком.

20 декабря прошлого года Ольга Реброва, под влиянием тяжело сложившейся обстановки и совершенно безотрадного будущего, решила

убить ребенка и себя. Она налила в чайную ложку уксусной эссенции и влила в рот ребенку. Когда ребенок стал задыхаться, Ребровой стало его жаль, и она, плача, побежала с ним в больницу, чтобы его спасти. Ребенок на другой день умер, а Реброва была арестована и привлечена к уголовной ответственности по 142 ст. Уг. Код. (убийство).

На суде Реброва, ничего не скрывая, чистосердечно изложила все обстоятельства, которые привели ее на скамью подсудимых. Рыдая, она раскаивалась в совершенном и высказывала сожаление, что не могла с собой покончить.

Суд приговорил Реброву к лишению свободы сроком на 8 лет, без поражения в правах. Принимая во внимание, что Реброва совершила преступление при исключительно тяжело сложившихся для нее обстоятельствах, когда человеку, даже с бо́льшим жизненным опытом и закалом, чем 19-летней Ребровой, было трудно найти другой разумный выход из создавшегося положения, и имея в виду, что столь суровая мера социальной защиты будет чрезмерна и несправедлива, суд на основании ст. 28 Уг. Код. постановил: лишение свободы понизить Ребровой до 1 месяца, считая срок отбытым в предварительном заключении.

Сходный случай мы имеем в деле Ирины Абросимовой.

Приговором Владимировского губсуда Ирина Абросимова, 19 лет, не судившаяся, окончившая школу II ступени, признана виновной в том, что в г. Вязниках, в квартире Михайловой, при «Доме Матери и Ребенка», задушила рожденного ею 14 апреля ребенка-мальчика, зарегистрированного в ЗАГС'е 17 апреля, по имени Владимир. Абросимова забеременела, по ее словам, от гр. Сорокина и скрывала от посторонних свою беременность. Когда стали приближаться роды, она об этом сказала своей матери и тетке. Тетка, по просьбе матери, обратилась к Михайловой, служившей в «Доме Матери и Ребенка», и последняя разрешила Абросимовой поместиться у себя в квартире. В принятии ребенка в «Дом Матери и Ребенка» было отказано за неимением кормилиц. Отец ребенка отказался даже зарегистрировать его в ЗАГС'е. Абросимова после отказа, оставшись одна, положила ребенку на лицо подушку и не снимала часа три. Ребенок задохнулся, и Абросимова зарыла его на кладбище в размытой могиле.

Квалифицируя преступление Абросимовой по ст. 142 Уг. Код., суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 8 лет, но, учитывая молодость осужденной, тяжелое стечение обстоятельств ее жизни (беременность и роды перед зачетами в школе II ступени), отказ отца зарегистрировать брак и поддержать морально, а также существующий еще предрассудок — ложный стыд быть матерью, не будучи официально в браке, на основании 28 ст. Уг. Код. понизил ей наказание до 9 месяцев лишения свободы без строгой изоляции. На основании ст. 18 «б» Уг. Код., ввиду несовершеннолетия обвиняемой

в момент совершения преступления, наказание сокращено еще на 1/3, т.-е. до 6 месяцев.

Уголовно-кассационная коллегия Верхсуда, рассматривавшая 12 октября 1925 года это дело по кассационной жалобе Абросимовой, определила:

«Приговор оставить в силе, но, принимая во внимание мотивы, изложенные судом по применению к Абросимовой ст. 28 Уг. Код., а также учитывая, что исправление ее не требует обязательной изоляции, в порядке ст. 437 Угол. Процесс. Код., войти с ходатайством в президиум ВЦИК об определении Абросимовой наказания условно с испытательным сроком в 3 года.

Президиум ВЦИК, рассмотрев ходатайство УКК Верхсуда 6 ноября 1925 г., постановил: «ходатайство удовлетворить и Абросимову от наказания освободить условно с испытательным сроком на 3 года».

Если человек не является творцом жизни и активным участником ее строительства, если он не в состоянии отыскать и осмыслить движущие ею пружины, он становится, как это было с Абросимовой и в особенности с Ребровой, игралищем событий, принимающих в его сознании идеологическую личину судьбы, с которой можно совладать либо покорностью, либо колдовством. Отсюда успех гадалок среди мелкого обывательского люда и даже среди рабочих, оторванных от коллективной жизни своего класса.

К гадалке Кокориной ходили и молодые и старые, и мужчины и женщины, разных профессий, разного классового положения и отдавали ей последние трудовые сбережения за прорицания, вроде следующего: «И ждет тебя смертоносная гибель на 25-м году. Если этот год пройдет благополучно, то наверняка доживешь до 70, а может, и до 80 годов. А все же погибель ждет тебя на воде или от сильных ветров». Особенно славилась Кокорина умением привораживать любимого человека. Самым верным средством для этой цели считался особо наговоренный чай, который она продавала за крупные деньги.

Зинаида З. влюбилась в некоего гр. Г., остававшегося к ней совершенно равнодушным. Гадалка дала З. щепотку чаю и взяла с нее 100 р. «Замани Г. к себе на квартиру, напой его этим чаем, и после чая он тебя полюбит», — такой рецепт давала гадалка своей клиентке. Но чай не помог. Характерно, что клиентка не разуверилась. Второй раз едет она к Кокориной и получает еще щепотку чаю, за который уплачивает уже 200 р. И опять ничего не вышло. Так повторяется несколько раз, вплоть до того дня, когда, наконец, Г. «после наговоренного чаю» не выдержал и сдался. Тогда влюбленная женщина, боясь уже потерять свое счастье, опять прибегает к помощи гадалки и платит ей за работу и деньгами и ценными вещами, передав ей всего около 1.500 рублей.

Кокорина не только гадала, она заговаривала детей от будущих болезней, давала советы взрослым, делала даже аборты. Ежедневно

с утра в ее приемной толклись клиенты из Москвы и из уездов, приезжавшие к ней за помощью. В иные дни Кокорина по мелочам зарабатывала до 70 рублей.

Замоскворецкий суд признал Кокорину виновной в мошенничестве и в незаконном производстве абортов. Считая ее социально опасной, несмотря на преклонный возраст, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

2.

В деле Кокориной на-лицо лишь эксплоатация невежества и легковерия, не имевшая особо вредных результатов. Даже сделанные ею аборты заканчивались без непоправимого вреда для здоровья клиенток. Но вот целая серия случаев, свидетельствующих о том, что гадание и колдовство бабок отнюдь не всегда кончаются столь невинными последствиями.

В одну из московских консультаций для беременных явилась 20-летняя работница-ткачиха К. Врачебное освидетельствование установило последнюю стадию беременности и наличие сифилиса.

По об'яснению больной, жених ее, железнодорожный служащий И., как-то сообщил ей, что болен сифилисом, что лечение ему не помогает и что бабка, к которой он обратился по чьему-то совету, заявила ему, что его форму сифилиса можно излечить только половым сношением с девственницей, при чем сифилис ей не передастся. Пожалев жениха, К. отдалась ему. В результате — беременность и заражение сифилисом.

Другой случай. 17-летняя прислуга О. заявила милиции, что ее хозяин, мелкий книготорговец, заразил ее сифилисом. Хозяин М., семейный человек, имеет жену и двух детей. На дознании он об'яснил, что слышал о неизлечимости сифилиса, и потому к врачам не обращался и совершенно отделился от семьи, чтобы не передать заразу. Недавно, от столь же компетентных бабок, М. узнал, что может отделаться от своей болезни, передав ее половым сношением невинной девушке. Наметив, в качестве жертвы, прислугу О., он стал ухаживать за ней и в результате заразил ее сифилисом.

В Полтавской губернии привлекался к следствию, по обвинению в аналогичном преступлении, народный учитель Л. По совету сельской знахарки Л., чтобы излечиться от застарелой гонорреи, имел половое сношение с тремя девственницами, из коих двум было по 13 лет, а третьей 14. Две девушки заразились. Л. виновным себя не признал, указывая, что он в заражении девушек не при чем, так как он только лечился с их помощью и поэтому заразить их не мог.

Крестьянин В., в Пензенской губернии, захватив на базаре ту же болезнь и не желая подвергаться предложенному ему врачом 2-месяч-

ному курсу лечения, вернулся домой с надеждой пособить себе домашними средствами.

Узнав о болезни В., жена его пошла по соседкам спрашивать совета, и одна из них, сведущая, очевидно, в колдовском деле, сказала, что если больной проспит ночь с девушкой с длинной белокурой косой и голубыми глазами, болезнь как рукой снимет. Оказалось, что у жены В. есть как раз подходящая под эти приметы 13-летняя сестренка, которую она и пригласила к себе погостить. За два шнурка коралловых бус и за обещание подарить новое платье девочка отдалась мужу сестры и заразилась.

Таких случаев очень много. Как показывает международная криминологическая хроника, лежащее в их основе суеверие интернационально и пользуется всемирным распространением. Исторические его корни уходят глубоко в средние века, а побеги оно дает по сие время во всех передовых странах. Характерно, что в числе людей, поверивших в пользу лечения девственностью, была не только работница-ткачиха, жительница Москвы, и не только ее жених-железнодорожник, т.-е. представитель одного из передовых слоев пролетариата, на просвещение которого Республика затрачивает колоссальные средства, но и сельский учитель, по самой своей должности обязанный бороться с этими предрассудками и тем не менее с поразительным легковерием бегущий к тому же самому знахарю, которого в своих уроках и официальных лекциях и докладах он, разумеется, трактовал, как продукт деревенской темноты и невежества.

В указанных случаях результатом венерического заболевания явилась лишь передача его другому лицу. Но отсутствие санитарной грамотности, сочетаясь с воспитанною веками гнета вялостью и рыхлостью характера, податливостью перед каждым ударом судьбы, толкает людей на еще более тяжкие преступления.

Дегтерева 25 лет судилась в Ставропольской постоянной сессии Северо-Кавказского краевого суда за убийство своего 6-недельного сына Виктора.

Обвиняемая об'яснила, что, узнав о наследственности венерической болезни сына, она лишила его жизни посредством удушения подушками, дабы избавить от тяжких последствий этой болезни ребенка в будущем.

Суд приговорил Дегтереву к 8 годам лишения свободы, но смягчил это наказание, в силу 28 ст. Уг. Код., до 3 лет лишения свободы со строгой изоляцией.

Верховный суд, рассмотрел дело по кассационной жалобе Дегтеревой, пришел к убеждению, что Дегтерева не является преступницей, требующей применения к себе не только изоляции, но и вообще какой-либо меры социальной защиты, что ее действия вызывались исключительными обстоятельствами и не могут быть относимы на счет ее

социальной опасности, а потому определил ходатайствовать перед Президумом ВЦИК о полном освобождении Дегтеревой от наказания. Президиум ВЦИК это ходатайство удовлетворил.

3.

О рыхлости славянской натуры говорилось достаточно. Наш национальный тип в массе мало пригоден для устойчивой методической работы. Чтобы приспособиться к ней, он требует еще долгой революционной прокалки. Приведенные выше случаи являются живой к тому иллюстрацией. Не бороться с предрассудками родителей односельчан, а убить незаконнорожденного ребенка, — это проще и скорее. Не лечиться год, и другой, и третий, а спастись через овладение девственницей. Не испытать всех могущественных средств, известных современной медицине, если не для окончательного излечения, то по крайней мере для облегчения болезни ребенка, а задушить его в младенческом возрасте, — все эти действия очень показательны для душевных свойств россиянина [1]). И пресловутое пьянство относится, как бы ни казалось это парадоксальным, к той же категории явлений. Пьяница, услаждающий себя водкой, отличается от самодовольного мещанина тем, что последний жизнью вполне доволен и менять ее ни в каком отношении не стремится. Наоборот, пьяница хочет лучшего, хочет под'ема, но вместо того, чтобы добиваться этого под'ема, преодолевая препятствия, упорным и настойчивым трудом, он достигает его при помощи гораздо более простых средств — опьянения водкой. На богатой коллекции уголовных преступлений, связанных с пьянством, лучше всего, пожалуй, проследить живучесть и эластику старых навыков.

В эпоху первоначального накопления российского капитала под Москвой и под Петербургом создались пригородные местности, куда накопители ездили сбывать излишки своей буйной энергии, а одновременно — и излишки денег.

Знаменитая «Стрельна» занимает почетное место в истории русской преступности. Гораздо более скромное место занимает железнодорожная станция Кубинка, теперь Белорусско-Балтийской железной дороги.

Когда веселящаяся компания москвичей успевала об'ездить все кабаки и притоны, когда истощены были уже все городские выдумки, тогда ездили на Кубинку, специально с тем, чтобы поесть бульону со знаменитыми кубинскими пирожками. Само собой разумеется, бульоном дело не ограничивалось. Потребности пьяной компании по прибытии на место развертывались шире, а местное население и всевозможные паразиты, понаехавшие в поселок при станции, умели этим потребностям потрафлять.

Революция уничтожила «Стрельны», «Яры», «Медведей», «Дононов», и много других ресторанов, названия которых неразрывно связаны в умах

---

[1]) Ключевский, с поразительным мастерством выводящий душевные свойства великорусского племени из природы и хозяйственного быта российской равнины, очень кстати приводит характерные для этого душевного склада с его пассивностью и слабой целестремительностью пословицы: «лбом стены не расшибешь»; «одни вороны летают прямо» и т. п. «Курс русской истории», т. I.

белой эмиграции с воспоминаниями о золотой молодости и об ушедшей в безвозвратное прошлое, хотя и святой, но тем не менее буйной и залихватской Руси Более скромная «Кубинка» сохранилась. Уцелел и людской аппарат, приобревший когда-то блистательные навыки в разгульной деятельности и организации разврата.

В кубинской лавке торгует бывший официант, имеющий почтенный стаж отдельных кабинетов, человек в совершенстве изучивший злачные места и классические институты без древних языков. Чайные лавки с вывесками: «Красный Пахарь», «Трудовой Крестьянин», «Смычка» и т. п., начав с дозволенной законом продажи водки и пива, мало-по-малу воссоздали всю обрядность прежних возлияний, если не с прежней тонкостью, то во всяком случае с превосходящей их грубостью. Выпивка, пьяный угар облечены в Кубинке каким-то ореолом; они превращаются в какое-то право, привилегию, благородную и гордую, и чуть ли не рыцарскую, забаву. Пьянством и пьяной дракой ознаменовывают ярмарку, престольный праздник, уборку хлеба, все выдающиеся события деревенской жизни. К этим пиршествам приглашаются родные и знакомые из Москвы и из Смоленска. Есть преемственность в торжествах. Драка, начатая и прерванная на Николу вешнего, возобновляется через год или продолжается в положенные сроки на Николу зимнего, на Покрова и т. п.

> Однажды, вечером, пьяный председатель одной из артелей был убит в столкновении с милиционером, пробовавшим его усмирить мирными средствами и вынужденный в конце концов прибегнуть к оружию. Ярость толпы, сбежавшейся на шум, выразилась в крайне своеобразных гневных криках: — Нет того права, чтобы пьяных бить! Теперь наша власть, а мы все пьяницы! Если пьяного убивать, пусть нас всех на месте из пулеметов положат. Если мастеровому не пить, так и на свете жить не стоит!

Обитатели Кубинки глубоко убеждены, что вдова и сын убитого будут государственными пенсионерами. Покойный рисуется им чем-то вроде мученика за пьяное дело, страдальцем за пьяные права. Одним словом, вокруг пьянки образуется весьма развитая и упругая морально-эстетическая и даже правовая идеология.

Но это обломки старого быта.

А вот обломки нового.

Верхушка Клинского уездного исполкома, то-есть группа передовиков, выдвинутых пролетариатом и его партией в городе, находящемся на расстоянии двух часов езды от Москвы, оказывается насквозь прогнившей. На скамье подсудимых уже не мещане, не мужики, развращенные легким хлебом, перепадавшим им от когдатошних носителей тугой мошны. Председатель исполкома Чулков, рабочий, и притом из той шеренги рабочего класса, которая наиболее прославилась в революции, из металлистов, отстоявших Петербург от Юденича, заполнявших ряды Путиловского полка, бравших Кронштадт, давших наибольшее количество крупных рабочих деятелей в среде

самого правительства. Заведующий финотделом Наумов — сын рабочего и сам был рабочим. Остальные тоже рабочие и крестьяне.

> Перед судом развернулась длинная вереница растрат, злоупотреблений властью, получивших начало от пьянки и, что самое удивительное, от пьянки организационной, которой был ознаменован такой случай, как открытие красного ленинского уголка при уфинотделе. Следующая пьянка была приурочена к открытию дома отдыха в Подсолнечном. А потом уж и не требовалось столь торжественных поводов. Пьянствовали просто и пили горькую, независимо от каких бы то ни было торжественных случаев.
>
> Из числа обвиняемых один приговорен к расстрелу, другие к длительному заключению на разные сроки.

Суд оказался строгим. Но не всегда это так бывает. Не редко в приговоре суда звучит добродушное и даже юмористическое отношение к тем людям, которые попали на скамью подсудимых в связи с пьянством.

> На вопрос: — Ваша профессия? — подсудимый, судившийся шестой раз, отвечает: — Я душевно-больной, алкоголик, морфинист, кокаинист, вор-рецидивист, бывший клоун цирка Труцци, прошу милостыню и играю на руке, как на корнет-а-пистоне. Когда он подходит ближе к судейскому столу, от него несет густым запахом перегара. Народные заседатели улыбаются, приговор не столь суров. Подсудимый удаляется, играя марш на руке, как на корнет-а-пистоне.

В одном случае суд нашел, что хулиганские выходки обвиняемого установлены. Но так как озорство было им проявлено после выпивки на свадьбе сына, а подобного рода выпивка и озорство *являются традицией и следовательно допустимы*, то подсудимый был оправдан. Дело это первоначально слушалось в народном суде Замоскворецкого района. Губернский суд, рассмотрев дело по кассационной жалобе потерпевших, нашел приговор народного суда неправильным, ибо *пролетарский суд для того и существует, чтобы искоренить традиции старого прогнившего быта*. Поэтому приговор был отменен, и дело, согласно нового закона, направлено для наложения на обвиняемого соответствующего взыскания административной властью.

4.

Пьяному море по колено, и от сравнительно невинного озорства он переходит к тем действиям, которые закон квалифицирует, как злостное хулиганство. При этом молодые не отстают от стариков.

> В деревню Акулово Пушкинской волости приехали четыре милиционера для производства обыска у самогонщиков. Едва они приступили к обыску, как с заднего хода вошли трое пьяных, которые стали тре-

бовать, чтобы милиция прекратила обыск и распила бы с ними отобранный самогон. После отказа милиционеров, они попытались отнять самогонку силой. Начался дебош. Снаружи кто-то разбил окно и начал кричать: — Бей мильтонов! — Пьяным сборищем милиционеры были избиты, при чем один из них потерпел серьезное увечье.

Старший из хулиганов, как оказывается, уже судился за аналогичное преступление, но на вопрос председателя суда он отвечает: — Никак нет, не судился. — И только вдруг, вспомнив что-то видимо очень забавное, весело говорит: — Не за хулиганство, за обезьяну я судился.

— За какую еще обезьяну, когда ты сорвал лекцию в клубе?

— Вот, вот, за обезьяну и есть. Было это так. Приходит сын и говорит моей жене, матери т.-е. своей: «ты, говорит, маменька, обезьяна, и я рожден от обезьяны». А папанька, конечно, ад'ютан (орангутанг). Известно, как я только в хату — жена моя мне все это рассказала. Я к сыну: откедова это еще у тебя?» Он и грит: «пойди сам и послушай, лекцию говорят». Я в клуб. Вижу, такие именно слова сказывают: «все, мол, люди от обезьяны произошли». Я к нему: «а обезьяна откедова произошла?». Он мне: «от природы». Я опять: «а природа откеда?». — Он: «далеко ты хватил». — Ну, тут я его и хватил, извиняюсь, тоже далеко. Вот за это меня и судили, а совсем не за хулиганство.

Деревенский хулиган прет прямо против культуры; городской, хлебнувший этой культуры, не прочь почитать и газетку и обогатить свой язык некоторыми выражениями из общеупотребительного политического лексикона, а при случае прикрыться индифферентностью, либо враждебным отношением к религии.

Соседка просит выселить некоего гражданина, живущего «за тесовой перегородкой» за угрозы, так как он угрожал поджечь, за озорство, так как, брыкнув ногой в перегонку, он сшиб со стены портрет товарищей вождей», «выражения», так как он ругается отвратительной, непереносимой бранью, а также за антисанитарное состояние его помещения, которое распространяет нестерпимое зловоние по всей квартире. Ответчик, очен развязный, пожилой, немного подвыпивший мужчина, с удивительным пробором, подхваченным от лба и до затылка, дает исчерпывающие об'яснения: «Не запираюсь, что я с большими прошлыми судимостями, можно даже сказать, — в прошлом хитрованец, — но сейчас я стою на правильной точке пролетариата, прошу суд взглянуть, как я член профсоюза. Относительно, что я сказал «сожгу», — то это только ее невежество и необразованность. Как ее муж работает на обувной фабрике, то и значит «сожгу», т.-е. приведу милицию, когда он принесет домой фабричные подметки. Опять же ругань или зловонье, так неужели же я, граждане судьи, на своей-то

жилплощади не смею выразиться и навонять в свое удовольствие? Что из-за перегородки чувствительно — это не моя вина. Об стенку я, правда, ударил разок-другой каблуком: сапог поправлял. Опять же мне ведь с затылка не видать, кто там висит — вождь революции или Николай угодник». Нарсуд решил его выселить, основываясь на характере об'яснений и поведении на суде.

5.

В условиях современности пьянство и хулиганство дают эффект, которого прежде они не давали. В дореволюционное время женщина, связанная с пьяницей мужем, всю жизнь терпела нужду и побои и не могла уйти от человека, с которым ее крепкой цепью связывали закон и общественное мнение. Сейчас женщине уйти от хулигана и пьяницы очень легко, и она этим пользуется. Но и мужчине, в изменившихся обстоятельствах, гораздо легче найти удовлетворение на стороне.

Все это отражается на прочности брака и загружает суды огромным количеством бракоразводных и алиментных дел. Еще в 1924 году бракоразводные дела по Москве давали около 9% всех гражданских дел, а в уездах свыше 13%; алиментные дела около 8% по Москве и 12,6% в уездах. Редко-редко случается, что старый семейный уклад пользуется энергической защитой. Берегут этот уклад только кряжистые, хозяйственные, старого закала мужики. Любопытно, впрочем, что не редко они встречают неожиданное сочувствие со стороны передовых, выдвигаемых в заседательницы, женщин, работниц и крестьянок [1]).

Крестьянин, высокий, мощный, лет за 50, с копной седеющих кудрей, подает иск, в котором просит «обязать мужа моей покойной дочери хранить принадлежащие ей вещи, ее «наряд» или употреблять их лишь для нужд внучки моей, оставшейся в живых, когда мать померла родами, согласно прилагаемой описи».

Зал заседания, тесный для толпы набившихся женщин класс сельской школы, с напряженным вниманием следит за развитием процесса. Ответчик, кузнец, сильный молодой человек, настолько черный от вечной копоти и дыму, что стал похож на цыгана, говорит, сверкая зубами и белками глаз: «Отец, тебе обидно, что дочь померла, а я ведь в ней жену потерял. Видишь, год прошел, а я еще не женился и дочку берегу». — «А почему, — упрямо твердит старик, — Петька, твой брат, приданным одеялом накрывается? Внучка подрастет, а для нее одеяла нехватит». Кузнец не спорит против правильности составленной описи, которая дважды оглашается, и подписывается добровольно в по-

---

[1]) Материалы диспута по проекту нового семейного и брачного кодекса показали резко отрицательное отношение громадного большинства рабочих и крестьян (в особенности женщин) к легкости половых отношений, в которых часть молодежи склонна усматривать подлинное лицо нового быта.

рядке соглашения, — «по любкам», к обязательству хранить все вещи покойной жены для своей маленькой дочери «внучки»: соглашение это суд заносит в свое решение, как обязательное по суду. Все расходятся весьма довольно собою и судом. «Теперь моя внучка с приданым, хоть сейчас под венец», — говорит старик. «Хорошо дед задумал», — говорит заседательница-женщина, — сделал по закону для своей пользы».

6.

Как прорастает в половых отношениях новый быт, по судебным материалам заключить трудно, ибо свободные от юридического оформления связи, о которых мечтали революционные социалистические писатели прежнего времени, доходят до суда либо в тех случаях, когда из них возникают гражданские споры об алиментах, разделе имущества, либо в тех случаях, когда на-лицо не свободная, а вынужденная связь (насилие и близкие к нему половые преступления). Пьянство и хулиганство и здесь играют видную роль. По деревням парни начинают с легкой выпивки, потом гуляют с гармошкой, потом начинают приставать к девицам и мало-по-малу, разгорячась, незаметно для себя, доходят до преступления, предусмотренного 169 ст. Уг. Код.

Выездная сессия Уральского областного суда судила Егора Вакуева 17 лет за то, что в ночь на 24 августа 1924 года, гуляя в числе других молодых людей и познакомившись с гражданкой Горбуновой, он стал во время следования домой умышленно отделяться от общей компании, а когда поравнялся с находящейся вблизи мельницей, пытался затащить туда гр. Горбунову с целью произвести над ней насилие. Когда жертва стала сопротивляться, он нанес ей два сильных удара по голове. Суд приговорил Вакуева к 3 годам лишения свободы, снизив наказание ему, как несовершеннолетнему, на $^1/_3$, а Верховный суд и еще смягчил это наказание, не усмотрев в деяниях осужденного покушения на изнасилование, а лишь настойчивое предложение потерпевшей вступить с ним в половую связь.

По тому же образцу действуют и городские хулиганы и насильники, с той лишь разницей, что городская людность вынуждает их прибегать к разного рода хитростям, свидетельствующим уже о том, что уголовное право называет преднамеренным умыслом:

Чернорабочий Вяхирев 17 лет, Козлов 21 г., Кондратьев 23 лет и Дмитриев 20 лет, будучи в веселом настроении, в Саратове на вокзале узнали от своей приятельницы, женщины легкого поведения Андреевой, что среди публики находится деревенская простушка Анна Туганина, поджидающая на вокзале земляков из деревни, которые должны были приехать с вечерним поездом. Вяхирев, не долго думая, переговорившп с Козловым, Кондратьевым и Дмитриевым, немедленно начал действовать, и они попросили Андрееву показать им девушку. Подойдя к Туга-

ниной, Вяхиров и Козлов предложили последней вступить с ними в половое сношение, но Туганина отказалась. Тогда Вяхирев попросил помочь им Андрееву. Последняя охотно согласилась и, подойдя к Туганиной, начала уговаривать ее вступить в половое сношение с Вяхиревым за вознаграждение. Около 8 часов вечера Андреева увела Туганину в уборную, куда пришли Вяхирев, Козлов и другие, заперли дверь и категорически потребовали от Туганиной, чтобы она пошла с ними в вагон. Но Туганина и здесь попыталась отказаться. Возбужденная компания требовала и угрожала побоями Туганиной, и последняя вынуждена была итти с этой компанией в вагон. Вяхирев, Козлов, Кондратьев и Дмитриев подхватили Туганину и повели в вагон, стоявший на 7 пути. Все это видели бывшие в вокзале Александров, Китковский, Ключарев и Ледяев, которые также двинулись к вагону вслед за компанией. Приведя в вагон Туганину, первый принудил ее вступить в половое сношение Вяхирев, после него Козлов, который, выйдя из вагона, сказал собравшимся у вагона: «кто следующий, я кончил» После Козлова пошел Кондратьев, за Кондратьевым Дмитриев, но Туганина, плача, начала отбиваться. Стоявшие у вагона насладились зрелищем и прождали очереди. Но когда Туганина ослабела, то компания решила поехать в цирк. По возвращении оттуда решили снова к ней вернуться и продолжать гнусное насилие; для этого оставили караулить Вяхирева, но дальнейшее было прекращено агентом ГПУ.

Квалифицируя это преступление по 1 части 169 ст. Уг. Код., суд приговорил всех участников насилия к лишению свободы сроком на 3 года каждого, без поражения прав.

Результатом пьянства бывают еще более омерзительные преступления.

Кассир железнодорожной станции Мелекесс Семен Исаев, проводив свою жену в г. Бугульму за продуктами и выпив вместе с товарищами огромное количество пива и самогонки, растлил свою дочь в возрасте 1 года и 3 месяцев. Ребенок потерпел жестокие повреждения организма и остался жив лишь благодаря больничному лечению. Медицинской экспертизой Исаев был признан вполне нормальным. Суд приговорил его к лишению свободы на 5 лет без поражения в правах.

В деревне насильниками бывают обычно молодые, нередко недостигшие совершеннолетия парни. В городе не отстают от них и люди постарше.

Смоленский губернский суд судил гр. Муравченкова, 42 лет, из крестьян, по профессии столяра, драпировщика и маляра за то, что, застав в квартире своих знакомых воспитанницу Мурашкинцеву, напоил ее наедине принесенной им вишневой наливкой, доведя до совершенно беспомощного состояния, после чего изнасиловал, а впоследствии под угрозой убить ее, если она кому-либо заявит или скажет о случив-

шемся, заставил Мурашкенцеву иметь с ним половое сношение 2 или 3 раза в сарае и на чердаке. Муравченков приговорен к лишению свободы на 3 года без поражения в правах.

Не лучше его кунгурский сапожник Ферафонтов 56 лет, набросивший на свою племянницу подушку, чтобы она не могла кричать, а затем несколько раз ее изнасиловавший. Суд приговорил Ферафонтова к лишению свободы сроком на 6 лет.

7.

Перед лицом этих грозных фактов мы видим, что стоим лишь в самом начале борьбы за быт.

Многочисленные анкеты, произведенные по вопросу о семейных и половых отношениях среди нашей студенческой молодежи, составляющей цвет рабочего класса и крестьянства, находящейся под непрерывным культурно-просветительным воздействием разного рода организаций, печати и отдельных товарищей, наглядно свидетельствуют о том, что доходящие до суда дела являются не столько исключениями, сколько наиболее уродливыми отражениями той действительности, которая достаточно уродлива и сама по себе.

Суд энергично борется со всеми этими уродствами, но сознает в то же время ограниченность своих возможностей и не перестает, в лице ответственных своих представителей, указывать на то, что лишь широкая общественная борьба сможет преодолеть все эти ненормальности. А как раз по линии общественной дело обстоит более, чем печально. Новый класс, придя к власти, вместе со старым правом разрушил старую мораль. Своей морали он выработать еще не успел. Его общественное мнение в важнейших вопросах быта шатается и колеблется. Между тем, потребность в общественно моральных оценках существует, и потребность очень настоятельная. Это было доказано дискуссией по проекту нового Кодекса о семье и браке, всколыхнувшей широчайшие массы, вызвавшей небывалое до того времени количество откликов рабочих и крестьян в печати, в письмах, на собраниях. Дискуссия эта, вместе с обнаружившейся разноголосицей, показала, однако, и весьма определившееся желание авторитетного слова со стороны законодателя, слова, вооруженного всей силой государственного принуждения, призванного поставить известное единство на место господствующей и калечащей многие жизни безурядицы, и воспитать в новом направлении умы, потрясенные сожительством самых противоречивых оценок и самых разнородных элементов в окружающей жизни. Закон не может перестроить быта целиком, но может его упорядочить, особенно если в быту назрели для этого подходящие условия. Пособником закона в этом деле могут быть нравы, воспитываемые коллективной волей и разумом класса-преобразователя.

Авангард рабочего класса, коммунистическая партия, для себя, для своего внутреннего потребления основы этой будущей морали уже начала

закладывать. Громадная работа органов нравственного и политического контроля партийных контрольных комиссий, далеко еще не учтенная, тем не менее, настолько оправдалась в некоторых направлениях, что скоро можно будет говорить об известном нравственном минимуме, необходимом для того, чтобы считаться коммунистом и иметь право воплощать собой соответствующую частицу нравственного авторитета партии. Господствующая в партии дисциплина облегчает внедрение необходимых моральных навыков. Гораздо плачевнее обстоит дело в остальных общественных организациях. Я не думаю утверждать, что эти организации, как профсоюзы, кружки, клубы и т. п., призваны выработать основы новой морали. Но во всяком случае они могут и должны быть центрами общественного мнения. В частности, профессиональные союзы, представительствуя за своих членов в советском суде по всем вопросам труда и быта (Код. зак. о труде, ст. 151), должны иметь известный принципиальный подход при оценке тех или иных бытовых явлений.

Не о хлебе едином жив человек. Забота о заработной плате, выплате за сверхурочные, прозодежде и жилищной нужде, конечно, необходима и, конечно, должна стоять на первом плане. Но одной ее недостаточно для того, чтобы профсоюзы приобрели тот авторитет, которым они должны пользоваться, как массовая общественная организация рабочего класса.

Через клубы, общие и стенные газеты, через все привода, которыми соединяются массовые организации с самими массами, они должны воздействовать в направлении сначала изобличения, а потом и уничтожения бытовых пережитков, которые продолжают держать массы в плену и которые тем опаснее, что в целом ряде случаев они перекрашиваются в новые современные цвета.

У нас очень много внимания уделяется изобличению отдельных личностей, изобличению, нередко переходящему в один из жгучих бичей современности, — склоку. Бичеванию массовых пороков и борьбе с ними не уделяется даже одной сотой доли этого внимания. Ясно, что изобличениями последнего рода популярность не приобретается. Ясно, что угодничество и холуйство доставляют, напротив, легкий и дешевый успех. Но уметь сказать горькую правду классу в целом еще более необходимо, чем выставлять на свет отдельных обанкротившихся его представителей. Одним судебным ковшиком не вычерпаешь море социальных уродств и болезней, широко разливающихся вокруг нас. Даже при наличии революционного законодательства нет иного пути к уничтожению бытовых пережитков, как терпеливое и настойчивое формирование общественного мнения советской демократии не только по вопросам политического и хозяйственного строительства, но и по важнейшим вопросам быта.

ЗА РУБЕЖОМ

Закулисная сторона всеобщей забастовки.

Брэйльсфорд [1]).

В течение девяти дней рабочие массы страны продемонстрировали солидарность, беспримерную в нашей экономической истории. От начала и до конца они боролись, как солдаты. Не было ни одного вождя, который бы олицетворял их общую волю. Организация была слабая и случайная. Но не нужны были ни вожди, ни организации, потому что каждый верил в лойяльность своих товарищей. Самым удивительным явлением в этой генеральной забастовке была всеобщая самоотверженность. Железнодорожники и докеры, транспортники и печатники, не добиваясь никаких благ для себя, рисковали очень многим. Эти миллионы людей рисковали своим существованием для того только, чтобы горнорабочие добились нормальной заработной платы. Конечно, солидарность и непреклонность горнорабочих тоже достойны удивления, но в этом нет ничего сверх'естественного: они борются за своих детей и за свой очаг. В этой теснозамкнутой, наследственной отрасли среди опасностей шахт дети учились солидарности у отцов. Но удивительно, что люди различных профессий, от Абердина до Пензэнса, об'единились не во имя личных интересов, а во имя общей справедливости. Рабочие Лондона, никогда не видевшие угольных копей, и железнодорожники из зеленых деревень Кента и Дэвона, рискуя всем, ринулись в борьбу, чтобы помочь своим братьям из далекого Дургэма и Уэльса. Импульс, руководящий ими, был так силен, что затруднения для союзов заключалось не в том, чтобы мобилизовать призванные к забастовке отрасли производства, но в том, чтобы удержать от нее еще не призванные отрасли производства. Лондонские извозчики у дверей союза транспортников с криком требовали разрешения присоединиться к своим товарищам, а когда забастовка приходила уже к концу, бредфордские текстильщики настаивали на том, чтобы их призвали. Не отстали в своем рвении и «рабочие в черных пиджаках», не колеблясь вступили и железнодорожные чиновники; и даже многие из начальников

[1]) От редакции. Печатаемая редакцией статья Брэйльсфорда взята из официального органа Независимой Рабочей Партии «Нью-Лидер». Она показывает, что обвинение Генер. Совета в предательстве грандиозной забастовки английских рабочих совершенно не преувеличено.

станций присоединились к бастующим. Эту люди завоевали право гордо держать голову.

Только конец этой большой главы в истории рабочего класса недостоин быть занесенным в эту чудесную летопись.

Когда говорили о всеобщей забастовке, то сомневались в том, откликнутся ли все рабочие массы на призыв. Но когда это случилось, были удивлены даже те, которые верили в это.

До самого конца в наших рядах не было прорыва. Но не упадок энергии или отсутствие твердости заставили вождей сдаться. В ту злосчастную среду казалось невозможным, что им удастся сорвать эту изумительную демонстрацию солидарности и бросить горнорабочих на произвол судьбы. Но это было так. Цель забастовки не была достигнута. Горнорабочие, бесстрашные, как всегда, до сих пор еще не приступили к работе. Их петиции, указывающие на голодную заработную плату, вызвавшие даже сочувствие среднего класса, до сих пор ставятся им в упрек. В течение четырех дней, со среды по субботу, каждому производству приходилось бороться в отдельности, не ожидая обещанной поддержки, против угроз снижения заработной платы, рискуя прогадать. Великое неорганизованное войско, в разных частях поля битвы, сражалось отдельными группами без посторонней помощи против наступления капитала.

Для того, чтобы понять случившееся, сделаем беглый обзор истории этой забастовки. Зародилась она еще в июле прошлого года из обещания поддержать горнорабочих. Но тогда не предполагали об'являть всеобщей забастовки. Железнодорожники, докеры и другие транспортники наложили запрет на перевозку угля. Это — обычный прием всех тред-юнионов. В продолжение всего конфликта ни один лойяльный тред-юнионист не мог прикасаться к «черному товару». В применении этого правила не было ничего необычайного, за исключением национального масштаба его. Это было нарушение железнодорожниками их обязательств, и, через несколько часов вслед за этим, железнодорожные компании принуждены были об'явить локаут, и затем была об'явлена забастовка на железных дорогах, в доках и в других отраслях транспорта.

Когда Генеральный Совет, после июльского кризиса, натолкнулся на возможность нового кризиса в мае, он оказался недальновидным и допустил ошибку, не озаботившись заготовкой угля. ОМС напомнил ему об этом, и тогда была образована подкомиссия, занявшаяся вопросами о снабжении граждан провиантом и создании защитных резервов. В конце концов выяснилось, что приготовления в данный момент бесполезны, и что ими займутся по мере надобности. Легкомысленный фатализм одержал верх. До самого кануна забастовки рассчитывали на то, что правительство «испугается» и предупредит борьбу (как это было в июле), в последние минуты одиннадцатого часа. Генеральный Совет, уже после выпуска бюллетеня конфедерации горнорабочих, был занят не подготовкой к борьбе, а стремился использовать свое влияние в целях посредничества. Он старался, как говорит сам Макдональд, «горячо и искренно водворить мир».

Я думаю, что только во вторник перед забастовкой был наскоро отдельными лицами составлен какой-то план, и не обсуждался Советом, в «полном составе» непрерывно заседавшем вплоть до вечера пятницы. Горнорабочие потребовали наложения запрета на перевозку угля. Это требование не встретило поддержки главным образом потому, что лидеры железнодорожников считали несправедливым, что вся тяжесть борьбы падает на железнодорожников и докеров.

Правда, что другие союзы могли оказать помощь горнорабочим и транспортникам путем взносов, но ведь им не пришлось бы подвергаться ни риску, ни критике. Наложение запрета на уголь могло не найти поддержки в рабочей массе, хотя Генеральный Совет считал эту меру допустимой в виду того, что забастовка должна была быть экономической, а не политической. Провести ее, как покушение на конституцию, казалось Совету более сложным. И все-таки последствия приостановки транспорта, прежде всего угля, а затем и другого сырья и запасов, могли оказаться не столь ужасными, как последствия самой забастовки.

Одним из результатов отказа от наложения запрещения было то, что с пятницы (когда начался локаут) и до вечера понедельника (когда началась забастовка) огромные количества угля были переброшены к главнейшим железнодорожным пунктам, и железнодорожники усиленно работали, помогая правительству в его приготовлениях.

Компромиссное решение, принятое тогда, было далеко от всеобщей забастовки; оно было делом рук Бевина, стратега в этой борьбе, в то время, как Томас был дипломатом.

Транспортники же были авангардом. Сначала хотели не трогать запасов продовольствия, но потом стали злоупотреблять разрешениями, которые выдавались в неограниченном количестве. В целях устранения неудобств для граждан, решено было продолжать подачу электрической энергии и газа для частного пользования и запретить подачу энергии для промышленных целей. Но соблюсти это разграничение было трудно. Были привлечены строительные рабочие (не занятые на постройках), формовщики по железу и стали, рабочие по тяжелой химической индустрии, частью для оказания моральной поддержки транспортникам, частью в надежде, что они окажут давление на «крупные дела».

Наиболее спорным был вопрос о приостановке прессы. Задача состояла в том, чтобы нанести удар пропаганде успокоения, которую правительство собиралось пустить в ход. В результате, истинная цель не была достигнута и профсоюзное правило «все или ничего» вызвало приостановку и рабочей прессы. Если бы пресса действовала, то попытка архиепископа водворить мир нашла бы во многих газетах поддержку. Закрытие же газет дало повод правительству утверждать, что забастовка носит политический характер.

Бевин, предвидевший, что произойдет в случае прекращения забастовки, предложил условие, которое было принято всеми; в случае «опасности», угрожающей требованиям тред-юнионов, не приступать к работе, пока эти тре-

бования не будут удовлетворены. Это условие было позабыто, когда приблизилась развязка.

В конце концов, было решено, что каждый союз в продолжении забастовки должен подчинить свою независимость суверенитету Генерального Совета

Это было принято всеми за исключением Национального союза железнодорожников. Существенным фактом являлось то, что горнорабочие до конца выполнили свои обязательства. Председатель их федерации Герберт Смит сказал («Дейли Геральд», 3 мая, стр. 2): «Мы не стремимся к миру во что бы то ни стало». Мы сговорились с Генеральным Советом тред-юнионов, что, хотя мы и пришли к соглашению с ними, но от поры до времени должны сноситься. Все переговоры должны вестись совместно и так же совместно обсуждаться предложения.

События быстро развертывались. Война нарастала. Всем было ясно, что предприниматели стоят за приостановку работ. В результате совещания они выработали линию поведения, аналогичную той, какую вели в июле. Что же касается правительства, то оно было совершенно парализовано и беспомощно. В четверг, за двадцать четыре часа до об'явления локаута, от предпринимателей все еще не было предложения урегулировать вопрос в национальном масштабе. Игнорируя бюллетень, они мечтали задушить рабочее движение по районам. В пятницу состоялось совещание исполкомов всех тред-юнионов, на котором Томас произнес речь, призывающую к борьбе. Тогда, наконец, шахтовладельцы решились на предложение, которое Болдуин согласился передать забастовщикам. Это предложение резко расходилось с требованиями бюллетеня и сводилось к восстановлению 8-часового рабочего дня. Это предвещало повышение продукции угля (хотя она и так уже превышала спрос на мировом рынке) и следовательно снижение цен, и угрозу безработицы. Предлагая восьмичасовой день вместо семичасового, в то же время снижали заработную плату. Это временное снижение заработной платы устанавливалось на четыре года (влияние Болдуина). Стачечники, а с ними и вся страна должны были признать отсутствие какой бы то ни было базы для переговоров. В пятницу вечером Генеральный Совет единодушно и единогласно постановил предложить совещанию тред-юнионов проведение всеобщей забастовки Не приходится говорить о том, каким волнующим было заседание Мемориал Холл, в этот майский день.

Последний шанс на мир появился в субботу. В ту минуту из-за всех этих переговоров успеху забастовки грозил провал. Разве в такой момент правительство, стремящееся к экономическому миру и желающее возрождения промышленности, не призвало бы на помощь весь свой здравый смысл и не добилось бы соглашения, прежде чем разразилась катастрофа?

В напыщенных речах, произносимых в Совете, не было искреннего желания забастовки. Провал ее, обнаруживший полную неподготовленность, ясно показал это. Совет надеялся и верил до последней минуты, что угрозы повлияют на соглашение. Совет рассчитывал, что хоть часть кабинета приложит какие-то усилия. Но начало испортило все и трудно было что-нибудь

сделать. Правительство требовало от горнорабочих, до начала каких бы то ни было переговоров, согласиться на снижение заработной платы.

Какой лидер решился бы передать рабочим такое предложение. Формула Биркенхеда, призывающая советы воздействовать на горнорабочих в пользу небольшого снижения заработной платы, конечно, не была принята горнорабочими, и весь Совет был недоволен. И Болдуин в своей речи в палате общин утверждал, что Советы, пересмотрев требование горнорабочих, все равно будут держаться своей позиции.

Трения между Советами и горнорабочими в воскресенье почти привели к разрыву. Совет не хотел признать точку зрения Смита и Кука, как выражающую мнения исполкома горнорабочих. Был вызван исполком, подтвердивший ее. Несчастье заключалось в том, что в эти критические дни у горнорабочих не было представителя в Совете, потому что Том Ричардс был серьезно болен, а Смилли находился в Шотландии. Дипломатические переговоры были возложены на энергичного и изменчивого Томаса. Горнорабочие ему не верили и откровенно говорили об этом в Совете. Они чувствовали, что он предал их дело правительству: они знали, что он скорее способен оказать давление на них, в том смысле, чтобы они согласились на снижение заработной платы, чем явиться оппозицией правительству.

С другой стороны, они со своей отвагой и непреклонной волей были ему так же антипатичны, как он им.

Мне трудно по противоречивым отчетам представить себе картину того, что произошло в воскресенье вечером. Впечатление, вынесенное мною из того, что я сам в этот вечер слышал, было таково, что неизбежен еще один разрыв и еще одна «черная пятница». Если Совет затеял покинуть горнорабочих, то правительство спасалось от них, закрыв перед их носом двери и прекратив всякие переговоры под тем предлогом, что наборщики «Дейли Мейль» посягнули на конституцию, подвергнув цензуре передовую статью [1]).

Какой смысл рассказывать историю забастовки? Сильные и слабые молодые вожди и добровольцы, несшие транспортные и канцелярские работы — все были достойны изумления.

У всех у них была одна задача — это, чтобы забастовка достигла своей цели. Задача, стоявшая перед Советами, была более сложной. Совет был втянут в забастовку по инерции. Его беспокоило только одно, как бы не ступить на стезю революции. Совет не мог опрокинуть правительство, которое неоднократно в резких выражениях требовало безусловной сдачи. Умеренное мнение нашло некоторое выражение в единогласном решении Совета Ньюкестльского Сити по поводу одновременного прекращения локаута и забастовки и в однородных предложениях архиепископа Кентерберийского.

Цензура Черчилля и приостановка прессы заглушала тот шум, который мог подняться по поводу этого призыва. Комиссия Совета, ведшая переговоры, намечала посредников. Было ясно, что если не удастся сбросить пра

---

[1]) В число демонстративных „действий", о которых говорил Болдуин, входил, как я слышал, и приказ по телеграфу о забастовке.

ительство, то оно должно хоть соблюсти декорум и вести переговоры через какого-нибудь не авторитетного дипломата, которого можно было бы впоследствии отстранить. Но если правительство и хотело вести переговоры, то оно решило не обнаруживать ничего до окончания забастовки. Сэр Герберт Сэмюэль, по мнению Совета, специально вызванный с континента, явился желанным избавителем.

Каково же было настроение Совета в течение переговоров, происходивших в понедельник и во вторник? Я слышал несколько различных мнений. Пуф утверждал, что стачка дошла до кульминационной точки. Он хотел, чтобы она была ликвидирована прежде, чем наметится разложение и будет нарушен порядок. Но в Совете царило заметное утомление и нервное напряжение. Носились слухи о предполагаемых арестах его членов и захвате фондов тред-юнионов. Может быть, эти слухи имели под собой почву, но Болдуин положил им конец. В это время стали приходить плохие вести из некоторых мест, так, например, из Бристоля, Рилинга и Ковентри, хотя в других местах воодушевление, стойкость и бодрое настроение были достойны изумления. Но некоторых членов Совета эти редкие вести пугали и наводили на размышление о том, какие дальнейшие шаги придется предпринять в случае продолжения забастовки и не придется ли призвать «резерв» — почтовых служащих и рабочих, обслуживающих газ и электричество.

Перед этой перспективой Совет ретировался. Томас чувствовал всю неловкость своего «неустойчивого поведения». Он предвидел беспорядки и предрекал кровавые столкновения на улицах, хотя стачечники и полицейские в этой удивительной распре вместе играли в крокет. Единственная речь, выражающая его мнение, если только она была дословно передана, показала, что он струсил и порицает забастовку, за которую сам голосовал.

При наличии такого настроения Совет высказался по поводу первых предложений сэра Герберта Сэмюэля. Какие бы слова предосторожности он ни употреблял в своих речах и письменных обращениях для того, чтобы отмежеваться от правительства (как он это сделал в письме к Пуфу), Совету было ясно, что Сэмюэль виделся с Болдуином (теперь это отрицают) и, повидимому, руководился его мнением. Комитет по ведению переговоров поверил заверениям правительства, что «во время возобновления переговоров» (как сказал Пуф в своем опубликованном письме) субсидия будет восстановлена и что локаут горнорабочих будет отменен. В среду после обеда это в самой категорической форме было подтверждено Макдональдом и Томасом. Они, как и весь Совет, верили в то, что самое позднее в пятницу локаут будет отменен. На совещаниях горнорабочих с Советом и сэром Гербертом Сэмюэлем в понедельник и во вторник рассматривались предложения. Рабочие отнеслись весьма критически к первому предложению; второе, выработанное во вторник, было более удовлетворительным. Совет считал его окончательным и не хотел подвергать дальнейшей критике.

До самого конца горнорабочие были непреклонны и отказывались согласиться с мнением Совета, что правительство будет считать для себя обязательным выполнение обещания.

Во время этих мучительных обсуждений, обнаружилось разногласие. Совет постановил окончить забастовку во вторник вечером, не известив горнорабочих, но оповестив правительство, и когда в среду утром Совет снова встретился с горнорабочими, это было только для того, чтобы воздействовать на них в смысле присоединения. Решение левых и правых в Совете о прекращении забастовки было единогласным, — повидимому, все единодушно высказались по этому вопросу.

Немного можно сказать о ближайших последствиях.

В своей поспешности прекратить забастовку. Совет упустил из виду возможность репрессий и забыл о собственном решении не приступать к работе, пока не будет достигнуто соглашение со всеми союзами. Мистер Бевин указал на это в интервью на Даунингстрит, но уже после официального соглашения. Рабочие думали, что придется приступать к работе в деморализованной атмосфере, и что они будут неспособны к дальнейшим противодействиям. Но вскоре увидели, что заблуждались. Непреклонная воля рабочих, а также, может быть, призывы Болдуина отвратили месть контратаки И все-таки рабочие всех отраслей понесли ущерб. Но тяжелее всего оказался моральный ущерб. После того, как удачно разыграли лойяльность Томас и его товарищи лидеры в постыдной исповеди признали «незаконность своего поступка».

Субботние газеты окончательно подтвердили, что Генеральный Совет был введен в заблуждение в своих переговорах с сэром Гербертом Сэмюэлем Наступал конец недели, а локаут не был отменен. Правда, правительство снова приступило к переговорам с шахтерами, но эти переговоры ведутся под давлением голода. Дипломат Томас и недипломаты рабочие поняли истинное положение вещей. Болдуин не принимал формулы соглашения Сэмюэля Его формула, резко отличавшаяся от той, наносила еще больший ущерб интересам рабочих.

По Сэмюэлевской формуле рабочие могли приступить к работе на условиях прежней заработной платы. Никакое снижение не могло иметь места без участия тарифной комиссии. По формуле Болдуина снижение входило в силу немедленно. Но не только в этом одном заключалась существенная разница. Участие Сэмюэля не внесло ничего существенного, только разъединило Совет с горнорабочими. Какие же выводы нужно сделать из этой печальной и запутанной истории? Стоит ли говорить о том, как ничтожны были вожди рабочих? Важна не критика лиц, а сознание, что отсутствовала всякая дальновидность. Я не могу сказать (хотя это и существенно), что не выработали технических способов для мобилизации отдельных отраслей производства, и что не была разработана механическая и психологическая сторона забастовки. Более серьезной ошибкой было выдвигать вообще вопрос о забастовке, как об орудии борьбы, если в случае неуспеха не думали предпринять революционных действий. По обычаям нашей страны обыкновенно стороны договариваются: мы стремимся инстинктивно к этому самому и того же ждем от противника. Но можно ли в таком случае пользоваться орудием, которое во всяком обществе ведет к революционной борьбе?

Дело в том, что каждый правильно понимал, что одними словами или деньгами не вернуть горнорабочих в шахты. Мы все готовы были к борьбе. Но к какой борьбе? Забастовщики предоставили решение этого вопроса представителям, а они «люди деловые», не искушенные в политике, ждали до 11 час. ночи вдохновения свыше. Возможно, что более мудрые стратеги начали бы с того, что наложили бы запрет на уголь. Только и всего. Как бы там ни было, мы понесли кару за нашу недальновидность. Стойкость покинула вождей, они ухватились за соломинку Сэмюэлевского соглашения и погонули.

Трагедия заключается в моральном провале лидеров. То, что им не хватало воображения, дальновидности, напряжения стальной воли, все это простительно: они были призваны плестись в хвосте союза, а не творить историю. Но они запятнали себя тем, что, пробудив в массах страстную солидарность и самоотречение, осквернили память об этой забастовке, сведя к нулю жертвы и бросив горнорабочих на произвол судьбы.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Путевые заметки.

Борис Зильперт.

I. В вагоне.

Часто, когда нахожусь в вагоне, мне кажется, что это инсценировка.

Какой-нибудь Холливудский кино-король «творит» длинно-метражную фильму. Туда надо вставить маленький кусочек «пассажиры провинциальной узкоколейки». Где-то властная рука подала знак: посадили, передвигают, велят беседовать, спать, кормить детей, молиться богу и щупать у изголовья — не стащили ли чемоданчик.

Каждое новое изобретение техники и культуры порождает новую болезнь. Боюсь, не заболел ли известной в мире кино «статисто-болезнью», когда тебе кажется, что ты все время под полем зрения режиссера и оператора.

Вернее всего, это проще об'ясняется. Современная жизнь полна инсценировками, а вагон — клочек жизни.

Из окна вагона можно видеть многое, даже больше, чем профессор Устрялов.

Вот, например, стоит пастух. В одной руке дирижерская палочка для овец, а в другой газетка. Различаю «Батрак». Пока ликвидировал неграмотность, выкурил газеток пятьдесят, а теперь нет. Теперь он рассказывает овечкам о генеральной стачке в Англии. Овечкам интересно, потому что они живут и воспитываются в стране советов.

Поле. Землемер со своей сложной установкой. Крестьяне лежат на траве, изучают план. Рядом — босый шустрый пионерчик. Рваный зад шокирует международный вагон, где иностранцы (может, даже дипломаты) с дамами тоже смотрят из окна вагона. Зато кусок красного галстука — лицом к деревне, к будущей землеустроенной, грамотной деревне. Во избежание дипломатических конфликтов, извиняюсь перед международным вагоном за обращенный к ним рваный задик пионера. Пройдет год — два, и мы всех оденем. Режим экономии снизит цены на штанишки.

Полоса корнеплодов. Развертываетесь по-датски? Браво, ребята! Агрономия вам в помощь! (Это вместо бога, профессор Устрялов.)

Итак, шумно. Хотя каждый говорит тихо, даже шопотом, а в общем выходит какой-то шум.

Так, вероятно, постоянно стоит в ушах мировых империалистов шум Коминтерна, хотя некоторые секции работают шопотом, почти подпольно.

Вагонный шум всегда приятен. В нем чувствуется жизнь, какая-то нервозность. Шутка сказать — люди в пути! Это тебе не рутина английского консерватизма. Движешься на горящих углях, силой пара. Все мелькает. От мелькающих точек что-то все-таки остается, западает и обогащает. От каждого передвижения какая-то сумма увеличивается. Даже мануфактурный спекулянт Ицка Дрейзин узнал многое. Узнал, что в Москве за спекуляцию валютой расстреливают. Хорошо, что не за спекуляцию сукном, слава богу, это другой вопрос; но все-таки он кое-что узнал.

Немного разочарованная комсомолка Аня тоже узнала, что даже в самой Москве вопросы нового быта еще не совсем разрешены, а, наоборот. почин должны дать места.

Семимесячное алиментное существо. Увидело свет после многих сомнений матери «быть ему или не быть». Человечество обязано заявлению акушерки «все равно поздно». Таким образом мы имеем в нашей среде еще одного Гамлетика.

Он с большим напряжением ловит кончик веревочки, как и мать его — кончик судьбы. Оба не могут словить, а потому оба одинаково озлоблены и раздражены. Разница лишь в том, что Вовочка пищит, а мать, постигшая искусство инсценировки, улыбается и кокетничает с сидящим рядом заготовителем.

Хлебозаготовитель весь в веснушках. Мне кажется, что у него вместо глаз тоже веснушки, но она, как видно, решила, что против веснушек имеются мази и кольдкремы. Не смею спорить. Он уже сушит у окна пеленочки. Нельзя знать, судьба превратна: у кого пеленки — это конец, послесловие, а у кого — это зацепка для начала. Мадам Брук сама тоже не знает, где начало и где конец. В Америке рабочие через голову вождей помогают английским товарищам, а здесь все идет через голову Вовочки.

Поздно вечером слышу отрывочные фразы: «но у меня обуза, ребенок», «Ничего, — летит в ответ, — я его уже люблю, как родного», т.-е. через голову Вовочки. Пока маленькая головка — не помешает.

Есть люди — как зубры — последние.

Еврей с бородой, заканчивающейся клином, а по бокам — кудряшками, как будто похищенной из Третьей Художественной студии у родственников принцессы Турандот.

На том месте, где парижанка Зи-зи делает особые букли, у него толстые завитые пейсы, упрямые и жесткие, как закон Адоная. Таких пейсов, вероятно, во всем мире осталось всего 20 тысяч пар.

Этот еврей торгует дрождями. Его магазин содержит несколько десятков осьмушек дрождей. Осьмушек только втрое больше, чем детей. Дважи-

денд от продажи трех осьмушек должен прокормить одного ребенка. Не расспрашивайте о чудесах божьих. Их не расскажешь, их не поймешь. Зато по праздникам он, углубляясь в каббалистические тайны Зогара, восторженно думает, что еврей ничего напрасно не делает. Кто знает? Избранный народ — дрожди мира, а ему бог поручил торговать дрождями не для барыша, — это ерунда, это мелочь, — а для символики показать, что божьи дрожди и дрожди, употребляемые в субботней хале — это одно и то же. И запевает реб Шмельке хассидскую бодрую песню «Хвала богу». Песня ширится и переходит в пляс фанатика, заглушая стоны зачахшей жены и рев голодной «дрождевой» армии.

Теперь он едет от шурина раввина. Все время шепчет молитвы, моет руки, близорукими глазами штудирует великие мысли его предшественников из заржавелого фолианта, чудом уцелевшего от десятка погромов.

Едущий из Москвы полуденди-полукомиссионер ошеломляет эрудицией молодую местечковую даму. У нее открытый рот, глаза. Мне кажется, что она его слова воспринимает зубами, до того они жадно и любопытно блестят. Она хочет разжевать, переварить. Столько новых слов и комбинаций! А он шпарит. У него, как видно, уже выработалась система. Прием «без передышки» дает более блестящие результаты. Наконец, слышу: дошел до нового человека. Рассказывает о том, что в какой-то мировой лаборатории уже создан химическим образом искусственный человек.

— ...Представьте, этот человек лишен всей шелухи родственных чувств, жалости. Им руководят только законы целесообразности. Это прототип нового человечества, куда даже ваше местечко Колышки будет давать человеческий материал только по строгой разверстке. Нам не нужны лишние рты! Должна быть введена плановость, строгий расчет, хорошо проверенный контроль и доброкачественность сырья.

Дама слушает испуганно. Боится, как бы это не было декретом зафиксировано до тех пор, пока она с мужем — Исааком Менделевичем — не сотворят, еще старыми способами, двух-трех детей.

Я вижу, что этот парень скоро ее будет целовать. Может и уговорит, что «искусственными», но вполне проверенными мерами можно предотвратить последствия... Вообще, этот полуденди-полукомиссионер, как видно, здорово сдружился с «искусственностью».

А, впрочем, кто не инсценирует, особенно в вагоне, когда надвигаются весенние сумерки?..

Ко мне подбегает спекулянт Ицка Дрейзин. Спрашивает:

— Простите, не вы ли будете фининспектором Оршанского округа?

— Да, — ответил я.

Ему было совершенно безразлично, сказал ли я правду или соврал. Важно найти еще одно подтверждение своей философской теории. А философия его очень стильная. Все люди делятся на две части — на спекулянтов

и на фининспекторов, а между ними, как тонкая общественная прослойка, прозябает потребитель, кооператив и Моссукно.

Дрейзин очень энергичен и очень живуч. У него хорошо налажен аппарат от самой Москвы до Лиозно, а накладные расходы сведены до минимума. Он об'явил уже давно режим экономии и проводит с большей настойчивостью, чем ВСНХ (да простит мне товарищ Дзержинский за такое сравнение).

Ицка угощает на каждой остановке едущего с ним кооперативного деятеля бутылкой пива.

После восьмой остановки (а значит и восьмой бутылки) Ицка с товарищем Кирилловым начали серьезно говорить о каком-то деле. Я не завидую майскому балансу Кирилловского кооператива. Не завидую и товарищу Любимову, главначу Кирилловых. Этот важнейший участок нашего фронта бесспорно местами прорван. В вагоне яснее чувствуешь. Декларации, статейки и обращения не помогут. Тут нужен нажим военного образца.

В углу сидит крестьянин. Ехал в Москву по поручению своего села. Так сказать, проверить. В избе-читальне радио-приемник передавал «Крестьянскую радио-газету» из Москвы. Крестьяне не верили, что голос идет из Москвы. Калякали, что избач где-нибудь закопал граммофон, — вот и говорит труба. Некоторые мужики даже в чулане и дворе избы-читальни искали спрятанный граммофон. Село разделилось на две части. Пошел большой спор о силе, конструкции и перспективах радио. Решили отправить ходока в Москву проверить. Теперь едет с ответом: сам все осмотрел, сам говорил односельчанам.

Весь вагон смеется. Полуденди заливается. «Страна дикарей»! Спекулянты вообще не понимают, зачем люди едут в Москву, если не за мануфактурой...

— Правда дороже денег, — робко обороняется ходок.

Да, в Америке так не говорят.

Село Барашки ловит радио-волны.

Помещик Назимов, бывший владелец села, за жульничество радио-материалами, осужден в Мюнхене к шести месяцам тюремного заключения, а крестьяне его села слушают по радио дружескую беседу Калиныча.

Тут и фатоватый делегат, едет с какого-то с'езда. Везет новые туфли жене и кипу тезисов, инструкций и форм подотчетных бланков. Когда у нас прекратится этот «бумажный дождь»? Во всяком случае орошению новой почвы он не помогает.

Девушка читает книгу. Оказывается, учебник белорусского языка. Едет на экзамен. К первому июля судопроизводство в республике переходит на белорусский язык. Ее лицо засыпано пудрой. Она, правда, контрабандная, дешевая.

Я с ней беседую. Рассказываю про Индию и Китай. Она вдруг меня прерывает: «Как мне хотелось бы жить в Индии».

— Почему, — спрашиваю я, внутренне удовлетворенный, что удалось очаровать собеседницу красотами Индии.

— Потому, что там не надо изучать белорусский язык...

— Когда экзамены на носу, тогда ваши Индии не лезут даже в затылок. — Этим мне дали понять, что конверсейшен закончена.

Вечером всех «об'единила английская забастовка. Почти летучий митинг, центральное внимание — спор хлебозаготовителя с делегатом. Хлебозаготовитель, не отрицая важности событий, напирает на экономический характер стачки.

Делегат с пафосом швыряет фразы о великом восстании, — пока не вооруженном, но с часу на час им ожидается известие о битвах и поджоге Букингемского дворца. Он протягивает свои руки во все стороны — на пари, что короля в Англии к первому июня не будет.

Полуденди анализирует события с точки зрения техники: аэропланы бомбами, удушливые газы задушат рабочих.

Спекулянт, играя золотой цепочкой, замечает:

— Войска — ерунда, газы — ерунда, главное, это — чтобы в темной палате (где выключен ток) Болдуин в темном углу не нащупал бы Макдональда и не сговорился бы с ним, а потому он рекомендует дать палате несколько лампочек хотя бы по 16 свечей, чтобы наблюдать за Макдональдом.

Ицка знает, что такое сговориться в темном углу, что такое нож в спину в час борьбы...

Мать Вовочки, поручив хлебозаготовителю подержать ребенка, меняя эдеяльце, тоже вставляет:

— В жизни, когда что-нибудь начинается, нельзя знать, чем это кончится, — кивая головой в сторону Вовочки.

Хлебозаготовитель оппонирует:

— Надо всегда предварительно принять меры...

— Что̀ меры, — нервничает она, — есть законы, которые сильнее всех мер.

Полуденди отстаивает силу английских традиций.

Профсоюзный делегат кидает в ответ:

— Мы мобилизуем мировой пролетариат.

Мадам Брук испуганно спрашивает у меня шопотом, когда будет об'явлена мобилизация, потому что ее муж Исаак Менделевич — запасный воин мирового пролетариата.

Реб Шмельке больше не может удержаться и, очищая свою бороду от крох хлеба, проверив особым жестом завивку пейс, он с дрожью сангвиника говорит по-еврейски спекулянту Ицке:

— Что за диво! Если бог захочет, — может забастовать тысяча миллионов человек, может забастовать даже солнце, только неверующим такие события могут показаться диковиной.

В произношении каждого слова участвует не то пять, не то десять пальцев.

Ицка с хитрой улыбкой переводит слова еврея.

Полуденди заливается:

— Вот вам новый вождь английской стачки. Недаром Макдональд так дружит с богом.

Стоящий тут же проводник реагирует:

— На боге и короле, как на метле и кочерге. Без поездов и угля далеко не уедешь.

Все хохочут. Даже маленький гражданин Вовочка булькает от восторга губной слюной.

Ходок из села Барашки тоже говорит:

— Коли чугунка стала — то дело плохо, — добавляя, что сегодня по радио, верно, в селе узнают новости.

Комсомолка Аня вся горит. Пока она еще не кончила партшколу, а потому в международном рабочем движении разбирается с трудом, но зато она знает, что комсомол Англии выпустил летучку «Деритесь, как черти». Этого достаточно, чтобы Аня вся горела.

II. Сутки на старом рынке.

Эпоха выдвинула много новых проблем, и мой крохотный маленький городок втянут в их разрешение.

Мой городок меньше, чем циферблат башенных часов небоскреба в любом из американских городов. Между римскими знаками можно смело поместить базар и ряд частных лавок (не шутите, — нэп), затем церковь, синагоги и все остальные учреждения для души. А между 11 и 12 легко расположится население со своими перинами, горшками и субботними нарядами. На большую жилую площадь они и претендовать не будут.

Я взял образ часов не случайно: на каланче города, как новаторство XX века, городской сторож маленьким гимназическим колокольчиком отбивает часы. Тогда все замирает. Весь город вслух считает количество ударов, а имеющие часы выхватывают их из кармана и держат, упорно в них впиваясь, пока сторож не кончает свою сложную операцию. Часто на него клевещут, что он ошибается на час или два. Тогда подымается общегородской скандал. Собственно говоря, практического значения это не имеет. Если бы даже потерялся целый день, то от этого никто бы не пострадал, но здесь вопрос принципа: кому поручена такая ответственнейшая работа, тот должен быть точным на посту.

Когда приедете в мой город и гид вдруг прервет по середине разговор и остановится, то знайте: что сейчас начнут отзванивать часы. Постойте с ним минуту, затаите, как и он, дыхание и, если хотите, считайте громко: раз — два — три. После этого вам будет легче продолжать свой путь.

Я еще теперь в мировых столицах, когда слышу бой часов, останавливаюсь и громко считаю.

Почти единственное, что у меня осталось от ранней молодости.

По этому признаку мои земляки узнают друг друга во всех концах мира.

Скрытая потенция города не превышает силы мускулов боксера Полюнчию, а, может, и немного меньше. Во всяком случае, если бы он размахнулся, то все население разбежалось бы.

Я не шучу. Первое впечатление, правда, чарующее. Какая-то таинственная тишина. Как будто бы ты попал в поселок алхимиков, где втайне, внутри идет колоссальная работа мысли и комбинаций.

Затем этот массовый прирост. На улицах копошится муравейный приплод. Видно, что люди чуют ответственность перед человечеством и грядущими веками. Это вам не легкомысленная цвай-киндер-систем. У меламда Хаим-Довида их 16 штук, было 18. Двое умерло или — как мать говорит — не выдержали большевистского режима.

Река, кокетливо робкая, как провинциальная красавица, разрезает город на две части. Жители главной части с пренебрежением относятся к малой стороне.

Я хорошо помню с ранних детских лет эту обиду, это неравенство сторон. Нас было трое, защитников чести меньшинства: я, Вилли и Яша.

А так как тогдашние дети — теперешнее население, то встреча со мной была самая трогательная.

Из нас троих — Вилли — профессор Венского университета, а Яша — кустарь — продает жестяные кружки.

Зашел к моему соратнику по кулачным боям. Долго и нежно целовались. Многое вспоминали. Потом Яша говорит: «Зайдем к Сарре». Идем к моему большому другу детства.

Ей я посвятил мою гавайскую балладу и восторженно думал о том дне, когда я ей прочту ее.

Булочная находилась в полуразвалившемся домике. У Сарры оказался длинный веснущатый нос, как субботняя, немного поджаренная хала. Глаза — изюминки, вкрапленные в тесто.

В переднем ряду не хватало нескольких зубов. Остальные были цвета кошерного гусиного сала. Живот большой. Видно, что он приспособился к роли родильной машины.

По всей булочной на полу и вокруг прилавка были разбросаны семеро детей, пыльных и грязных, как пирожные в витрине.

О встрече говорить не буду. Так встречаются два мира, две планеты. Больше всего — изумления.

Пригласила домой. Из-под кровати торчал узелок со щетиной. Муж имеет патент только второго разряда, а потому часть оборота приходится прятать под кровать.

В углу на веревке сушился сырой опоек. В комнате было столько же мух, сколько и счастья.

Сарре, слава богу, нечего жаловаться на судьбу. Хорошие дети (золотушно-фавозные), верный муж (о, да, им соблазниться может только баба-яга) и сносный заработок (28—30 руб. в месяц).

Жаловалась она только на зубную боль, дороговизну яиц и несправедливость фининспектора.

Я пил чай молча, угрюмо.

Чуткий Яша при выходе, вглядываясь в мою седеющую голову и усталые глаза, дружески сказал:

— А все-таки тебе не надо было оставить родину, скитаться по миру. Жил бы с Саррой в любви и согласии, был бы отцом ее детей...

Притом доверил мне тайну, что производственный станок — живот Сарры — пущен в восьмой оборот.

— Да, — сказал я, — ты, может быть, и прав, дорогой Яша...

Долго ночью думал: кто знает, где начинается переоценка ценностей: в Нью-Йорке, Токио, Москве или в квартире Сарры...

А в Гавайскую балладу я завернул купленные у нее хлеб и шкварки.

Встретил старенького отца Афанасия.

— Здорово, батюшка!

Долго вглядывался, а когда узнал, зашамкал:

— Здорово, детка, здорово...

Скверно ему. Раньше знал одно: посредничество между Христом и приходом. Несложные и привычные комбинации с телом и кровью Христовыми.

А теперь, на старости лет, надо стать дипломатом, стратегом. Между тихоновцами, синодом, обновленцами, недавно и от возрожденцев получился приказ, а зять совсем примыкает к союзу древне-апостольской церкви.

Запутался батюшка. А главное, все угрожают лишить прихода. С большевиками, говорит, живет в мире. Здравицу им в октябрьскую годовщину справляет, а вот среди своих запутался.

Вдруг подбежал внук-пионер.

— Будь готов, дед!

Старик, сморщив улыбку, поднял сухую дрожащую руку:

— Готов!

Да, капитуляция полная. Так сдавались толпами солдаты австро-венгерской армии, не зная, за что они бьются, не видя ни цели, не понимая задач.

Отец Афанасий пережил свою церковку. Это большая трагедия — хотя и врага.

Горбатый, обросший, седой, в дырах и заплатах. Как не помнить — жандарм городка. Теперь тащит ведра с водой за 20 копеек в месяц, на гору подымаясь.

Помню, как ты когда-то прощупывал наш двор, и я тебе дал папиросу. На тебе вторую! Ты всегда лебезил, был жалким и трусливым.

— Ну, а дети где?

«Не знаю», — отвечают слезящиеся, трахомные глаза.

Да, им верно приходится здорово врать в анкетах. И каждый раз, заполняя, они выплевывают твое отцовское имя с отвращением.

Плотник Антон. Наш старый сосед. Ассимилировался среди евреев, говорит по-еврейски, все законы религии и быта знает не хуже провинциального раввина.

Антон и его жена прачка Федора снабдили человеческим материалом все отделы мира и жизни.

Один сын — ученый химик в Дрездене, второй — высокий комлосар в Наркомпочтеле, затем идут — спекулянт, сосланный в Нарым, бандит в лесах Полесья, дочь — ткачиха-коммунистка в Иваново-Вознесенске, вторая — проститутка в Ленинграде и еще несколько — растерянных без вести во время империалистической и гражданской войн.

Антон находится под сильным влиянием его старого друга — домовладельца Лейбы, а потому Октябрь полностью принять не может, а постольку—поскольку. Но одно он не отрицает, что сбить «им» спесь надо было, но не так. Он против того, что у Лейбы национализировали два дома. Мотивирует весьма заслуженно:

— Да как же это так, ведь я их сам строил?

О жене его, Федоре, ходила когда-то плохая молва. Она была прислугой у Лейбы и как будто у него с Антоном Федорины дети компанейские.

Пантелеймон Романов пишет о запутанностях нового быта. Нет, коллега. Старый быт тоже иногда извивался перемотанным клубком.

Домовладелец Лейба. У него шесть домов. Он пережил 18 национализаций и 40 кассаций. Он бы мог написать историю революции, борьбу классов, групп и группочек.

Он ведет борьбу с коммунотделом, а через коммунотдел и с Октябрем, самую ожесточенную.

Его знает сам Калинин и в Наркомвнуделе все юрисконсульты.

Не смотрите на него, что он маленький и в рваном пальто. Этот из тех, которые подкапывают целые государственные системы.

Теперь ему вернули все дома, и он собирается требовать за убытки от революции. Это французский кредитор-рантье в миниатюре. Он не отстанет. Он мешает нашему признанию, нашей мировой торговле, нашим международным отношениям и штудирует декреты как древний талмуд.

Кроме того, он одалживает червонец или два в рост, закабаляя какого-нибудь маломощного кустаря, обратившегося к Лейбе — помочь ему в беде.

Лейба из тех врагов — которых по статье закона, по кодексу никогда нельзя привлечь к ответственности. Юридически — он всегда прав.

Базар.

Прогуливаюсь. Маленькие лавчонки: мылом, дегтем, синькой, кусками железа, и разговоры вокруг диктатора базара — райсоюза кооперативов.

Дальше — жалкие затхлые прогнившие торгашики горохом, мукой, селедками. Это все фаланга нэпа.

Страшные, грязные, заросшие, тупые и полуголодные зверки, регистрируемые фининспектором, как единицы обложения.

Чего ты дичишься меня, Янкель? Делаешь вид, что не узнаешь. Я не фининспектор, а твой друг детства. Вместе учились, вместе ухаживали за твоей теперешней женой.

Она чешется о косяк лавчонки, и ножки, которыми я когда-то любовался, запрятаны в насквозь дырявый валенок.

Ведь теперь май, покажи ножку.

Дичишься? Не признаешь. Ты прав.

Все это за китайской стеной новой жизни. Огорожены от мира кладбищенской оградой. Разница лишь в том, что еще не поставлены дощечки и памятники, не высятся курганы.

III. На солнечной стороне

На солнечной стороне воздвигается новый поселок.

Борец в кубе. Старый векапист Архипов заложил фундамент. Развертывает комсомол Сашка, а на стропилах, на самой верхушке, пионер Золик.

Что за шествие? Ведь сегодня не «праздник Торы», когда пьяные хассиды танцовали на улицах и даже исправник им милостиво это разрешал.

Нет, это гурьба строителей, день леса. Насаждают новый город, новые улицы, новую зелень жизни.

Кирки, лопаты, ростки, песни.

Жалко глядит двенадцатилетний сын лавочника Меера, глаза грустнее, чем у беспризорного. Он в стороне от торжества, он сын грошевого нэпача, он прокаженный.

Но вот Золик положил ему ласковую руку на плечо, втянут. Дрожат от радости худые плечики, и рахитичные кривые ножки примеряются к новому шагу.

Если Золик положил руку, то это плечо уже завоевано для будущего.

Спасайте, выхватывайте детей из кладбищенской ограды, пусть гетто с'ест их родителей. Строгие вожаки, секретари ячеек, пожалейте этих детей!

Прошу лопату, кирку. Я старый гражданин города, дайте посадить деревцо.

— Где? На каком месте? — спрашивает запыхавшийся Гришутка.

— Я хочу в центре базара, пусть ростки подкопают торгашеский ряд.

В центре города когда-то ярко освещенный дворянский клуб манил величием и таинственностью.

Там играли в карты и веселилась так называемая интеллигенция: предводитель дворянства, заведующий училищем, пьяный акцизный чиновник, нотариус, судья и учитель, — гроза молодых девушек, забирающий их невинности, как козырные взятки.

Мирное население обходило троттуар, боясь встретиться с пьяным начальством.

Это был притон царского режима в уездном диапазоне.

Теперь рабоче-партийный клуб. Ежевечерно собрания, конференции. Говорить о кружках трудно. Их в день не сосчитаешь. Тут все разновидности человеческой культуры.

Кроме этого центрального клуба, имеются профсоюзные, комсомольский, кустарный и дом просвещения.

Всюду полно, всюду прорабатывается новый человек, его жизнь мысли и действия.

Клубы моего городка — это своеобразная лаборатория, где все приборы приведены в движение. Кругом ассистенты трех поколений.

Футболисты, натуралисты, художники, эсперантисты, шахматисты, спортсмены всех видов и форм, не говоря о политкружках. Это какая-то лавина активной энергии, которая проходит через фильтр научно-общественной мысли.

Неграмотный, невежественный, забитый мир раскрыл глаза, распустил свои мозговые щупальцы, словил культуру, как радио-волну, и уже не отпустит.

А между всеми кружками шмыгает старуха Хана-Бейле. Поправляет пионерам галстуки, щупает лоб комсомолу, не устали ли, не вспотели и радуется за солнечных детей и внучат.

Хана-Бейле перебежчица из кладбищенского лагеря. Ее здоровый инстинкт подсказал: «Перескочи через ограду, спасайся».

Она перескочила, под проклятием анафемы, развалившиеся скелеты грозили местью, но спаслась. Седая голова, горящие глаза, восторженно об'ясняет женской конференции о положении женщины в СССР.

Хмурый металлист Ошер чертит об'явление о завтрашнем митинге. Ни на кого не смотрит. Пыхтит. Он ответственен за завтрашнее собрание, чтобы весь город знал. На повестке дня вопрос не шуточный: «Доклад о событиях в Англии». Внизу об'явления приписка: «Хозяева обязаны отпустить прислуг на митинг».

Браво, Ошер, с твоей помощью мы научим кухарку управлять государством!

Молодой белобрысый крестьянский парень. Приехал поговорить в исполкоме о переселяющихся евреях на землю. Требует кредитов, точных указаний, как помочь бедноте переселиться. Говорит с особой любовью:

— Надо их обеспечить лесом, инвентарем, семенами.

В уисполкоме обороняются: «Сами не имеем». Крестьянин из Усвятского РИК'а напирает:

— Чего взяли, да разорили, а теперь делай, что хочешь.

Трогательно видеть, как истый русский крестьянский парень заботится об этой массе, рвущейся к оздоровлению.

Еврейские банкиры Лондона и Нью-Иорка, любящие спекульнуть (заработать или пофилантропить — все равно) на национальных чувствах, запомните парня Филимона, которому интересы еврейской бедноты искренне ближе, чем вам. Надувайте, кого хотите, только знайте, что в СССР выковывается новая дружба и сожительство народов, новое взаимное понимание людей.

А вот он сам — неуклюжий, угловатый. Из рукавов полупиджака-полузипуна торчат большие крепкие загорелые руки. Новая фигура — еврей-крестьянин. Его «единоверцы»-горожане остры, торопливы, лукавы, а он уже глядит по-черноземному. Спокойно, вглубь. Из коллектива «Горький». «Ну, что, тяжело?» — «Да, но пересилим; пока живем в землянке, но к лавке не вернемся». — Оздоровляется целый народ. Один из грандиозных ликов Октября.

Общегородская конференция Мопр.

В моем городке все, что есть живого, входит в международное общество помощи революционерам, а потому летний театр переполнен.

Докладчик знает одно, что класс выступил против класса, а поэтому он волнуется, и все возбуждены.

Записок было подано 180. Все с тревогой, с напряжением — «как по мнению докладчика тов. Иванова — это настоящая революция или только английский 1905 год?» «Чем это кончится?» требует аудитория ответа. Иванов хороший парень, бесспорно революционер, кончил партшколу, но все-таки сказать ясно, чем это кончится — ему трудно, а потому он пожимает плечами и, хитровато откладывая записку в сторону, говорит:

— Поживем, — увидим.

Малограмотный кузнец Фома просит предупредить английских рабочих, чтобы они больше всего опасались провокации и предательства.

В медвежьем углу, где нет даже железной дороги, выходит газета. Там клише и обзоры, последние радио-телеграммы и мысли партии.

Вокруг газеты — рабкоры, селькоры, пикоры, целая армия.

А в мое время весь город выписывал всего пять экземпляров газет...

Разве можно исчерпать яркую струю, бьющуюся из проснувшегося родника?..

Эпиграммы.

В. Казину.

О лисьей шубе пел ты... Трах!
И все в твоих руках!..
Улыбка лисья на устах,
И шубка на плечах.

М. Голодный.

Мих. Голодному.

Нет, он успеха не имеет.
Иным стихом читатель сыт,
А сытый, — мудрость говорит,
Голодного не разумеет.

В. Казин.

1. Петр Орешин.

— Один лишь бог безгрешен,
И чорт один лишь прав, —
Сказал поэт Орешин,
Платя последний штраф.

2. На себя самого.

Своя рубашка к телу ближе.
Как все, и я, Сергей Клычков,
Других я в телескоп не вижу,
Себя же вижу без очков.

3. На Пастернака и, наконец, на... Виссариона Казанского.

Туманна ты, туманность Ориона,
И все ж ясней, чем Пастернака стих,
И только кошелек Виссариона
Туманнее обоих их.

Сергей Клычков.

Обзор живописного сезона.

Ф. Рогинская.

I.

Истекший выставочный сезон характеризуется некоторыми перегруппировками в среде художественных об'единений. Распалась группа «Московских Живописцев» (быв. «Бубновый Валет»). Ее распад лишний раз доказывает окончательное крушение направлений, ставящих разрешение формальных задач единственной своей целью. Часть членов «Бубнового Валета» (Куприн, Осьмеркин и Кончаловский) присоединилась к молодому об'единению «Бытие». Остальное наиболее крупное количественное ядро влилось в АХРР. Ряд об'единений или тоже распался или просто не выставлялся («4 Искусства», «Обис» и «Жар-Цвет»). В то же время возникли новые группировки — «Истр» (Искусство трудящихся) и об'единение скульпторов. Выделение скульпторов в самостоятельную группу представляет новое и очень значительное явление. Обычно они рассеяны по различным живописным выставкам, теряются в массе полотен и почти не замечаются зрителями. Отдельная выставка, соединяющая большинство крупных скульптурных сил, дает возможность охватить всю скульптурную жизнь в целом. Однако ее рассмотрение не входит в задачи настоящей статьи. Точно также не приходится останавливаться на выставке сибирских художников, представляющей большой этнографический интерес, потому что в художественном отношении ее экспонаты — сборные и совершенно случайные, несмотря на присутствие прекрасного пейзажиста Никулина и других художников. После этих предварительных замечаний, перейдем к рассмотрению тех об'единений, художественная продукция которых составляет актив истекшего сезона.

II.

Выше было сказано, что цитадель старого русского сезаннизма, «Московские Живописцы», сдалась и распалась. Наиболее многочисленная часть ее отошла к АХРР, сохранив все свои отличительные черты настолько прочно законсервированными, что их экспонаты составляют в сущности отдельную выставку в выставке, своего рода государство в государстве. В лице «Бытия»

мы имеем вторую, молодую ветвь сезаннизма определившуюся окончательно только на нынешней (4-й) выставке. Разница только в том, что члены «Бытия» через сезаннизм желают притти к реализму.

В полотнах Саввичева, Новожилова, Лебедева-Шуйского и других мы встречаем те же столь знакомые сине-зеленые влажные растрепанные пятна мазков, контрастирующие с ржаво-красными, и все то же хмурое бесстрастие, обволакивающее природу пеленой невыразительного однообразия. Все это сделано может быть и грамотно, но в сущности истинной живописности, на владение которой претендуют члены «Бытия», здесь нет, потому что нет индивидуализации хотя бы только в пределах красочной гаммы. Возьмем, например, знаменитые стоги Монэ. Художник писал их до сорока раз, в разное время дня и при различной погоде, и каждый раз у него создавалось совершенно самостоятельное колоритное единство, отвечающее данному моменту. В этом заключалась живописная ценность его стогов. А отмеченные художники, по стопам всех правоверных сезаннистов словно условились видеть в русской природе только сумрачное небо, холодную зелень и красную ржавь крыш. Могут возразить, что сейчас художники стремятся не к непосредственной передаче впечатлений импрессионизма, а к синтезу. Однако можно ли серьезно назвать синтетическим подходом извлечение одних и тех же строящих форм, одних и тех же цветовых соотношений из совершенно различного и часто противоположного исходного материала? Безусловно, нет. Здесь в сущности, происходит не искание синтетического разрешения, а применение раз извлеченного, совершенно абстрактного и канонизировавшегося приема, применение, иногда оправданное сюжетом, а сплошь и рядом притянутое за уши. Нельзя же, в самом деле, считать выражением живых художественных исканий, выражением высокой степени художественной культуры, повторением раз навсегда отлитых, зафиксированных форм. Менее всего, всего виноват в этом, конечно, сам Сезанн, который вовсе не стремился составлять непреложную, формальную рецептуру из своих произведений. Надо полагать, что он разделил бы негодование Пикассо, направленное против своих последователей (кубистов), обращающих каждый его опыт в канон. На-ряду с другими примерами, Пикассо приводит случай с комбинацией черной и белой поверхности. «Всякий знает, — пишет Пикассо, — что белая поверхность, равная по размерам черной, кажется больше. Это по-детски элементарно. Это, однако, не помешало тому, что группы захотели сейчас же вывести какие-то законы и общие правила... «Вопрос шел не о том, чтобы впутаться в ученую геометрию, но, тем не менее, добровольные наблюдатели пустились в поиски теорий. Тем хуже для них! Так обычно гибнут слабые...». «Идея искательства (теоретического), — пишет он дальше, — часто приводила художников к абстракциями. В этом, быть может, самая большая ошибка нового искусства».

Пора стряхнуть и по отношению к «Московским Живописцам» гипноз старой оценки «Буб. Вал.», как выразителя действительно живых формальных художественных исканий, и не смешивать «Буб. Вал.» в период «бури и натиска» с «Моск. Жив.» наших дней, скованными по рукам и ногам каноном

традиций. Не надо забывать также и того, что старый сезаннизм сохранился в сущности в обезглавленном виде. В обезглавленном потому, что наиболее яркие представители прежнего «Буб. Вал.» ушли от сезаннизма. Прежде всего эту эволюцию (уже с 1923 года) совершил Машков. В текущем году отдельная выставка Кончаловского показала, что и он совершил этот уход. В области пейзажа он выразился в переходе от абстрактных интернациональных изображений к индивидуализированному пейзажу, стремящихся передать все своеобразие данного момента. В то же время его портреты и картины (напр. «Новгородцы») налились такой крепкой полновесной черноземной силой, такой почти озорной жизнерадостностью, в которой чувствуется родство не с Рубенсом даже, а с Франсом Гальсом и, уж во всяком случае, не с бесплотными ликами нашего сезаннизма. Точно так же и «Трактир» Осьмеркина — решительный шаг в сторону. Остальные, оказавшиеся не в силах разбить старую традицию (Фальк, Лентулов, Древин и другие), очевидно, тяготятся ею и стремятся спастись от нее хотя бы в об'ятиях АХРР'а. Они делают мучительные для себя вылазки в область сюжета и т. д., и здесь они оказываются в подлинно трагическом положении. Потому что у них атрофирован целый ряд творческих возможностей (например, построение действенной композиции, разрешение психологических задач и т. д.). Этот пример делает очень сомнительной возможность проникнуть сквозь недра сезаннизма в область сюжетного реализма без коренной органической и болезненной ломки всей установки своего творчества. При таком положении ориентация «Бытия» является не только не нужной, но просто губительной для художников. Отчасти это можно проследить уже сейчас в «Бытии», где типические работы поражают утомительным однообразием в этюдах и бессилием в попытках приближения к картине.

Возьмем, например, работы Богданова, пытающегося свято следовать программе. Его «Портнихи», «Молодые швеи» в своем роде также искусственны, как жеманные и надушенные пастушки рококо или томные молочницы Греза. Художник составляет натюрморт, расцвечивает его кусками тканей и создает колоритную группу, в которой фигуру портнихи без ущерба может заменить любой предмет в соответствующей тональности. Естественно, что его швеи воспринимаются только, как декоративный момент.

Традиция настолько обезличивает художников, что на фоне этой одноликости выделяется любая работа, если только на ней лежит печать индивидуального восприятия, хотя бы эта индивидуальность проявлялась только в колорите. В этом причина заметности такого, напр., молодого и незрелого еще художника, как Аветов, открывшего двери свету в своих этюдах. Тем более заметны художники, твердо ставшие на путь самостоятельного развития. К ним относится наиболее интересная фигура «Бытия» — Ражин. В его «Крестьянах» есть что-то монументальное, и не величественное, а величаво-примитивное — крупные фигуры почти в ряд на первом плане, а за ними на возвышении деревья. Тем же спокойно-монументальным веет от его самых небольших этюдов — «Долина», «Дуб» и др. Ритмическая уравновешенность композиции, создающая впечатление зрелой законченности, дополняется то-

нальностью его этюдов, выдержанных в некрикливых, крепко увязанных цветах. Нельзя не отметить также работы Перуцкого. Его темные портреты сухи и скупы по колориту. Он, как и родственный ему Глускин, жертвует рядом живописных эффектов для достижения почти болезненной психологической обнаженности персонажей («Старуха»).

Суммируя все сказанное, нельзя не притти к заключению, что если считать «Бытие» вторым изданием «Моск. Жив.», его судьба — неизбежное омертвение. Но, поскольку в «Бытии» много художественных сил, есть все основания надеяться на то, что художники преодолеют и опрокинут досадные путы традиций, мешающих их развитию.

III.

На выставке «Ост» имеется очень любопытная картина Лучишкина. На ней изображено следующее. Окраина города, озеро. Купаются женщины. Одна — одевает рубашку и рубашка запуталась на голове. Другая по пояс опустилась в воду. С противоположной стороны в озеро кидается мальчик. Здесь же под кустом нежно обнимается парочка. За озером улица города. Автомобиль чуть не задавил человека на радость любопытных прохожих. В глубине картины рельсы железной дороги, далее не то река, не то море. и всюду бредут прохожие, рабочие и т. д. Эта небольшая картина, так густо заселенная персонажами, называется «Я очень люблю жизнь». Эту фразу, несколько чуждую мрачному духу «Оста», следовательно бы повесить над дверями АХРР: «Я очень люблю жизнь». Эти слова бьют, плещут с неудержимой силой из большинства ахрровских картин восьмой выставки.

Чтобы составить правильное представление об этой грандиозной выставке, содержащей до двух тысяч работ, надо отделить органически не связанные с ней элементы. Прежде всего это та группа «Московских Живописцев», о которых говорилось выше, затем отдельные мастера, весь уклад творчества которых сложился вне АХРР. Сюда принадлежат Кустодиев, Машков. Юон и Архипов. Они присоединились к АХРР еще на седьмой выставке, но представили мало работ и потому не влияли на общий облик выставки. Сейчас каждому из них отведено много места, а блестящее мастерство их полотен падает отраженным светом и на весь АХРР в целом.

Наиболее останавливает Кустодиев. В главных чертах он тот же, каким мы знали его раньше по «Миру Искусства». То же тонкое мастерство с чуть насмешливой ноткой, те же русские красавицы, купеческие дочки и мещанки, сменившие только свою самодовольную и каменную неподвижность на лениво сладострастную и безмятежную («Русская Венера», «Купальщица»). В настоящий момент именно не прежняя добродушно ироническая насмешка над великолепной и наивной важностью купечества, а безмятежно радостный тон характерен для художника. С ним связаны акварельно-светлые тона его картин, любовь к деталям мирного пейзажа и т. д. («Лето»).

Вторая фигура — Машков, органически чуждый изысканности Кустодиева. Машков — певец крепкой, здоровой плоти, жаркого солнца, густой

зелени и т. д. Его настоящие работы (Крымские этюды) показывают дальнейшее овладение живописным материалом. Такие, например, этюды как «Два тела» — брюнетка и блондинка на сером фоне камней — по силе и уверенности могли бы служить классическим образцом глубокого живописного равновесия.

Юон, праздновавший отдельной выставкой двадцатипятилетие своей художественной деятельности, в настоящий момент отошел от своих основных тем — кипение будничной площадной базарной жизни рядом с умирающей стариной русской провинции. Художник увлечен сейчас символическими сюжетами (напр. «Симфония действия»), которые удаются ему меньше и в общем чужды чрезвычайно конкретному духу его творчества. Другие его работы, как «Летний вечер» (с бором), звучащие искренней лиричностью, примиряют с этими попытками, которые художник не раз предпринимал в продолжение своего творческого пути и от которых он, надо полагать, отойдет. Наконец Архипов с импрессионистской жадностью к краскам дает превосходную галлерею баб, пламенеющих в своих сарафанах.

После этого краткого разбора можно перейти к рассмотрению основного ядра АХРР. Если на седьмой выставке у художников чувствовалась внутренняя борьба между желанием отдаться спокойному и радостному созерцанию жизни в ее повседневных проявлениях и необходимостью писать картины батального содержания или с изображением революционной борьбы, сейчас по характеру основного задания выставки («Жизнь и быт народов СССР») эта борьба отпадает. Внутреннее устремление художников из области личного тяготения, которому раньше робко отводились задворки, переходит в область нужной текущей работы, и художники, облегченно вздохнув, с подлинным жаром принимаются за нее. Их плодовитость при этом достигает почти неестественных размеров. Благодаря этой поразительной плодовитости на выставке находится много незрелых и слабых работ, но в целом она неожиданно захватывает той полнотой звучания тона активной жизнерадостности, который составляет ее наиболее заражающую и яркую черту. Неожиданно потому, что бытовые картины прошлой выставки говорили в общем скромным и тихим голосом, который заглушался в первый момент героическим бряцанием монументальных. Сейчас мы наблюдаем обратное явление.

При этом интересно отметить, что все художники, отдавшиеся работе над мирными бытовыми сюжетами, значительно успели и в формальном отношении. Это относится, напр., к П. Котову, давшему целую серию серьезно проработанных по колориту бухарских работ, Н. Котову, Кузнецову, Кареву, Крайневу, Яковлеву и длинному ряду других. Радимов неожиданно показал себя, как хороший пейзажист, да и крестьянские его работы стали несравненно зрелее. Интересны картины Дормидонтова и Павлова (Донбасс), странно близкие друг другу. Несомненно продвинулся и Костяницын, хотя ему сильно вредит увлечение риторикой и пафосом.

Помимо известных нам по прежним выставкам, выдвинулся целый ряд новых художников, главным образом из провинции, работы которых особенно для нас интересны. Из них следует остановиться на Берингове. Его мурман-

ские рыбаки, созданные не без влияния Петрова-Водкина, вырастают в мощные фигуры, которые отчетливо запоминаются. Интересно декоративное панно Герасимова «Степь» и ряд других работ.

Но если бытовое крыло АХРР находится в центре внимания зрителя, художники, оставшиеся верными героическим заветам АХРР, оказались в незавидном положении. Проходят незамеченными полотна Владимирова и Грекова с их батальными сюжетами, — теряется Горелов, неудачен огромный фрагмент Карпова, до нельзя загроможденный фигурами. Более того, даже просто большие по размерам картины, например: «1-е мая в Одессе» Луппова, оказываются неизменно слабыми. Причина не в том, что этнографическое разнообразие бытовых сюжетов отвлекает к ним зрителя. Не надо закрывать глаза на то, что боевые картины об'ективно гораздо слабее. И если бытовики не дают синтетических образов и вообще не задаются никакими целями, кроме непосредственной передачи своих впечатлений, то они обладают, по крайней мере, активной, заражающей зрителя силой, а это уже кое-что составляет. Между тем героическое крыло АХРР не только не обладает активной прямой силой воздействия, но часто обратной, — например, «Бегство буржуазии из Новороссийска» вызывает только жалость к несчастным, увозящим жалкие обтрепанные корзинки и сжимающим в об'ятиях, как драгоценность, старые самовары. Восьмая выставка, в конечном итоге, утверждает не только победу, но и бурный разлив того иллюстративного бытовизма, о котором можно было догадываться по предыдущей выставке. На этом вопросе здесь не приходится останавливаться, поскольку ему была посвящена отдельная статья [1]).

Здесь хотелось бы только отметить своеобразный факт, который можно, пожалуй, рассматривать, как начало созидания нового формального строя, подымающегося навстречу этому любовному созерцанию жизни.

Художники отбрасывают ряд общих эффектов картины для того, чтобы с кропотливой тщательностью миниатюриста нарисовать все мелочи изображаемых персонажей. Такая картина требует рассматривания вблизи, следовательно, требует других технических приемов (напр., отсутствия мазков), чем те, которыми пользовались недавно и которые нуждались в большом расстоянии, чтобы охватить картину в целом.

Эта любопытная тенденция наблюдается в целом ряде работ. Для примера интересно сравнить технические приемы Юона, которыми он дает толпу, с изображением толпы в картине А. Куликова «Базарный день» (Здесь речь идет, конечно, не о степени мастерства). У Юона первое ощущение — живой и бодрой толчеи, но вблизи все его фигуры лишены лиц и представляют просто красочные пятна. У Куликова фигур великое множество, но каждый из его персонажей ясен — хитро улыбающийся красноармеец с гармоникой, девица в валенках и платочке и т. д. Или возьмем, напр., «Степь» Герасимова. Каждый цветок на этом большом полотне выведен с полной точностью, каждая травка, бабочка, сидящая на ней, ласточка и т. д. Таких

[1]) «Кр. Новь» № 3.

примеров на выставке множество и что самое важное здесь — голоса провинции звучат в тон московским.

В этой тенденции меньше всего сказывается реализм мгновенного впечатления, характерный для импрессионизма. В то же время это вовсе не натурализм, который с полной покорностью воспроизводит только то, что видит с данной точки зрения и потому не станет с одинаковой точностью до последней морщины изображать в с е лица толпы, в с е деревья в лесу. Здесь сказывается тяготение к передаче окружающего таким, каким оно есть в д е й с т в и т е л ь н о с т и, независимо от того, с какой стороны мы к нему подходим, игнорируя освещение и т. п. видоизменяющие его внешний облик моменты.

Хотя это тяготение приняло уже довольно широкие размеры, все же о нем пока можно говорить лишь, как о стихийной неоформившейся тенденции.

IV.

Как известно, «Ост» — молодая группировка, прошедшая через увлечение Лефом и, отчасти, через Лефовскую учебу. Примкнув к реализму, она подошла к нему со стороны искания новой формы, в которой могло бы вылиться новое содержание. По существу эта задача совершенно необходимая, на которую сейчас действительно следует обратить особое внимание. Однако ее разрешение не так-то просто. В поисках подчеркнутой выразительности «Ост» оплелся сетью посторонних влияний. Прежде всего сказалось немецкое влияние. Пименов, например, превосходный четкий график, дающий уверенные зарисовки «Шоколадных ребят», подпадает под влияние Отто Дикса, который продемонстрировал на прошлогодней немецкой выставке свои военные кошмары с разлагающимися трупами в полной военной амуниции, страшными звероподобными противогазными масками и т. д. Это влияние чуждо бодрому и, быть может, несколько холодному творчеству Пименова. В этом причина слабости его громадных «Инвалидов». Но если у Пименова, сквозь наносное влияние с достаточной ясностью светит свое собственное лицо, хуже обстоит с Либасом, Меркуловым и др., которые его утеряли. Другой художник, обладающий данными, чтобы вырасти в самостоятельную фигуру — Тышлер. В настоящий момент творчество его представляет арену ожесточеннейшей борьбы между самыми разнообразными влияниями. Из них видное место, вслед за экспрессионизмом, следует отвести воздействию Гофмана (не русского поэта, а немецкого прозаика-фантаста). У него проявляется чисто гофманская способность перерождать самые обыденные фигуры и явления в фантастические образы, полные почти мистической жути, и притом сочетать эти мистические образы с оттенком иронии. Таковы, например, «Человек с палками», «С часами» и др.

В технических приемах его необычайно многофигурных график чувствуются уже старо-немецкие влияния (Дюрер, П. Брюгель) — в резкой и отчетливой, несколько грубоватой энергии изображения, чуждой всякой жеманности. Наиболее сильные из его график — «На бойне», «Кулисы цирка». Полотна Вильямса погружены в странную атмосферу почти космического одиночества. Его «Пейзаж с фигурами» (нет ли здесь влияния испанского худож-

ника Зулоаги?) не особенно удачен, хотя в его торжественности и ощущается некоторая значительность. Но его «Портрет актера» замечателен тем свойством, которое так редко у художников наших дней — большой выдержанностью и спокойной простотой разрешения. Впрочем, и здесь на-лицо тот же космический мрак, из которого обычно возникают его фигуры.

Наиболее интересной фигурой выставки является Дейнека. Дейнека — прирожденный график. Его графика поражает своеобразием и всегда неожиданной свежестью композиции. Его фигуры рабочих и работниц, неуклюжих с выпирающими из одежды налитыми крепко развитыми мускулами, полны в то же время какой-то особой неумелой грацией силы. Своеобразие живописных работ Дейнека заключается в том, что свои графические приемы он почти полностью переносит в картину. Привыкший к ровной непроницаемой глади бумаги, он неизменно оттеняет свои фигуры однотонным равным тоном. Этот тон как бы служит листом бумаги и на нем художник развивает свою композицию совершенно так же, как если бы он писал не монументальную картину, а небольшую графику, например, обрывает пейзаж и переходит к фону с той же непринужденной неожиданностью и свободой, как это применяется в иллюстрации и т. д. В то же время центральные фигуры (напр., «Постройки новых цехов») он разрабатывает со всей даже несколько утрированной об'емной полнотой, ограничивая при этом колорит до минимума основных контрастов. Эффект получается очень сильный. Фигуры его смеющихся работниц, напряженный торс боксеров — все это крепко врезывается в память. К этому следует прибавить, что это необычное сочетание приемов воплощается у Дейнека настолько мастерски, что зритель получает впечатление полной увязки.

Почти у каждого из остальных художников выставки можно найти интересные работы. Например, «Беспризорные» Козловой, «Вечерами поют песни» Лучишкина и др. Несмотря на это, в целом выставка производит двойственное впечатление. Несомненный персональный успех отдельных художников и сравнительно высокая художественная грамотность их не покрывают того факта, что об'единение в целом, гораздо больше, чем в прошлом году, подпало под власть чуждых веяний, которые являются доминирующими впечатлениями выставки. Это явление «Осту» необходимо изжить, чтобы действительно подойти к разрешению тех вопросов, которые они поставили своей задачей.

Большое место на выставке занимают работы Штернберга. Однако облик художника настолько стабилизовался за последние годы, что эти натюрморты, взятые художником, как обычно, одновременно с двух точек зрения, не прибавляют к нему ничего нового.

V.

Помимо рассмотренных об'единений выставлялся «Истр» (2 раза) и «Маковец». «Истр» представляет об'единение преподавателей средней школы. Оно пытается осуществить определенную линию в новом реализме, не имея для этого сколько-нибудь серьезных данных. В смысле технического владения материалом многие их работы не далеки от ученических. А общее живописное

лицо, если у них и имеется, то это немудрящее лицо наивного беспритязательного реализма, дремлющего обычно в студиях старых провинциальных художников. В пределах «Истра, есть, правда, некоторые художники, останавливающие внимание зрителя, например, Соболев, Морозов и др. Но в целом рассматривать «Истр» как определенную живописную группу пока излишне.

«Маковец», давший в прошлом году только выставку рисунков, разросся на этот раз в большое — по количеству полотен — художественное об'единение. Проходя по залам выставки, начинаешь постепенно весь мир представлять тусклым, скучным и безнадежным. Их картины так добросовестно отделаны, так бесцветны по колориту, что полотна передвижников кажутся рядом с ними необузданной вакханалией цвета. Это относится к станковой живописи «Маковца». Рисунки несравненно лучше. Например, Родионов — свежий и чуткий рисовальщик. Серьезный и крепкий рисовальщик Герасимов. Особенно хорош он в крестьянских рисунках. Прекрасно хоть и с некоторой томностью владеет рисунком Бруни. Наиболее значительная в живописном отношении фигура — Шевченко. В «Маковце» он кажется выходцем из другой планеты. По своему тяготению к отточенному французскому мастерству ему следовало бы, собственно, примкнуть к «Бытию».

Не касаясь вопроса о дальнейших судьбах «Маковца», нельзя не отметить, что в настоящий момент он зашел в тупик натурализма, лишенного оплодотворяющей силы. Это выводит — может быть, только на некоторое время — «Маковец» из строя тех об'единений, которые идут по большой дороге искусства.

VI.

Остались позади времена, когда на живописном фронте кипели бои между формалистами и реализмом. Лозунг «Реализм» начертан сейчас на знаменах всех об'единений. Из них 1925—26 г. показал 3 активных ветви—«Бытие», надеющееся омолодить французское мастерство прививкой реалистического созерцания, «Ост», жаждущий выковать совершенно новый формальный строй, и АХРР, бурно выпирающий изнутри, от содержания, мало заботясь о тесной смирительной рубашке формы, в которую ему придется замкнуться.

Возникает вопрос, который становится сейчас актуальным. Нормально ли существование ряда об'единений, имеющих в сущности одну, конечно, программу? Не правильней ли было бы им слиться воедино? Безусловно, нет. Здоровый рост искусства всегда сопровождается борьбой художественных школ. Борьба за форму — здоровая борьба, особенно сейчас, когда реализм определяется только по содержанию (как бытовизм), а о его формальном лице мы можем судить лишь так, как о младенце, появление которого с нетерпением ожидают любящие родители. И, наоборот, нездоров тот процесс механического всасывания самых различных в формальном отношении индивидуальностей, который происходит сейчас в АХРР'е. Если он будет продолжаться и дальше, АХРР утеряет черты художественного направления и превратится просто в союз художников.

Мертвая красота и живучее безобразие.

Д. Горбов.

«Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого из'яна нога, детская и простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее... И все это страшно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья».

Это — описание убитой своим любовником героини в последней повести И. Бунина «Дело корнета Елагина». О повести этой, которая, на-ряду с другой повестью того же автора «Митина любовь», представляет собой, несомненно, значительнейшее явление эмигрантской художественной литературы, речь впереди. Но вот перед нами три книжки парижского журнала «Современные Записки» [1], — самого солидного и культурного из русских зарубежных журналов, с особенно богатым беллетристическим и литературно-критическим отделом. Здесь тоже есть «все, что полагается»: только в трех лежащих перед нами книжках (точнее томах, так как в каждой от 550 до 600 страниц, из которых половина приблизительно отведена художественной литературе и критике) собран цвет дооктябрьской литературы в России: Бунин, Ремизов, Б. Зайцев, Шмелев, Мережковский, Гиппиус.

Надо заранее сказать, что многое здесь не уступает лучшему, что давали некоторые перечисленные художники в пору своего расцвета и в более благоприятной для творчества обстановке, чем та, в которой они пишут теперь. Но подлинная красота, имеющаяся на этих страницах, очень похожа на мертвую красавицу Бунина; она производит тем более сильное впечатление, что принадлежит миру, навсегда исчезнувшему: многое в ней на наших глазах «каменеет, блекнет» и красота делает мертвое еще страшней. Однако даже поверхностное обозрение материала уводит нас далеко в сторону от красоты, хотя бы и мертвой. Сплетня, клевета и донос, процветающие в журнале (и, как увидим, далеко не у одних второстепенных писателей), блудословие, играющее в психологизм и лирику, — все это вещи, трудно соединимые с понятием красоты. Напротив, все эти явления скорее подходят под рубрику безобразия, при чем здесь оно отнюдь не мертвое, а очень даже живучее. Продолжая наше сравнение, можно было бы сказать, что живучее безобразие играет здесь роль «фонарика, висевшего под потолком, в дне огромного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья».

---

[1]) «Современные Записки». Обществ.-политический и литературный журнал, при ближайшем участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, В. В. Руднева. Кн. кн. XXV и XXVI, 1925 г., и XXVII, 1926 г. Париж.

В сущности, начало подлинного искусства, свободного от вне-художественных пристрастий, мелкой злобы, личной заинтересованности и мудро владеющего своими средствами, осуществляет здесь один И. Бунин. Он один ставит себе подобающую ему, как художнику, задачу: раскрыть внутреннюю жизнь среды, наиболее ему родственной, в эпоху, напитавшую корни его художественного творчества.

Как в «Митиной любви», так и теперь в «Цикадах» (кн. XXVI) и «Деле корнета Елагина» (кн. XXVII) Бунин далек от злобы дня. Все три повести написаны так, как они, вероятно, были бы написаны, если бы никакой революции в России не было. Реализм Бунина окончательно сложился в эпоху между двумя революциями. Уже в «Деревне», «Суходоле», «Господине из Сан-Франциско» и более мелких рассказах эпохи войны отточенный и обостренно-индивидуалистический стиль Бунина, так же как и сумма его наблюдений, получили окончательное оформление. Теперь художник живет старыми запасами. Он пишет о России недавней, но уже несуществующей (в «Митиной любви» и «Деле корнета Елагина») и о так называемой внутренней жизни духа (в «Цикадах»).

Уже и ранее обнаруженное художником тяготение к «вечным проблемам», впрочем, оформленным в весьма конкретные, утонченно-реалистические образы определенной среды и эпохи, в последних произведениях торжествует полную победу над чисто-реалистическим, самодовлеющим изображением быта и психологии. Однако победа эта остается скорее в намерениях художника: композиция его произведений, в действительности, складывается по несколько другой линии. Конечно, при желании можно рассматривать «Митину любовь», как произведение на «вечную» тему о противоречии между любовью к определенной личности и слепой, внеиндивидуальной стихией пола, как это делает Степпун в своем критическом очерке о Бунине [1]). Продолжая эту же линию толкования, пришлось бы основную идею «Дела корнета Елагина» свести... к той же самой теме. Ибо вечная тема есть вечная тема; она однообразна именно в силу своей вечности; внутри ее ничего не случается; она неизменна. Но яркое реалистическое произведение (а такими произведениями являются и «Митина любовь», и «Дело корнета Елагина») не может быть соткано иначе, чем из относительной, временной конкретности, из того, что случается, движется и бывает.

Последние повести Бунина значительны не своей «вечной темой», а яркой конкретностью своего появления на свет и внутренними особенностями в разрешении темы. И «Митина любовь», и «Дело корнета Елагина» — о России недавней, но уже несуществующей, — об уходящей дворянской России. В центре первой повести стоит подросток Митя, отпрыск богатой помещичьей семьи, детство которого прошло в обстановке деревенского барского дома. Это законченный продукт усадебной культуры. В его жилах течет голубая кровь Тургеневских героев. Он целен, а потому плохо приспособляем к новым условиям. Годы его ученья в Москве губят его. Слишком нервна обстановка капиталистического города для его гипертрофированной длинным рядом поколений впечатлительности и медлительной вдумчивости его внутреннего мира. Сердцевед своего класса, Бунин мастерски сталкивает глубоко-взятого им героя с представительницей нового быта — городского и буржуазного — Катей. Катя учится в какой-то театральной школе. Это натура двойственная и, отчасти, поверхностная. Ценность внутреннего переживания отступает для нее перед ценностью внешнего успеха и наслаждения. Это человек — отшлифованный потоком городской жизни: в конце концов, ее жажда блеска и карьеры, ее неспособность, несмотря на видимое желание, ответить Мите полной мерой на всю глубину его чувства приводят Митю к самоубийству.

Таков скелет повести. Конечно, скелет — далеко не весь организм. Но мы лишены возможности углубляться в разбор этого произведения. Здесь нас зани-

---

[1]) Федор Степпун, Литературные заметки (И. А. Бунин. По поводу «Митиной любви»), кн. XXVII.

мает не оно, а его продолжение — «Дело корнета Елагина». Мы называем эту повесть продолжением «Митиной любви», хотя автор нас на это не уполномочивал. Действующие лица здесь другие. Но представим себе на минуту, что Митя все-таки самоубийством не кончил, залечил свою душевную рану (хотя бы поверхностно) и, в конце концов, поступил на военную службу. Перед нами — корнет Елагин. Бесследно столкновение с действительностью для него не прошло. Конечно, он изменился. Но ранее кроткий мечтатель, а теперь буйный (корнет Елагин много пьет, ночью иногда вскакивает с постели, седлает лошадь и карьером скачет по пустынным улицам провинциального города; многими принят он за озорника), — он в сущности все тот же: мечтательный идеалист, пламенный энтузиаст любви, в ней одной видящий цель и смысл жизни, требовательный к себе и другим романтик с явно пониженным или вовсе разрушенным чувством реального. Словом, та же беззащитная перед потоком новых жизненных впечатлений натура. К этому времени и Катя окончила театральную школу и прошла страшный путь от начинающей дебютантки до известной актрисы, — путь, наполненный внешними победами и тайными унижениями. Впрочем, здесь мы должны отметить, что связь между образом Кати и героиней «Дела корнета Елагина», Марией Иосифовной Сосновской, не столь очевидна. Дело в том, что Катя в «Митиной любви» дана Буниным извне: на всем протяжении повести автор ни разу не поглядел на жизнь ее глазами, вследствие чего и не ввел читателя в ее внутренний мир. Да это и не входило в его задачу. Катя была нужна ему как некий камень преткновения, ударившись о который, главный герой повести — Митя — вспыхнул бы всеми огнями своего внутреннего мира и трагически погас. В этом же стиле дана в «Митиной любви» и вся городская, связанная с Катей обстановка: она служит лишь декорацией в экспозиции драмы, самая же одинокая Митина трагедия разыгрывается в родной ему стихии — в барской усадьбе, в парке, в поле и в лесу. Эта стихия не только служит ареной действия, но активно участвует во внутренней трагедии Мити; да иначе едва ли и может быть в усадебной повести.

В «Деле корнета Елагина» все иначе. Это продолжение «Митиной любви», но не повторение ее. Барская усадьба забыта. Место действия — большой провинциальный город. Театральные кулисы, офицерство, судейский мир заполняют повесть. Героиня происходит из семьи «среднего порядка», но ей уделена львиная доля внимания автора. Чистые, четкие, аристократически-сухие линии Бунинского письма составляют разительный и как-то по-новому значительный контраст к мутной, тревожной стихии, им описываемой, еще резче подчеркивая разрывы и какую-то внутреннюю надтреснутость в психологии участников трагедии. Повесть насыщена нездоровой, душной, спертой атмосферой межреволюционного безвременья, эпохи повальных самоубийств, связей, получающих свое разрешение на скамье подсудимых, и массового разврата (последний не выведен в повести, внутренний мир которой по-своему целомудрен и чист, но чувствуется где-то по близости, сейчас же за ее пределами). Таким образом социальная база новой повести шире: здесь в орбиту внимания художника, на-ряду с трагедией помещичьего класса, включена и трагедия буржуазно-городской культуры. Но, как видим, это та же тема, что и в «Митиной любви»; только на этот раз столкновение кончается гибелью для обеих сторон.

В соответствии с расширенной социальной базой — неизмеримо динамичней и внутреннее содержание повести и сложнее ее композиция.

Корнет Елагин, «из родовитой и богатой семьи», убил свою любовницу, артистку Сосновскую, по ее собственной просьбе. Мотив убийства — «трагическое положение», в котором оба находились и из которого не видели другого выхода. Трагизм положения обусловлен характером обоих. Вот как характеризует героев драмы Бунин:

«О Елагине я сказал бы прежде всего, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно

переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого существа: переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола» (кн. XXVII, стр. 18). Как видим, это «рассуждение от себя», вставленное рассказчиком в повествование и разрывающее ткань рассказа, пытается осветить тему лучом вечности, подчеркнуть, что в рассказе речь идет о том, что бывает вообще, повелось искони, принадлежит к некоему общеобязательному трагедийному содержанию обобщенной человеческой личности. Соответствующая характеристика имеется и по отношению к Сосновской:

«Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натура? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего».

Таким образом оба участника трагедии получили однотипную характеристику, данную автором от себя. Дав два слагаемых, рассказчик дает и сумму:

«И заметьте, что всегда происходит. Мужчина того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам — и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет, тысячу раз нет. Нет, хотя бы уже потому, что такие мужчины очень хорошо и чувствуют и видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам, — неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?» (стр. 40).

Мы не собираемся полемизировать с Буниным по поводу приведенных положений; хотя для нас несколько неожиданным кажется хоть то утверждение, напр., что профессиональные проститутки вербуются из числа женщин с «неутоленным полом».

Гораздо важней, что намерение писателя проникнуть в самую концепцию характеров осуществляется здесь... ценой омертвения последних. В повести очень много движения. Но если мы присмотримся внимательней, то легко обнаружим, что движение это чисто внешнее: оно сводится к сутолоке слухов, догадок, недомолвок, выражается в расчетливой пестроте сопоставляемых свидетельств, в обдуманной затрудненности доступа к характерам действующих лиц. Развитие самых характеров не подвигается нисколько. Приблизительно на половине повести дело распутано, материал разобран. Бунин переходит к прямому повествованию о жизненном пути Елагина и Сосновской. С первых же слов оба обнаруживают себя целиком. Это люди — обреченные трагедии и гибели (она — гибели полной, он — частичной). Над ними сияет нимб мученичества еще до того, как роковая встреча их друг с другом воплотила это мученичество в действительность. Оказывается, еще до своей карьеры артистки, еще живя в семье, Сосновская ведет дневник в таком стиле:

«Не родиться — первое счастье, второе же — поскорее возвратиться к небытию. Чудная мысль».

«— Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том богом и смертью».

«Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание».

И наконец:

«Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!»

Весь дальнейший ее жизненный путь проходит как бы под гипнозом видения этой «маленькой комнаты, обитой траурной материей», где можно будет осуществить «прекрасную смерть». В конце концов, мы знаем, ее навязчивая идея (иначе как назвать это?) — осуществляется, правда, с легкими вариациями: умирает она не в одиночестве и не от цветов. Музыки тоже нет, а есть опаловый фонарик в виде хищной птицы с перепончатыми крыльями. Но эти отступления от первоначального плана поверхностны: это всего только жизненная накипь, результат небрежения себя от обманчивых соблазнов Майи. Надмирная, внежизненная, самоубийственная цельность образа всем этим нарушена быть не может. Совершенно под тем же знаком предрешенной развязки дан и Елагин. Разница только в том, что, менее цельный сам по себе, лишенный счастья самоутверждения на единой самоубийственной идее, он является идеальным орудием, через которое героиня призывает к себе смерть, но сам лишен рая самоубийц — смерти и обречен пребывать в чистилище: «Десятью годами каторги должен искупить Елагин свою вину перед людским законом. А перед богом и перед ней? Божеский суд неведом. А что сказала бы она, если было бы в нашей власти поднять ее из гроба? И кто посмел бы тогда стать между ними?».

Бунин не был бы самим собой — не был бы художником уходящей (теперь уже навсегда ушедшей) России, России гаснущего дворянства, — если бы он живописал свою эпоху не с точки зрения собственной, сходящей в гроб среды. Мечты «о прекрасной смерти» — жизненный центр умирающего класса — выражен в последних произведениях Бунина с предельной ясностью и чистотой. «Митина любовь» и «Дело корнета Елагина» — поучительны. Их следовало бы знать новой России. Это глубокие, художественно-цельные откровения, это — стоны, извергнутые из самых недр умирающего прошлого. В форме незаинтересованной, самодовлеющей как болевой крик, совершенно независимо от воли художника раскрывают они гибель общественной формации с ошеломляющей убедительностью, которая едва ли доступна художникам восходящего класса, принужденным рисовать своего противника только извне.

Тот же лейтмотив, но облеченный уже не в повествовательную форму, а в форму философско-лирической поэмы в прозе ярко звучит в «Цикадах» (кн. XXVI). Жажда жизни и необходимость умирать, жгучая тоска, вызванная борением «живота со смертью» даны и здесь в форме индивидуальной, в пределах личности (в данном случае — личности самого художника). Над миром царит смерть. Человек жаждет жизни. Последняя призрачна. Чем же оправдать кипучую деятельность человека, его жажду творчества и труда? На помощь смятенному духу приходит Екклезиаст. В духе этого катехизиса всех клонящихся к закату культур на поставленный вопрос дается следующий ответ: «Зачем? Затем что, трудясь и в трудах достигая силы, славы, радуется человек этой силе, славе, как плодотворности в своей борьбе со смертью, разрушительницей форм». Но раз последнее слово за смертью — это утешение призрачно. Есть и другое. «Мое думанье» есть «поистине частица самого бога во мне». Но и на этом пути нас ждет то же чудище — смерть: ведь бог это то, «не имеющее ни формы, ни времени, ни пространства, что для земли, для моего земного существования, и есть моя гибель. Это то, что дает нам мудрость, иными словами — смерть». И вот измученный «раб жизни» (отнюдь не творец и не участник ее), ищет последнего утешения в отказе от всех путей: «Нет, еще не настал мой срок. Еще есть нечто, что

сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вожделенно мне это водное ночное лоно... Боже, оставь меня...».

Таким образом и в «Цикадах» перед нами попытка соединить несоединимое — жизнь об'единить со смертью, смертью об'яснить жизнь. Эта попытка должна быть воспринята как трагическая: ибо мы присутствуем при том, как страстно-ищущая, но фатально-прикованная к умирающему классу личность художника вынуждена признать примат бога — смерти над жизнью. При этом перед нею два выхода, одинаково горьких: либо внести в «вожделенное лоно» жизни смерть и в таком случае смотреть, как последняя, подобно радию, разлагает состав жизненных явлений, делая из красоты живой — красоту мертвую, либо, отказавшись от всякого осмысления жизни, принять ее в бессмыслии до поры, покуда смерть сама не об'яснит ее по-своему.

Бунин художник первой величины. Произведения, подлежащие нашему дальнейшему рассмотрению, все без исключения принадлежат гораздо более слабым творческим индивидуальностям. Оттого-то в них гораздо меньше мертвой красоты и гораздо больше живучего безобразия. Гибель их социального мира, отразившаяся в повестях Бунина стоном и трагедией, у других авторов отражается разлитием желчи, более или менее откровенным рычанием, весьма негармонически врывающимся в их соловьиное пение, и показыванием хищных клыков, то-и-дело прорывающих тонкий покров искусства.

Вот повесть Б. Зайцева «Алексей — божий человек». Мечтательный мистик, и ранее несколько чуждавшийся грубости земного бытия, постоянно старавшийся просквозить свои реалистические образы «нетленным светом» потустороннего, Зайцев после революции окончательно удалился от бренных дел земных. Данте, Петрарка, раннее Средневековье стали для него прибежищем от треволнений и бед, связанных с Октябрьским переворотом и годами гражданской войны. «Алексей — божий человек» — одно из выражений внутреннего побега писателя «в горнее». Под лучами нездешних солнц повесть выцвела до последней степени. Действующие лица — сплошные схемы; внутренний мир их до такой степени иссох, что сама по себе потрясающая история Алексея, ушедшего из дома богатых родителей, прожившего всю жизнь нищим и умершего неузнанным в доме отца, куда он вернулся под старость, не открывая себя, чтобы прожить там остаток дней из милости, — перестает волновать. Переживания Алексея и его жены Евлалии, которую он оставил в первую ночь, чтобы открыться ей через долгие годы в образе нищего, совершенно не показаны, человечески не заражают. Жизненно неубедительна привязанность, которую сохранила Евлалия к своему пропавшему полуженихлу — полу-супругу. Непонятно, почему она «медленно сгорает» в духовном общении с ним после его тайного возвращения, и непонятно также, кому нужно, чтобы она медленно сгорала, а не жила обыкновенной человеческой жизнью: ее внезапное отвращение к социальному злу, царящему в Риме, абсолютно ничем не подготовлено; впрочем, так же плохо мотивирован и уход Алексея. Но есть в повести место, где Б. Зайцева покидает его святое бесстрастие, где, задетый за живое, он сбрасывает маску мертвой красоты и показывает настоящее лицо, живучее и безобразное. Дело в том, что в том городе, где спасался Алексей под видом нищего, как на грех произошла революция. Это неприятное обстоятельство ни мало не отразилось на самочувствии святого, ибо, в изображении Зайцева, он — совершенная мумия. Но сам автор, человек гораздо более живой, чем можно было ожидать по его пристрастию ко всякой святости, да к тому же не лишенный некоторого опыта по части революций, не мог не высказаться. Вождем восстания оказался старый учитель Алексея — нищий философ, грек Хариакис. Ему приходит в голову странная идея распропагандировать своего бывшего ученика, которого он по старой памяти считает еще живым человеком (между тем как Б. Зайцев к этому времени уже окончательно превратил его в духовного мертвеца). Хариакис обра-

щается к Алексею с речью, где выражает свою ненависть к «грабителям», живущим «среди кипарисов, миртов, роз». Он, Харнакис, их ненавидит: «я возненавидел всех богатых, в Риме ли, Александрии, Тарсе, где угодно». «Я не один. Нас много. Тоже недовольных, жаждущих... И это не впервые здесь... Но ранее, как следует, не удавалось... А теперь мы оснуем новое государство... Нищие все за нас. Составь дружину и присоединяйся. Мы порастрясем всех, кого следует». Признаться, в этих словах мы не видим ничего неразумного (пожалуй, кроме предложения набирать дружину, обращенного к такому человеку, как Алексей). Но Б. Зайцев без всякого внутреннего основания рисует агитатора маньяком: он делает театральные жесты; «желтые глаза его безумны»; «он обрызгал Алексея слюной». Быть может, это и было так; но, думается, не обязательно; а ведь, в искусстве то, что не ощущается как обязательное, звучит фальшиво. Дальше, однако, дело выясняется: уже не Харнакис брызгает слюной на Алексея, а Б. Зайцев брызгает слюной на революцию:

«...через две недели в городе уже шла резня... Те, кто работали в каменоломнях, в гавани, стали хозяевами города. Как издавна заведено, бросали в море богачей, негры насиловали женщин, а сирийцы дико пьянствовали. Ночью прекраснейшие зарева светили отовсюду. В гавани, у домов разврата, стоял непрерывный вой. Было правительство: цирюльник, беглый солдат и философ Аристид Харнакис». Какова ирония! Правда, ради такого выверта стоило спуститься с горних высот: приятно эдак лягнуться крепким копытом! Но дальше вылезают уши: «Продолжалось это не так долго. Подошли римские войска, явился флот (вот и славно, стоило ли так волноваться, г. Зайцев! *Д. Г.*) — важно, холодно входили они в порт на веслах, — заливается наш зарубежный соловей. — И пожары прекратились. Кровь же (NB!) полилась рекой с п о к о й н о й и о б р а т н о й». Нечего и говорить, что всех главарей, в том числе и Харнакиса, при любезном содействии автора, перевешали на трамвайных столбах... то бишь, на придорожных платанах.

А вот якобы бесстрастный, академически-безмятежный роман Мережковского «Мессия». В кн. XXVII помещена первая глава 1-й части — «Бунт». Дело происходит в древнем Египте. Египет взят в период борьбы между старым феодально-иератическим началом («живые мертвых кормить-поить не перестанут, потому что весь Египет на том и стоит, что у живых и мертвых — хлеб один, одно пиво — плоть и кровь бога Хонзу — Озириса, сына божьего») и реформационными стремлениями фараона Ахенатона, стремящегося проводить демократическую политику. Последняя, в изображении Мережковского (подчеркиваем, судя по первому отрывку романа), сводится к поруганию старых святынь, к сыску за именитыми гражданами и т. п. Помощники нового фараона изображаются карьеристами, грубо подлаживающимися к нему путем сугубых надругательств над святынями, которые тот хочет упразднить. Нужно ли говорить, что в таком виде произведение не столько кадит древнему Египту, сколько норовит задеть кадилом кое-кого из живых (что не мешает автору по привычке вздыхать о Мессии: «Пусть погибнет мир, лишь бы пришел он»). Вот эта задняя мысль реакционного публициста, бесцеремонно оттирающего в Мережковском художника, вытравляет из его романа последние признаки искусства и сообщает мертвящий налет его художественной работе, и без того имеющей пагубную склонность к резонерскому холодку.

Чтобы покончить с историей, впряженной в тяжелую телегу реакционной публицистики, рассмотрим еще роман М. Алданова «Чортов Мост», помещенный в отрывках в кн. XXV журнала. Здесь мы уже не в древнем Египте и не в Риме эпохи упадка, как у Мережковского и Зайцева. Здесь новые времена. В Неаполе революционной партией при деятельной поддержке французов была основана Партенопейская республика. Вот и все. Ну, и «король обеих Сицилий Ферди-

нанд IV отдался под покровительство адмирала Нельсона, и на английском военном судне бежал в Палермо с семьей, с министрами и... и... (что же, слова из песни не выкинешь! *Д. Г.*) и с казной». «Отдался под покровительство» — как это деликатно сказано. Сразу видно образованного человека, умеющего делать различие между действиями коронованной особы и подлостями простых смертных. «Бежал с казной»? Правда, это не так звучно; немного напоминает проворовавшегося бухгалтера, но что поделаешь, — бывают, знаете, обстоятельства... как бы это выразиться?.. смягчающие, что ли. К счастью, и на этот раз, как у Зайцева, все обошлось благополучно: «торжество республиканцев» опять «продолжалось... не долго». (Сладко все-таки живется в эмиграции, сладкие, сладкие сны там снятся!) Откуда же пришло столь скорое освобождение от ненавистного ига большевиков... мы хотели сказать республиканцев? Во-первых, здесь сыграла роль «армия святой веры», составленная вождем роялистов, кардиналом Фабрицием Руффом из... калабрийских разбойников. Надо, однако, заметить, что почтенный кардинал оказался не на высоте положения. В самый острый момент борьбы, когда республиканцы, запертые в крепости, сдались, и оставалось только их перевешать, кардинал, можно сказать, украл плоды победы у состоявших под его началом калабрийских святых головорезов. Он вдруг разуверился в том деле, за которое сражался, и ни с того, ни с сего подписал со сдавшимся противником почетные условия мира, позволявшие врагам безвозбранно эмигрировать во Францию. В об'яснение этого поступка своего героя автор, после долгих рассуждений, приводит одно, совершенно исчерпывающее об'яснение: «Все его политические мысли спутались». В конечном счете все разрешается по трафарету: как у Зайцева «важный римский флот», так у Алданова - английский флот под начальством генерала Нельсона приводит затеянное к благоприятному концу. У адмирала Нельсона, который, по авторитетному свидетельству Алданова, «бесстрашный моряк», невежествен и глуп, политические мысли не могут спутаться: у него их нет. Это идеальный служитель контр-революции. Он вешает главарей республиканцев, остальных предает местным военным судам. И дело с концом. Такова мораль всей басни. Ибо нельзя же считать ее идейным содержанием человеколюбивые и скептические софизмы, которыми уснастил ее автор, или труп повешенного вождя республиканцев, всплывший из недр морских, чтобы нарушить хорошее настроение короля. Все это - только сентиментальный гарнир. А самое кушанье жестко, как крепкая английская подошва. Следует отметить, что группа лиц вокруг Нельсона (король, леди и лорд Гамильтон), как и сам адмирал, даны Алдановым, не в пример его идеальному кардиналу, который представляет из себя пустое место, довольно ярко. Но яркость эта не оригинальна: она является простым повторением приемов Л. Толстого.

Переходим к группе произведений, которая низводит читателя с «бесстрастных» высот истории и ввергает его в круговорот житейской злобы дня. Дымка мертвой красоты тает и испаряется. Мы с головой погружаемся в омут живучего безобразия. Первое место здесь, несомненно, принадлежит Шмелеву. Судя по отчетным 3 книжкам, он очень плодовит: в каждой книжке по повести. Самая яркая — «На пеньках» (кн. XXVI).

Когда-то Шмелев был в первых рядах лучших наших беллетристов. Его «Человек из ресторана», «Неупиваемая чаша» — произведения мужественного и честного реализма. На какой же отравленной почве взрастил писатель свою повесть «На пеньках» эту кошмарную смесь ханжества, лицемерного умиления и лютого человеконенавистничества? «Случилось это, - об'ясняет сам автор, — как бы в заумном месте, как бы в полях посмертных... все же в реальном месте... в трех верстах от железнодорожного полустанка «Пупырники», имя самое разреальное, — у гнусненького болотца, на вз'ерошенной вырубке, на пеньках. Что может быть тоскливее такого худосочного пейзажа: ржавая вымочина, ольховые и оси-

новые пеньки, бородавки-кочки, белоус сухой и шершавый, какая-то больничная горечь, болотная, с сладеньким привкусом хлороформа и иодоформа, и ладана... и еще эти пиголицы стонут!.. Какие могут родиться мысли? Вы угадали: покойники». Это не только реальный пейзаж — ясно. Это есть внутренний тонус, та психологическая подпочва, на которой родятся пестрые, но ядовитые мухоморы, вроде повести «На пеньках», с ее главным действующим лицом, профессором истории античных искусств Феогностом Александровичем Меншаевым. Откуда же такое сужение внутреннего мира, такое выцветание душевного колорита у этого утонченнейшего представителя культуры. Все дело в пайке, в академическом пайке. «Я только-что получил академический... паек. Какое страшное сочетание. Академический диплом, академический стиль, словарь, ну... мундир, наконец, академический... Но паек... Пахнет рабочей казармой, негром... Шампанское и сивуха»... Ясно, что мировая гармония нарушена. Ясно, что прекрасная, соловьиная роща, в которой у профессора стояла дача, не может при этих условиях не обратиться в «гнусненькое болотце». Дело не в одном пайте, разумеется. Ибо даже для академика ясно, что разница между академическим пайком и академическим мундиром, например, с точки зрения культуры не так уж велика, а если и есть эта разница, то не к выгоде последнего: хороший паек для работы ученого нужнее чиновничьего мундира. Дело не в пайке, а в том, что пришел чумазый. Сын дворника делает у профессора обыск. В гостиной живет повар из столовки с женой. В спальне, «где стоял старинный киот..., жили какие-то куцые» девки в кепках, с портфелями, а к ним ходили восточные люди (?) в башлыках, с ножами... А в доме и столовой засела семейка нашего дворника — тоже называл меня «товарищ-профессор» и совал на дворовых собраниях лапу лодкой» и т. д. Столпотворение! Понятно, что профессор брызжет ядовитой слюной на всех встреченных им представителей труда, описывая их в таком примерно духе: «Револьвер, галифе, те же болячки под носом, та же вытянутая в хоботок губа с рыжеватыми усами, выдутые бесцветные глаза, ужасный лицевой угол идиота, голова сучком, шепелявый... и неимоверными духами!.. И английский пробор еще! Ну, что-то непередаваемое. Он развалился в моем кресле, уперся коленкой в стол и...». От ненавистной ему действительности профессор убегает в пантеон мировых и личных воспоминаний. Каковы же они? Тут есть и скорбь о собственной даче, о посещениях знаменитого тенора, певшего в роще, и о всяческом житье-бытье. Минуем это. Пойдем прямо в «святое святых» разрушенного храма. Оно обнажено самим профессором. Одно лето профессор проводил на островах Эгейского моря. С Лемноса вызвал жену из Тарусы. Та отдает маленькую дочь кормилице и приезжает. Муж и жена проводят время, «как молодые язычники». «Зоны весны — в глазах», «вино — любовь, вино и солнце», песни турка-гребца, жгучий, отравляющий истомой-ленью шопот на ухо и т. д. Наконец, один вечер: жена решила выкупаться, чтобы выйти как подлинная Венера... играя снежною простынею, по которой струилось розовое солнце». В это время к профессору подходит грек — рыбак, пьяный старик, и предлагает купить у него находку: «Купите хозяин... Штука священная». «Я смотрел и глазам не верил. И все кругом было чудо. Но самое чудо было в моих руках. Я смотрел на него растерянно — да явь ли это?.. Я крикнул, я не смог совладать собою и быть спокойным.... Кошмар это был, кошмар... Для меня открывались двери рая. Я опять раскатал грязную тряпку, стараясь унять руки. Пьяный, я крикнул греку: «хорошо, я могу купить их у вас...». Жена, выйдя из воды, затревожилась: «На тебе лица нет, что с тобой?». А он бормотал что-то. «Хлестнуло в меня светом, озарило. Посетило меня огромное... Чувства, мысли? Не помню, но вдруг — о т к р ы л о с ь. Я целовал ей руки, говорил о небесном рае, говорил, что бог с неба глядит на нас, что он уронил звезду...» В чем же дело? Что это — восхищение знатока перед произведением искусства? Восторг ученого историка перед счастливым открытием? Упоение маньяка-коллекционера нечаянной находкой? Конечно, не это; во всяком случае, — не только это. Перед нами беснование

изувера перед фетишем, пляска каннибала перед священным зубом тотема с нарезными магическими знаками. Профессору посчастливилось приобрести редкий византийский триптих слоновой кости с изображением рождества Христова. Нет спору, ученому, да и всякому культурному человеку, есть повод радоваться. Но разве это радуется ученый: «Я получил озарение, о с н о в у (курсив подлинника), который мне не хватало. Я получил Веру... Бессмертие было в дощечках этих». Но это еще не все. Вы может быть забыли, что «молодые язычники» оставили в Тарусе грудную дочь. Это и не мудрено: сами родители забыли про нее. А она о себе напомнила. Взяла, да и померла. И бывают же такие случаи в жизни — померла в тот самый вечер, когда состоялась божественная купля-продажа. Казалось бы, перед этим страшным фактом (профессор любил дочь) должно было поблекнуть все остальное, что было в тот день. Не тут-то было. В глазах изувера-фетишиста такое обстоятельство, как смерть любимой дочери, не только не может отодвинуть в сторону фетиш хотя бы на время. Наоборот, оно повышает ценность фетиша, делает из него знамение. В его глазах это жертва, ознаменовывающая роковое, священное значение талисмана. Не будь этой жертвы, талисман не имел бы того обаяния: «В этой, такой редкой для нас находке, мы с женой обрели огромное... Я знаю: ...знамение было в этом. Нужно было, чтобы несчастный пьяница стал жертвой (рыбак умер сейчас же после продажи, опившись на вырученные деньги. Каков талисман! *Д. Г.*), чтобы малютка ушла от нас». Думаем, никаких об'яснений не требуется.

В заключение об этой повести: возненавидевший Россию профессор потихоньку распродает свои богатейшие коллекции и на вырученные деньги уезжает во Францию, подарив «бабе Марье разбитое корыто, последнее, что осталось» (!). Но и Европу ему пришлось тоже возненавидеть именно по двум причинам: два его ученые друга, англичанин и француз, на его вопли, оба в тон отвечали: «Колесо истории... Колесо вертится. Жертва, палачи... палачи — жертва... Вы распяты, но... кто страдает, — побеждает». Профессору, который любил приносить жертвы, самому жертвой быть не хотелось. На Европу он затаил смертельную обиду. А вторая причина ненависти была та, что фетиш его, украденный еще в России, в Европе имитировали, и стали продавать точнейшие копии оптом и в розницу. И пропал человек, так-таки пропал: ведь ничего своего, человеческого, у него за душой не было.

После этого во всех отношениях эффектного произведения эмигрантщины, другая повесть Шмелева «Каменный век» (кн. XXV) уже не кажется столь выразительной. Дело происходит в Крыму, вскоре после окончания гражданской войны. В горах, как воспоминания о белых, остались местные бандиты — татары и остатки белых казаков и офицеров. В центре повести — Безрукий, бывший слесарь, уже давно забывший свое рабочее происхождение (вообще непонятно, зачем оно понадобилось, как, впрочем, и многое в этой безмерно растянутой и как-то неотчетливой в смысле внутренней направленности повести). Задолго до революции он переходит на роль старожила, показывающего прежним богачам местные достопримечательности, не брезгующего и сводничеством. Многого понабрался Безрукий на прогулках, когда «на веселом огоньке, на кизиловом пруду поджаривал шашлыки из молодой баранины, и, со стаканчиком красного, сам — весь красный, довольный, что живет в такое славное время, с такими образованными людьми, подкидывал к общему тосту и свой ревголос — во славу еще лучшего будущего». Но, как известно, все рухнуло: образованные люди (в их числе и сам Шмелев) скрылись; «культура» пала под натиском революции; настал голод, всеобщее озверение. Все это описано со смаком, в связи с путешествием Безрукого через горы к своему прежнему приятелю — Сшибку. Измученный и проголодавшийся Безрукий попадает сперва в руки татар-бандитов, которые, поиздевавшись над ним, все-таки отпускают его, потом в хату Сшибка, где он находит только труп хозяина, убитого и ограбленного накануне этими же бандитами. Пройдя

этот ад, из которого он вынес только убитую кошку (на обед детям), Безрукий введен автором в рай: вот он у цели — у благородных зеленых, которые одаряют его салом, хлебом (правда, предварительно сняв рубашку), дают даже глотнуть коньяку. Все эти благодеяния сопровождаются соответствующими наставлениями: «Вспоминай, как в аду едали. В раю расскажешь». Этой ухарской агитацией занимается юный герой, татарин поручик Вахабин, «с лицом смертельно-бледным, усталым, грустным». Безрукий, как истый носитель культуры, «хватая сало», восклицает: «Все бы отдал. Последние вы... и горы ушли... за нашу Россию бьетесь... за правду бьетесь...». На что получает разудалый ответ лирического истинно-русского татарина: «Да, уж не за ваши сопли». После этого другой офицер в порыве подлинно-славянской своей души «вынимает из-за пазухи ком бумажек и бросает, как мусор, смаху: «Миллионером будешь, на собачьи собачьего хлеба купишь...». Затем Безрукий попадает к чабанам. Следует яркое, но все же растянутое изображение житья-бытья чабанов, их отношения к собакам, их борьба с волками. Но введено все это только затем, чтобы дать старому чабану высказаться в таком духе: «Ты... Скажи на берегу волкам... Бекир говорит: не дам. На Чатыр-Даг загоню, в снега... в камни... до последнего всех порежу... не дам... Пока камень могу держать — не дам...».

Несмотря на целый ряд ярких деталей (описание горной природы, образы татар-бандитов, образы и быт чабанов) повесть проникнута внутренней фальшью, ослабляющей ее убедительность даже в желательном для автора направлении. В результате — мрачный, человеконенавистнический, мертвенный колорит, которого не могут скрыть щедро положенные яркие краски. И тут перед нами опять пестро-разряженный, но ядовитый мухомор, взращенный крупным художником на тучной почве ненависти и слепого озлобления, которые всегда были дурными советчиками для художника.

Последний рассказ (точнее очерк) Шмелева «В'езд в Париж» совершенно незначителен художественно, но характерен тем разлагающим влиянием, которое оказывает предвзятая идея даже на крупного художника. В рассказе нет фабулы; это просто голое описание того, как русский белый офицер-врангелец, совершенно обнищавший, приезжает в Париж и как он там никому не нужен.

Рядом повестей представлен Ремизов. Одна из них, наиболее крупная «La matière» (кн. XXVII) повествует о жизни писателя в эмиграции. Из нее мы узнаем, что А. Ремизов не только не утерял там связи с миром всякой нежити, но что связь эта в благоприятной эмигрантской обстановке укрепилась и стала как-то более интимна. Население потустороннего мира в настоящее время скинуло с себя перед писателем парадную одежду, в которой оно имело обыкновение посещать его раньше: образы сказок и духовных стихов. Теперь это просто духи — бесплотные, но фамильярные. Они распечатывают письма, адресуемые писателю, а то перебьют посуду и наследят в комнате. Цель этих действий непонятна, и непонятно, почему сам Ремизов уделяет им так много внимания. Есть здесь какая-то ирония, но смысл ее темен, едва ли не самому автору. Если прибавить к этому, что когда-то тонкий, хоть и вычурный стилист Ремизов сам стал относиться к своим потусторонним друзьям запросто и не стесняется повествовать о них языком намеренно ординарным, то придется признать, что повесть его ничем не замечательна. Другое дело три его рассказа из жизни Петрограда в годы гражданской войны «Сережа» (кн. XXV), «Труддезертир» и «По бедовому декрету» (кн. XXVI). Все три — этакие хитренькие, бытовые анекдоты, орешки, в которых любовь к человечеству и к малым сим составляет скорлупку, а внутри переливается несколько капель не очень сильнодействующего яда, — не ненависти, а ехидства.

М. Цветаева — неплохая поэтесса, спору нет. Но сплетница она, судя по «Моим службам» — первоклассная. «Мои службы» — дневник. Дамский дневник.

Форма, как видите, выбрана удачно. Где же и посплетничать всласть даме из хорошего общества, как не в таком интимном дневнике. Артистка своего дела, М. Цветаева не мельчит себя сплетнями про отдельные личности; она сплетничает про строй, которого не понимает и не хочет понять. «Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела (может быть, злых не видела?). И не их я ненавижу, а коммунизм». Она несогласна с другими, мелкотравчатыми сплетниками, утверждающими, что «коммунизм прекрасен, коммунисты ужасны». Нет, коммунисты не так уж плохи. Цветаева рассказывает, например, об одном, который устроил ее на службу в Наркомнац. За эту поддержку она отплатила чудаку тем, что поиздевалась над ним в дневнике. Коммунисты были даже слишком хороши к ней, это чувствует, конечно, она сама: из ее уже клеветнического дневника видно, что они относились к ней, как к товарищу по советской работе, а она двурушничала и втайне ненавидела все вокруг, как могла. «Третьего дня узнала от Б– та, что заведующий «Дворцом Искусств» Р– –ов оценил мое чтение «Фортуны» – оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин., может больше в 60 руб. Я решила отказаться от них публично — в следующих выражениях: «60 руб. эти возьмите себе, на 3 ф. картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб.), или на 3 фун. малины, или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб. пойду к Иверской, поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд». Итак, счет М. Цветаевой ненавистному ей «строю» пред'явлен с педантичной точностью, если не Шейлока, то базарной торговки. Если мы примем во внимание, что, по ее собственным словам, поэма, о которой идет речь, активно направлена против строя, который должен ее оплатить, положение становится прямо пикантным. Увы, спор между М. Цветаевой и «ненавистным строем» едва ли когда придет к благоприятному окончанию. Дело не в дневнике, конечно. В связи с укреплением нашего хозяйства, авторские гонорары, как известно, повышены. Так что М. Цветаевой нет больше повода «не признавать коммунизм». Вся беда в том, что в связи с режимом экономии коммунисты перестали быть такими добродушными, какими их изображает М. Цветаева, и научились гнать прочь тех, кто застрахован от понимания новой России собственной глупостью и злобой.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Иван Новиков. Современные повести. Кн. 1 и 2. Издание автора. М. 1925 г.

> «Лето цветет, и пожилой человек сидит на пригорке — вот, в сущности, — все».
>
> И. Новиков. «Возлюбленная — Земля», кн. 1, стр. 151.

Странно видеть на сереньких обложках этих книжек заглавие «Современные повести». Словно писал их совсем не современный человек, а отшельник, живущий в каменной келье на выси гор, в облаках, откуда не непосредственным зрением, воочию, в грубой и мощной яви и тонком пламени сегодняшнего дня, а обращенно, через себя, внутренним зрением, в ином — идеальном, «скрытом плане», видит он мир в текучем покое одного, завершенного и вечносовершающегося, дня.

Отрешенный этот, отвлеченный от живой простоты и непосредственной действительности характер всего неторопливого и негромкого письма Новикова прежде всего бросается в глаза читателю, — необходимо последовать за поэтом, чтобы понять, в чем же смысл и какова природа совершаемого им словодействия.

Мир Новикова замкнут и завершон, он покоится в себе.

Люди, по Новикову, — одно, вечно двоящееся, вечно множащееся, многоликое, многорукое существо, одно целое, — Я, — тонкая и кудреватая конечная поросль космического духа земли («Судьбой грешна, — ответил старик, — судьбой грешна, а больше ничем», кн. 2, стр. 96). Но есть «дети с правой руки», есть «дети с левой руки» (кн. 2, стр. 80—81), как будто в этом одном человеческом космическом теле, как и в живом человеке, течет алая и голубая, артериальная и венозная кровь.

Человек огромен, как огромно его небо, человек многоярусен. Его чресла погружены в животный мир, его ноги уходят в землю, сплетаются с древесными и травными корнями в материнском лоне земли.

«...Или еще: после пилы, намахавшись плечом, вот как сейчас, это уж совсем пододонное — остановиться, повести головой; в голове многошумность, как если бы древесная крона колышется и отрясает капли дождя; и вправду, тяжелыми, полновесными каплями опадает на землю пот, шурша по древесным листам; а руки, как ветви, все еще машут, ища равновесия; а ноги гудут, и гудит под ногами земля; а ноги как корни; и — взять чуточку иначе румб, и путь маячит — древесный; и я рубил... кого же рубил...— дерево-брата; рубил... самого себя («Адам», кн. 1, стр. 129).

Человек, как предельный и высший образ мира, носит в себе все настоящее, прошедшее и будущее. Онтогения повторяет собой филогению. Человек только забыл всю полноту, всю многовековость собранной в нем и запечатленной жизни.

«Воображение — память, но память не только о прошлом, а и о будущем. Времени нет: две тысячи лет, четыре, пять тысяч — это сегодня. И то, что придет, оно есть» (Кн. 1, стр. 108).

Углубиться в эти подвалы памяти, «вспомнить» — на обыкновенном человеческом языке значит — забыть вот это живое, непосредственное, что окружает, погрузиться в «долины забвенья», в «воздушную легкость инобытия души». Но чем дальше, тем больше. Что же, если бы вспомнить совсем, с отчетливостью неисчезающей, войти в нее, эту совершенную память

твердо. Увы, на нашем земном языке это значит — умереть, недаром Марья Викентьева («Уход») делила людей на «присутствующих» и «отлетающих», недаром Иван Савельич («Адам»), стремящийся «что-то в себе преодолеть и претворить... вспомнить. Преодолеть... какой-то распад, нагромождение, может быть, только сонную грезу... очнуться» и «с д е л а т ь» это возвращение, — в пароксизме тифа, в предсмертном бреду видит это возвращение осуществившимся. Новиков не скрывает, что «путь возвращения», преодоления довременного распада и забвенья, — в реальном плане совмещается и сопровождается обратным, даже реальным, т.-е. жизненно ощутимым отпадением от мира, «отлетанием», отмщается распадом в реально-действенном, психофизическом бытии человека. Эти воспоминания не проходят даром. Отрешенный или «вспоминающий» герой стоит на дороге к гибели в этом мире или наделен каким-либо обессиливающим недугом (Алеша).

К сожалению, черты этой болезни современного человека, вкрадчивой и размягчающей понемногу, превращающей человека — борца и деятеля н а з е м л е — в полувоздушное, замкнутое в мистическом бесплодии, в грезах, существо, отражены и на творческом образе Новикова. Вся текущая жизнь, современность показана Новиковым на экране этой потусторонней памяти, на фоне той жуткой м и о г о ч у в с т в е н н о с т и, за которой скрывается распад и поражение здорового, живущего, реального, действенного человека. В зеркальном яблоке пантеистического и панантропоистического мира Новиков показывает нам себя, человека и эпоху прорезавшей мир революции. Вы можете себе представить, как искажается, как превращается лицо мира в этой обезвоздушенной сферической транскрипции. Все как будто на своих местах и порою мужик скажет нарочно записанными мужицкими словами, но все по другому, по-Новиковскому, и во всем — в каждом лице, в детали пейзажа и движении жанра — он, Новиков, космический человек. Миросозерцание отмщается в трактовке сюжета, в фактуре письма — выборе слова: все, до мелочей, от композиционного размещения сюжета до последнего эпитета и ритмического разнобоя сказа — полно общего, приглушенно-превращенного Новиковского образа.

Творчество Новикова своеобразно тенденциозно. Этой тенденции было не мало и в прежних вещах писателя («Вот и я промелькнул там в реке, в этом плывущем и неуплывающем облаке», — «Калина в палисаднике»); но там было не мало и художественной, еще не отлившейся в схематические и небывалые построения плоти, жизни, души человека. Теперь тенденция Новикова доходит до напечатленности, до схематизма («Ангел на земле», «Жертва»).

«Современные повести» написаны человеком, живущим за тридевять земель, сквозь тридевять эпох до нашего времени, человеком в себе, вступившим одною ногою в мир Платоновских идей («Адам», стр. 132). На зеленом и пышном лугу современной действительности эти повести похожи на покойные, тихие, бездонные омута, откуда смотрит на вас ваше «пододонное», подводное, потемневшее, неузнаваемое — и — скажу прямо — жуткое лицо.

«По-человечески это — нехорошо, — скажет автор, — предосудительно: знаю, каюсь. Но по-иному... в дыхании космическом, да, в нем я уже прав» (кн. 1, стр. 174). Но в том-то и вопрос: прав ли? Не дикое ли это наваждение, злая хмара, которую нужно сейчас же вырвать из себя, как ядовитую злую колючку?

С особой тщательностью и любовью отделывает Новиков женские образы, как бы показывая, что вся полнота мира течет через них. Женщина — давнее божество Новикова. В прежних его вещах она была все-таки земная женщина, хотя бы и подавляющая своей стихийностью и силой мужскую узкую личность. Теперь она стала более отдаленна и в себе замкнута, неподвижна, таинственна, иконописна. Очеловеченная земля, райский призрак, — женщина Новикова глядит из другого, сокровенного мира, она — судьба, она же дверь в мир и из мира «Возлюбленная — Земля».

Второе, что необходимо отметить у Новикова, — это народническая тенденция и романтическая настроенность его творчества. В «Современных повестях» не мало обнаружено внимания, любви к деревне,

даже, пожалуй, знакомства с бытом и жизнью крестьянина. Исходящая позиция этого народничества — усадебная, «обществихийная» (от земли) близость и симпатия обедневшего и попавшего к мужику в зависимость барина к своему старинному соседу (от «Калины в палисаднике» через «Из повести о коричневом яблоке» к «Уходу» и «Возлюбленной - Земле» и «Жертве»).

В начале («Из повести о коричневом яблоке») мужик — колоритный жанровый сюжет; позже эта позиция несколько меняется: она приближается к мужику, твердеет; художник пытается глубже и действительнее заглянуть в мужика («Гарахвена, принц индийский», «Жертва», кн. 1 и 2).

Но все-таки это только народничество, т.-е. приблизительное и по существу ложное излучение приблизившимся со стороны художником мужицкого сознания, мужицкой судьбы, с ясно романтическим противопоставлением деревни, земли — городу и романтической идеализацией деревенского труда и жизни («Живите природно!» — кн. 2, стр. 95).

Крестьяне случайно, в силу «почвенных» симпатий, вошли в круг Новиковского письма. Настоящим его героем, чью психологию, быт и судьбу по преимуществу он и пишет, был, есть и будет разночинец-интеллигент, горожанин, «уединенник», иногда без роду-без племени, иногда с ясно барскими отложениями.

Эта социальная среда Новиковского героя сразу определяет и тот круг идейных формальных ограничений, в которых вращается Новиков, как писатель. Эго- и антропоцентризм, благостное и мирное сполна post factum приятие жизни и мира, бездейственность, оправдание жизни «страстями, грехом и искуплением» (стр. 58, кн. 2), или — жертвой — кн. 2, стр. 95; ограниченный, одполинейный, довольно однообразный жанр; интимный и немного расплывчатый пейзаж, в котором человеческое дробится в космическом; чистый, нетороплнвый, аккуратно-пригнанный и на свою руку достаточно взвешенный и выразительный (хотя не всегда точный и простой — стр. 128, 100 кн. 2 и др. — Уж не семинарист ли он?) сказ; близость Тургеневу («Калина в палисаднике»), Чехову («Из повести о коричневом яблоке»), Гамсуну («Возлюбленная — Земля»), Зайцеву («Гарахвена», «Уход», «Адам»), Андрею Белому («Адам») и даже чуть-чуть, но очень целомудренно — имажинизму («Адам»); одиночество («издание автора»), отрешенность, обращенность, которая уже становится литературной формулой и стилизаторской манерой — вот черты авторской автобиографии художника, определяющие пока путь его литературного влияния и бытия.

П. Журов.

Алексей Окулов. Заметки Иванова. Рассказы. «Московский Рабочий». Москва—Ленинград 1926. Стр. 158.

У Алексея Окулова есть свои темы, подчас свой подход, но и то, и другое только наметано, намечено, брошено мимоходом, не разработано и ни в какой мере не завершено.

Первая его вещь так и называется «Заметками». Это — наблюдения из окна штаба, с борта пароходной палубы, события и эпизоды, схваченные через полевой телефон, на лету. В «Заметках» есть острые мысли о «битюгах» и «дон-кихотах», революции, о предательстве и предателях, о горе и страданиях гражданской войны и об оправдании этого горя и мук. Но все это затронуто вскользь, — «Заметки» больше смахивают на иллюстрированные размышления наблюдательного и темпераментного журналиста, чем на записки зоркого художника.

По типу этих заметок построена и вторая вещь — «Крестьянская война», хотя она и разбита на главы и по всем внешним признакам автором положено ей числиться в рассказах. Она не слажена как рассказ. В ней нет художественного отбора людей и фактов, согласованных с доминирующей мыслью. Как и в «Заметках», факты и люди в «Крестьянской войне» зарегистрированы в том порядке, в каком писатель нашел их в жизни.

Кстати, народная речь и крестьянские типы чересчур долго дистиллировались в перегонном кубе авторского сознания

и вышли из-под пера чуть-чуть... рафинированными.

«Хлебушка» — наиболее приемлем как рассказ. Достоинства его уже отмечались в нашей рецензии о «Московском альманахе» («Красная Новь» № 4).

Меткое, своеобразное слово у Окулова производит впечатление удачи, находки, события. Решающее, незаменимое слово не стало еще обычным явлением у него и меткость чересчур часто заглушается риторическими возгласами, газетным пафосом, банальными эпитетами; «ветер будущего, дуй сильнее», «струны души», «великолепно-смелая девушка», «все красивое, все поэтическое, все радостное», «как каменная статуя», «ледяные глаза смерти». Напрасна также моральная сила презрения, с которой автор клеймит состояние погоды: «гнусная сырость». Это и банально, и ни в какой мере не дает ощущения погоды. Есть банальность и в построении иных персонажей. Таков захватанный стереотип благообразного мужика из «двух слез» и «умной бороды», издревле эксплоатируемой некоторыми бытописателями крестьянской жизни.

Все это очень досадно, так как удачные, острые, памфлетные приемы Окулова, перейдя в навык, в мастерство, во вторую натуру, могли бы дать ему возможность замкнуть свои доминирующие темы и мысли в резкие контуры образов.

С. Пакентрейгер.

Владимир Ветров. Кедровый дух. Повести и рассказы. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926. Стр. 189.

Первые 127 страниц книги Ветрова читать очень трудно и скучно. Автор изо всех сил старается вогнать в свою речь как можно больше сибирской этнографии, в каждую фразу — как можно больше областных словечек, каждое даже общерусское, даже интернациональное слово перегнуть якобы «по-чалдонски». Этнографию и «народную речь» вводить в рассказы — вовсе не плохо. Но надо соблюдать чувство меры и не злоупотреблять этим с такой безвкусицей, как злоупотребляет Ветров.

«— Ох, робя. Надысь мне-ка Софроныч стретился и таку загадку заганул. Быдто Англея, грит, Японция, Хранция и Америка—во их сколь! — пушку выдумали, Анатной прозвали» и т. п.

Темы Ветрова не новы для послеоктябрьской литературы, а обработка их трафаретна. Гражданская война и партизанщина в Сибири, и — как давно известно — зверства и насилия белых, отвага и добродетель красных. Стихийные мужицкие восстания — точь в точь как у Всеволода Иванова партизанских его повестей. Любить, это значит — лапать, хватать за груди, валить на траву — то-есть проделывать то же самое, что и генерал, который насилует девушку. У меня другие сведения о «простонародной» любви, по которым в ней участвуют «высокие чувства» и вся та «духовность», которой лишала эту любовь дореволюционная, сословно-дворянская и классово-буржуазная литература, монополизируя ее за интеллигенцией, и продолжает лишать Ветров вслед за большинством современной беллетристики. Лапанье и грубость — это только на виду, на людях, чтобы не посмеялись, настоящее же духовное общение и чрезвычайная взаимная деликатность — наедине, когда никто не видит, то-есть как раз обратно тому, что чаще всего характеризует любовь среди «интеллигенции».

Начиная со 128 страницы, где открывается коротенькая «Лихоманка», — читать, правда, столь же трудно, но уже не скучно. Здесь еще больше этнографии, здесь почти сплошь — фольклор и этнография, — но дана она почти в сыром виде, и много от этого выигрывает. Здесь разговор с бабкой-знахаркой про лихоманку: и сколько бывает лихоманок (целых двенадцать), и какие средства лечения («коровий зад обмыть...», голой девушке побегать на зорьке по лугу). И в противовес бабкиным древним фантазиям рассказана история про Егора Матвеича, кандидата в коммунисты: как он заболел лихоманкой — любовью к собственной свояченице, и как вылечился от этой лихоманки, как оконфузился с этой своей любовью, как собственная жена над ним понасмехалась. И в построении всей этой кандидатской истории, и в мотивировке

отдельных положений, и в стиле — слышится русская народная сказка, вывернутая наизнанку, острием против народных суеверий — такая же веселая и такая же язвительная. Чрезвычайно идет к ней подзаголовок, данный Ветровым: «По-вашему новелла, а по-нашему рассказка». И впрямь — рассказка!

В следующем рассказе «Человек с биноклем» — преобладают идиллические мотивы.

В этом рассказе примечательна фигура «спеца штыкового дела» Бугая, ныне приставленного караулить водокачку. Бугай, молодой парень, живет воспоминаниями о героических днях гражданской войны и бредит ими. Местоположение своей водокачки даже в это идиллически-мирное время он рассматривает с точки зрения позиционной:

« — А ведь, раздуматься, Коркин, на очень скверном месте водокачка устроена. Если с выгона на нас нападут — какая у нас позиция: в реку валиться! А от кустов — вплоть подступ, и не расчухаешь».

« Взять нас, как курей с насеста: от кустов из-за Кипели».

Флажок-указатель, вывешенный мирным техником-изыскателем Тщедухиным («Человек с биноклем»), Бугай принимает за белогвардейское знамя — откуда и берет завязку смешное происшествие, составляющее сюжет рассказа.

«Лихоманка» и «Человек с биноклем» не оставляют никакого сомнения в талантливости автора. Ветровской «идиллии» очень не достает, однако, легкости и прозрачности слога, чем превосходно владеет, например, Неверов в своих идиллических рассказах.

Н. Юргин.

Яков Коробов. Катя Долга. Хроника современной деревни. Издание «Прибой». Ленинград 1926 г. 152 стр.

Не роман, не повесть, а хроника. Это определяет наш подход к книге и наши требования к ней. Автор поставил себе задачу скромную, но очень определенную, и задачу эту выполнил. В этом его заслуга. Глубины художественного проникновения, ярких красок нет в книге, но их и быть там не должно, ибо она построена в нарочито примитивном плане. Хорошее знание повседневной деревни изнутри, знание крестьянского быта и крестьянской психологии, уменье живо разработать суховатый и однообразный материал, хороший, хотя не блещущий образами язык, — вот несомненные достоинства автора.

Книга тенденциозна, но тенденциозна осторожно, с оглядкой. Автор не теряет чувства меры, в нем заметно сильное желание быть художественно правдивым и не впасть в фальшь.

Организация общественной и культурной жизни села, расслоение деревни, борьба различных социальных групп внутри ее, — вот основное содержание хроники. Драматические вехи — любовь Кати к комсомольцу Иванку, убийство Иванка кулаками, взаимоотношения Кати и ее мужа инвалида. Героиня книги — Катя Долга—кажется слегка идеализированной, но она не сусальная большевичка. Коммунисткой она становится не в результате митинга, не под влиянием случайно брошенного слова. Катя Долга — бой-баба, беспокойная крестьянская заступница, вечно ратующая за житейскую справедливость. Действия ее определяются исключительно конкретными интересами деревни. Когда красные прижимали мужика, Катя была врагом их; стали те же красные заботиться о крестьянине, нахлынула на Катю иная городская жизнь, — в ней произошел перелом: сделалась Катя большевичкой и очутилась под перекрестным огнем кулацкой деревни. Автор усиленно подчеркивает обычность незаурядной героини: «Ничего в ней не было такого, чтобы больно от людей отличалось, а как-то умела баба впереди всех стоять». Писатель обнажает здесь свое нежелание дать индивидуального героя индивидуальной драмы и подчеркивает типичность образа Кати. Подчеркнуто несложна и сама история Долги, намеренно притуплен фабульный момент.

Фигура «инвалида» Никифора сделана тоже не плохо. Автор не пошел по пути наименьшего сопротивления, не нарисовал в лице Никифора мрачного ревнивца-убийцы. Он дал жизненно правдивый образ слабого волей и мягкого сердцем человека, постоянно колеблющегося, человека, из которого можно вылепить все, что угодно,

«веревки вить» по народному выражению. Хорош и Шурка Шлюхин, деревенский делец и пройдоха, и многие другие представители кулацкой деревни. Комсомольцы, пожалуй, прикрашены; бледны образы коммунистки Анны Васильевны и девушки-интеллигентки Лизы. Интеллигентская среда, очевидно, чужда Коробову, как писателю. Недаром же его совершенно не занимают отношения народа и интеллигенции, отношения, бывшие стержнем крестьянской литературы прежде, сильно занимающие ее и теперь. У Коробова подход к крестьянину трезвый, пожалуй, немножко утилитарный. Свободный от больных вопросов, он подходит к деревне, как человек, который вышел из нее и верит в ее будущее.

Может быть, можно было бы упрекнуть Коробова в том, что он розовыми красками рисует молодую деревню, указать ему на то, что в деревенских комсомольских ячейках много темных сторон, что деревенские коммуны не всегда процветают, а часто и разваливаются, но упрек этот пришлось бы направить против основного намерения автора, а намерение это состоит в том, чтобы рядом с кулацкой деревней и соломенными коммунистами показать Катю и Ивашка, светлые пятнышки на темном поле — дать бодрую повесть о современной деревне.

М. Полякова.

К. Гатуев. З е л и м х а н (из истории национально-освободительных движений на Северном Кавказе). Изд. «Севкавкнига» Ростов-Дон 1926 г. Стр. 194.

Автор — общественник, и это обстоятельство определило его подход к теме. История Зелимхана для него не авантюрно-увлекательная биография л и ч н о с т и, а явление социально-бытовой значимости. Вот почему на первом плане в книге т. Гатуева содержательная статья о Кавказе и его прошлом и настоящем, а затем уж идет повествование об этом замечательном разбойнике-революционере, за которым так долго охотилось царское правительтельство.

Шаг за шагом проходит перед нами жизнь Зелимхана, полная храбрости, крови, великодушия и нежности. Рожденный для мирного труда, он, силою условий, вынужден был бросить родной аул, скрываться в горах, нападать на бездарных и жестоких царских слуг, под шопот предательства и свист пуль заботиться урывками о безопасности своей семьи. Рядом с Зелимханом живо показан целый ряд его товарищей по абречеству, администраторов кавказского наместничества на четком фоне этнографических особенностей Кавказа.

Несколько снижает ценность книги ее стилистическое оформление. Пытаясь сочетать публицистику с художеством, автор чуть-чуть разрыхлил ее фабульную упругость. Временами протокольно сухой и деловой язык переходит в беллетристическую манерность. Правда, мы имеем в истории литературы блестящие сплавы публицистики с поэзией (Герцен, Ренан и др.), но пользоваться этим приемом смешения стилей рядовому писателю опасно. Тов. Гатуева в этом смысле постигла неудача. Тем не менее книга его читается с удовольствием и интересом.

Федор Жиц.

Г. Лелевич. В. Я. Б р ю с о в. Критико-биографическая серия ГИЗ'а. М.—Л. 1926 г. Стр. 254. Тираж 3.000.

Книга в двести пятьдесят страниц, специально посвященная одному писателю. В предисловии автор указывает, что в многочисленных, уже имеющихся статьях творчество поэта еще не нашло себе «полной, верной и четкой оценки и объяснений», потому что «подавляющее большинство критиков, писавших о Брюсове, не владели методом марксизма, единственно способным объяснить это интереснейшее общественное и литературное явление».

Однако далее отмечается, что «книжка не претендует на значение сколько-нибудь исчерпывающего марксистского исследования» и ставит себе целью дать основные сведения о Брюсове и наметить его роль и значение в истории литературы последних десятилетий.

Причин, препятствующих более глубокому и полному исследованию, две: «Во-первых, самая задача книжки. Последняя рассчитана на средне-подготовленного

читателя, интересующегося литературой, на вузовца, рабфаковца, школьника второй ступени. В виду этого приходится отбросить рассмотрение целого ряда деталей, может быть, чрезвычайно интересных самих по себе, но ненужных такому читателю... Во-вторых, нет еще достаточных матерьялов для действительно исчерпывающего исследования». Кроме того, исследование деятельности Брюсова, как критика, ученого, переводчика, является делом ряда лет. Дожидаться его конца, ждать опубликования новых материалов, а до того воздерживаться от попыток серьезной, хотя и неполной оценки, является, по мнению автора, ошибкой.

Осуществляя намеченную цель, автор в первой главе, где даны сведения о выступлении русских символистов, обрисованы основные черты их творчества, и произведено их классовое прикрепление, использовал характеристики Плеханова и Л. Б. Каменева. В трех центральных главах, посвященных Брюсову-поэту и заключающих изложение основных этапов его творчества, их психологическую характеристику и общее объяснение их особенностей происхождением поэта, а их смены и чередования — политико-экономической жизнью общества, он имел отправным пунктом для своих суждений статью Л. Б. Каменева «О ласковом старике и Валерии Брюсове», напечатанную в «Литературном Распаде» и доводящую разбор творчества до 1908 года. Цитаты из этой статьи и отрывки стихотворного текста, взятые хронологически от 1892 по 1924 год, дополняются и развиваются повторениями и подчеркиваниями автора, который распространяет основные положения статьи и на вторую половину творчества. Считая, что достаточно познакомил читателей с идейным содержанием творчества Брюсова, показав путь, пройденный им от борьбы с патриархальной косностью буржуазного «амбара» до предчувствий рабочей революции, путь, пройденный всей буржуазной интеллигенцией, автор мельком затрагивает особенности внутренней формы творчества поэта, довольствуясь здесь больше сравнениями (трубач, молотобоец, ювелир), и затем переходит к характеристике стихосложения, — размеров, рифмы, строфики и т. д. Вопрос о том, является ли Брюсов классиком или романтиком, решается так, что он и классик и романтик, так как в нем текла крестьянская кровь, и были заронены с детства освободительные идеи 60-х годов, а в то же время поэтические соратники и потребитель (увядающая буржуазия) требовали мистики и романтики.

Автор принадлежит к тем критикам-марксистам, которые считают подход к творчеству через биографию наиболее удобным и правомочным. Вторая глава книги посвящена биографии поэта; в ней устанавливается крестьянское происхождение деда, увлечение отца просветительными идеями 60-х годов, которые в детстве влияли на поэта, жизнь его в молодости среди патриархального застоя буржуазной семьи и т. д.; затем на протяжении книги крестьянская кровь и просветительные идеи служат постоянным объяснением отличия творчества Брюсова от других символистов, классической четкости и силы его стихов, его рационализма, прихода к революции; хотя крестьянство можно найти лишь на глубине третьего поколения, а общественная психология определяется в основе все-таки не идеологией. Именно здесь постоянно приходится сожалеть, что не исследованы детали.

Таким подходом к истолкованию творчества через биографию, повидимому, объясняется тот факт (а может быть, наоборот — сам его объясняет), что автор по существу интересуется не поэтическим творчеством Брюсова, а скорей Брюсовым в целом как человеком, а творчеством лишь как самым ярким его проявлением. В предисловии он говорит о необходимости наиболее полной оценки, в книге он посвящает последнюю главу характеристике Брюсова, как критика и исследователя литературы, уделяет немало внимания его общественной роли, его идеологической жизни; заметно, что его больше занимает лидер символизма, пришедший в ряды революционеров, чем Брюсов-художник. Отсюда желание узнать возможно больше о писателе, подчеркнуть особенно сильно моменты притяжения к революционным событиям и идеологии и отталкивания от них, стремление к возможно полной и законченной характеристике, пренебрежение к деталям.

Однако и в таком виде книга выполняет свое осведомительное назначение и имеет определенную ценность, как первая хронологически-полная, марксистская характеристика Брюсова, доступная массовому читателю.

Генн. Поспелов.

ПОПРАВКА.

В романе А. Чапыгина «Разин Степан» в № 6 «Красной Нови» в примечании на стр. 59 следует читать:

[1]) Персид. гордоголовый неподвластный; иногда: бунтарь.

2) Огонь!

3) Солдат, Любящий шаха.

4) Ах, господи! (армянское).

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Художественный архив

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография

Объявления

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

АЛЬБОМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ САТИРЫ

СОДЕРЖАНИЕ: Гапониада. Убийство Сергея Александровича. Его Рабочее Величество. Пролетарий Всероссийский. „Ваше благородие, клапан-то отпустите". Мыши подгрызают трон. Победоносцев и общественное мнение. Манифест Николая II с кровавой рукой. Манифестация. Свобода собраний. Свобода совести. Неприкосновенность личности. Свобода печати. Два приговора к повешению. Свобода союзов.

„Что за притча, ко". Все свободы ря и скончались гений России. лия. 18 октября птиц. Наша конне дуть. Орел-оботика внешняя и ды стараться, ваство". Двуглавый щая птица. Витспасти Россию". родилась на море. славный генерал корял. Адмирал нет Витте. Дурлиантскими шагабраны ребятушки. На новую квартиБой. Умиротворебасов принимает с думя известныво сделаться фли-



дымит да и тольродились 17 октяб17 октября. Злой Октябрьская идил1905 г. В царстве ституция, просим ротень или поливнутренняя. „Раше превосходительшиш. Гамаюн—веете: „Я знаю как Русская свобода „Очаков". Как наш нашу крепость поБирюлькин. Кабиново идет вперед ми. Солдатушки, где же ваша слава. ру. Вступление. ние. Адмирал Дува ину. Уравнение ми. Верное средстгель-адъютантом.

Победитель. В городе спокойно, на улицах движение возобновилось. Кесарево кесарю, божие богу. Черниговo-саратово-тамбовские петрушки. Смотр кандидатов в генерал-губернаторы. Разгоняют. Ну, тащися, сивка. Кошмар. На виселицу. Усмирили. Тризна. Предвыборная агитация в полном разгаре. Песнь о свободе. Первое заседание государственной думы 29/II 1906 г. Вход посторонним воспрещается (гос. дума). Фокус с государственной думой. Украшение Таврического дворца продолжается. Отставка и с левой и с правой. Карикатуры в открытках.

128 страниц иллюстраций в одну и две краски. Формат 4°. Ц. 4 р.

Под общей редакцией С. И. Мицкевича

Заказы направлять в Торговый Сектор Госиздата РСФСР Москва, Ильинка, Богоявленский пер. 4, тел. 1-91-49, 3-71-37 и 5-04-56. Ленинград, „Дом Книги" Проспект 25 Октября, 28, тел. 5-34-18 и во все отделения и магазины Госиздата РСФСР.

Отдел почтовых Отправлений Госиздата, Москва, проезд Художественного театра, 6. Ленинград, Проспект Володарского, 51а, высылает все книги немедленно по получении заказа почтовыми посылками или бандеролью наложенным платежом. При высылке денег вперед (до 1 р. можно почтовыми марками) пересылка бесплатно.